

БАЙКАЛ

1967





Мелодия.

Трактористка.



Е. НЕВОЛИНА.

Из цикла «Бурятская женщина».
Линогравюры.

БАЙКАЛ

Литературно-художественный
и общественно-политический журнал
Орган Союза писателей Бурятской АССР

Выходит один раз в 2 месяца

Год издания тринадцатый

СОДЕРЖАНИЕ

Стихи поэтов Москвы и Улан-Удэ — Д. ДАМБАЕВ, В. БОКОВ, Ц.-Д. ДОНДОКОВА, Л. ВАСИЛЬЕВА, Н. НИМБУЕВ, А. КОРЕНЕВ.	3
В. СЕРГЕЕВ. Красный день. Роман.	11
К НЕДЕЛЕ КАЛМЫЦКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В МОСКВЕ.	48
А. СТРУГАЦКИЙ, Б. СТРУГАЦКИЙ. Второе нашествие марсиан. Фантастическая повесть.	54
В МИРЕ ИНТЕРЕСНОГО	
И. ПИДОПЛИЧКО. Была ли катастрофа?	60
А. ПЛАХОТНИК. Планета Океан.	65
К 50-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ	
В. МУТИН, А. ХАЗИН. Торейская история.	110
В. ХАРАХИНОВ. Байкальские этюды.	114
Г. ХИЛТУХИН. Наша сила — в дружбе и братстве.	133
Л. ЭЛИАСОВ. Наш старший брат.	137
ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА	
С. БАЛДАНОВ. Точность художественной детали.	139
В. БИЛЬДУШКИНОВ. Акт самой высокой дружбы.	142
КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ	
Е. ТАРМАХАНОВ. Как рождалась республика.	147
И. ФЕДОРОВ. «На суровом склоне».	149
К. ПОЛОННЫХ. Быль о забайкальских лесорубах.	150
САТИРА И ЮМОР	
А. ЩИТОВ. Именины.	154
А. ЧАЙКОВСКИЙ. Баня под шефством.	156
ИСКУССТВО	
П. МУРАТОВ. Юбилей ветеранов.	158

1

1967

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Перед вами первый номер „БАЙКАЛА“ за 1967 год. Впервые он выходит в новом оформлении. Отныне мы будем постоянно публиковать на обложках журнала гравюры, репродукции картин лучших художников Бурятии.

Во втором номере „БАЙКАЛА“ вы прочтете продолжение романа В. СЕРГЕЕВА „КРАСНЫЙ ДЕНЬ“, повесть МИХАИЛА ЖИГЖИТОВА „МОЯ МАЛЮТКА МАРИКАН“, которую с нетерпением ждут не только наши бурятские читатели, но и в Чехословакии. Она посвящена замечательному ученому Зенону Сватошу, основателю Баргузинского заповедника.

В больших подборках стихов и рассказов будет представлено много молодых авторов БУРЯТИИ, ЧИТЫ, ИРКУТСКА, КРАСНОЯРСКА, МОСКВЫ. Стихи Галины Кадрулевой, Ростислава Филиппова, Анатолия ЩИТОВА. Рассказы А. ТУГУТОВА, В. ЖЕМЧУЖНИКОВА, Н. НЕЧАЕВА, Н. ЛИМОНОВА.

„СТРАНА ДЕЛЬФИНИЯ“— эту статью советского океанолога А. ПЛАХОТНИКА, в которой рассказывает о новейших исследованиях, связанных с дельфинами, вы прочтете в разделе „В мире интересного“. Под рубрикой „К 50-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ“ будут опубликованы воспоминания о женском пешеходном переходе Улан-Удэ—Москва.

Напоминаем, что со второго полугодия мы начнем публикацию романа К. СЕДЫХ „УТРЕННЕЕ СОЛНЦЕ“.

На первой странице обложки — линогравюра Солбона Ринчино «Зимнее утро».

Даши ДАМБАЕВ

НОВОГОДНЕЕ

Новый год!
Он подходит в молчаньи
Торжественном
Под гул
Разошедшихся голосов
В ожидании полноты,
В неторопливом
Шестии
Минутных стрелок
По кругу часов.
Куранты бьют...
Вот-вот начало рождения...
А звон все громче
Донесется издали.
Впечатленье такое,
Буяно по струнам Времени
Ударяя невидимый
Музыкант.
И земля замирает.
И замираем мы сами.
И в памяти дни
оживают, толпясь.
Нам немножко неловко —
Завтра уже перед нами,
А сегодня
Еще не покинуло нас.
И в эти минуты
Сближения с Новым годом
Мы смотрим в прошлое:
Что же там было, и где?
И, правду глядя в глаза,
Говорим: «Негоден...»
И вычеркиваем
Прожитый когда-то бездарно
День.
И в душе
Устраиваются мысли новые.

И отвергается
Мыслей ненужных хлам.
И эта смена —
Движенья вперед основа,
Которую я
никогда — клянусь! — не предаю.
Я среди друзей —
на жаре и ветру мы
Будем жизнь штурмовать,
За рекорды бросаться в бой.
Я перед годом стою,
Как Валерий Брумелъ
Перед новой, невзятой еще
Высотой.
Я влюбляюсь еще горячей
И яростней
В даль степей своих,
В девушек родной стороны,
В табуны,
Проплывающие красным
Парусом
За околицей моей Харганы.
Амар сайн, сельчане!
Я шлю вам привет
Новогодний!
Как Харгана там —
Ясное детство мое?
Всем добра и здоровья,
Всем хорошей погоды!
Пусть вовек не покинет
Счастье ваше жилье!
Как стремительно
Дни превращаются в годы,
Незаметно проходят
В отдыхе и труде —
Был недавно земляк мой
Хилым мальчишкой вроде,

А сегодня мужчиной
Громко басит: «Мэндэ!»
Как меняется все!
Мой любимый город —
Не побудешь в нем с год —
И — поди узнай! —
Словно слышу впервые
Я улиц просторных говор,
Словно вижу впервые
Родимый свой край.
Пусть исполнится все,
Что свершить решил ты,
Милый край,
Дорогой мне всегда до слез, —
За тебя,
Чтоб твоя становилась
Все крепче сила,
Я свой стих поднимаю,
Как новогодний тост!
Я на небо смотрю.
А небо такое —
В белых звездах,
беспомощно глядящих

Во тьму,
Мне чудится — это
Не долетев до Ханоя,
Самолеты врага примерзли
К нему!
Пусть весь мир
Поднимает сегодня тосты
За себя,
За то, чтоб спокойно
Ему жилось.
— Тост за мир!
Я себя за столом
Не чувствую гостем,
А, значит, и на планете
Своей я тоже не гость!
Новый год начинается...
Самый новый!
Он встает на пороге,
Смирняя шум голосов.
И словно в рукопожатии,
Потребовав первого слова,
На двенадцати—ровно—
Соединяются стрелки часов.

Виктор БОКОВ

*

Серые, серые глазоньки,
Где-то далече, далече.
Словно сибирские мазанки,
Греют меня и лечат.

Смотрят они сквозь стеклышки,
Грустные от расставанья,
Как мудрые, мудрые тетушки
Они полны пониманья.

Глазоньки ясновидящие!
Зимним, сверкающим утром
Стану для вас я витязем,
Рыцарем неподкупным.

Меч наголо!—и пожалуйста,
Тронете—будете биты.
Глазоньки, как держава,
как две межпланетных орбиты.

Поэтов Москвы и Улан-Удэ связывает давняя искренняя дружба.

Стихи бурятских поэтов переводили Михаил Светлов, Вл. Луговской, Ярослав Смеляков, Михаил Луконин, Евгений Евтушенко, Нина Бялосинская, Константин Ваншенкин, Станислав Куняев, Светлана Кузнецова... Мы рады предложить на шему читателю новые стихи московских поэтов Виктора Бокова, Ларисы Васильевой, Александра Коренева, которые впервые выступают в нашем журнале.

Стихи и песни Виктора Бокова получили в последние годы такое быстрое признание, что многие из нас, читая или напевая их, еще не успели узнать имя автора этих замечательных строк. «Оренбургский пуховый платок», «На побывку едет молодой моряк», «Коло-коло-колокольчик...». Эти и многие другие популярные песни В. Бокова говорят сами за себя. И вот Виктор Боков любезно прислал нам свои новые стихи, стихи еще нигде не опубликованные, стихи еще не положенные на музыку, хотя они несомненно привлекут внимание композиторов.

Лариса Васильева еще очень молода, у нее на счету лишь один сборник, изданный в «Молодой гвардии». «Льняная луна» взойшла над поэтическим небом, сводом вроде бы тихо, скромно. Но любители поэзии заметили этот сборник, их заворожил мягкий задушевный голос Ларисы, напевность, обаяние ее стихов.

Не думай, что я туняец с Арбата,
Что главный маяк для меня Метрополь.
Всего я хлебнул в этой жизни когда-то,
Она, как ящик, меня была повдоль.

Спина от ударов моя задубела.
Я падал, я плакал, я шел на метель.
Душа моя! Как же ты не огрубела,
Сумела сберечь и весну, и капель?

Зима моя! Белая чудо-невеста,
Взмахни лебединою силой своей,
Назначь мне свиданье у зимнего леса,
И дивною сказкой на душу повеи!

Зимушка! Птица моя белоперая,
С полетом таежных саянских саней,
Давай-ка с тобою по-честному, поровну
Считать и твоих и моих соболей.

Мы белок и всех горностаев поделим,
Всех зайцев, всех рыжих лисиц и кунц,
И наших любимых мехами оденем,
Чтоб роскошь и щедрость не знали границ.

Выйду из дому, как из плена,
И, пожалуйста, я—философ.
Ненавижу я царство плена,
Ководильников и пылесосов.

Как мне нравится этот тополь,
Что, как церковь стоит в траве.
Беззаботную голову топит
И купается в синеве.

Царство шляпок и царство тряпок,
И приученности домашней,
Как мне нравится лист в накрапах,
И прощессия белых ромашек.

Грач глядит, как бобыль убежденный,
Что-то хочет во мне понять.
Небосвод мой, уют мой бездонный,
Мне тебя бы покрепче обнять!

И где бы ни появились ее стихи — в «Огоньке» или «Работнице», в «Юности» или какой-нибудь молодежной газете — нетрудно узнать Ларису по особой интонации ее стихов, настоянных на фольклорных соках, стихов, полных гражданственности и лиризма.

Александр Корнев, автор многих поэтических книг, прошлым летом совершил большую поездку по Бурятии. Мы знакомим вас с одним стихотворением из его поэтического дневника.

Поэты Даша Дамбаев и Цырен-Дулма Дондокова в рекомендации нашему постоянному читателю не нуждаются. Их имена хорошо известны у нас в Бурятии. А вот Намжил Нимбуев совершенно незнаком даже самым искушенным любителям бурятской поэзии. Ему всего восемнадцать лет. Естественно, что за это время он успел лишь окончить школу. Но первая проба голоса заставляет нас думать о том, что Намжил—достойный наследник поэтического имени своего отца Шираба Нимбуева, одного из ветеранов бурятской поэзии. Любопытно, что в отличие от отца, Намжил пишет стихи на русском языке.

Мы рады открыть первую книжку «Байкала» 1967 года большой подборкой стихов поэта Москвы и Улан-Удэ. Доброго пути вам, друзья!

Ноги путает повиллика,
Мало того, держит речь:
— Что печалишься, горемыка?
Сной чего-нибудь—горе с плеч!

Буду радуги гнуть над полем,
Буду жить под прохладой рос,
За березовым частоколом,
В шалаше, и прощай, пылесос!

**
*

Ты знаешь, я тебя люблю.
И так мне хорошо от этого.
Считаюсь я по февралю,
а на душе—июль и лето.

По озеру бежит заря,
Волнуется вода сиреневая,
Она дает мне янтара,
а я тебе его примериваю.

Любимая! Бери! Носи!
Сияй янтарно и пронзительно!
Не бойся утренней росы,
Ходи по ней, она пользительна!

На пнях горелых иван-чай.
Качается, как чуть подвыпивший.
Откуда вдруг виолончель?
То шмель под бархатную выпушкой.

Концерт заказан для тебя,
Точней — для вашего величества.
Чего не сделаешь, любя,
Когда душа в огне лирическом.

Я руку тихо положу
На плечико твое покатое,
И посторонним не скажу,
Какие мы с тобой богатые!

Цырен-Дулма ДОНДОКОВА

НОЧЬ

Ветер тишь не тревожит ночную.
И петляет тропа среди тьмы.
Ах, по терпкому запаху чую,
что близки от отары мы.

Ночь дарует легкие сны.
Ночь отводит беду и лихо.
Нынче Семь Стариков* пьяны,
что над сопкою пляшут лихо.

Старики те не дружат с нами.
Их веселье—не наша вина.
Захотелось им с чабанами
завтрак съесть и выпить вина.

Чтобы ночь прожита не зря.
Чтоб округа собой гордилась.
Чтобы утренняя заря
улыбалась и серебрилась.

**
*

О, простор моей милой степной стороны,
где курится розовый дым сараны!
Разве я тебя позабуду,
если рвусь к тебе отовсюду?
Дым тот розовый, словно воздух, глотала,
я тебе доверяла все сны и мечты,
оттого, что в судьбе моей главное—ты.
Если б гордым орлом я была,

* Большая Медведица.

отдала б тебе оба широких крыла.
 Если б батором прослыла—
 на могучих плечах бы тебя пронесла.
 Пусть в твоей глубине я лишь малая птица,
 но живу я, летаю, ликую без страха.
 Ведь свила я гнездо не из тонкой травы.
 не из листьев сухих—из твоей синевы.
 Оттого в том гнезде мне поется легко,
 что я солнцем твоим обогрела его.

Перевод Светланы КУЗНЕЦОВОЙ.

Лариса ВАСИЛЬЕВА

МАТЬ

Настучался в дверь раскосый —
 взором пошеным влетел.
 Расстрелялись деньки косы,
 стало бедня как мел.

На по травушке зеленой
 не ждала, не выжидала,
 на пачках моих каленой
 саблевый клейма выжигала.

И в лицо ему плевала,
 в рубаху порвала,
 на затылок боролась мало —
 горлопана родила...

На таночка дорогого,
 как жарче, послала мать
 к казаку Дмитрия Донского
 против батюшки восвать.

В пачке таяло полено.
 Туда привнес отца домой.

Не желал другого плена
 дьявол, черт чернявый мой.

Но глядел он исподлобья,
 покорясь своей судьбе.
 — Ах, душа твоя сугробья,
 не суди нас по себе.

Я ухват калить на стану,
 не прилипаю клейма,
 скатерть белую достану,
 соберу на стол сама.

Подавала я им галушки..
 Съели. Попросили пить.
 Протянула с брагой кружки:
 — пейте, злыдни, так и быть!

За окном горело небо.
 Пыль проселками плыла.
 Наливались гроздьи хлеба,
 мать-и-мачеха цвела.

Нахнут волосы дымом.
 — Носидим досветла?
 Как бы просто любимым
 и тебя назвала.

Удла веткой мешая,
 опивала бы тебя,
 никому не мешая,
 никому не губя.

Взлетел алое пламя,
 рванул к небу дрожа.

и опять между нами
 стыд и долг—сторожа.

Молчаливая мука
 сторожихой стоит—
 значит жизни излука
 нам разлуку сулит.

Что ж, давай напоследок
 просто так посидим.
 Как пронзительно-едок
 фиолетовый дым.

Не бывать нам счастливыми,
на судьбу не дерзать,
недозревшими сливами
жидких ртов не вязать,

синеватою дымкою
не теснить облаков
и бесстыдной обнимкою
не смущать стариков.

Уничтожить, разрушить, разбить,
все, что ревностно так сберегала!
Я хотела тебя разлюбить,
на край света с другим убегала.

Я чужого родимым звала.
Криво к берегу лодку прибило.

Замедленно-медленно тает
щемяще-производительный звук —
не лги, что тебе не хватает
беспомощных, узеньких рук,

тебе не хватает удобства
владыкой себя ощущать
и тихого бабья холопства
с бессмертным уменьем прощать.

Иду то исподволь, то вдоволь,
то по прямой, то вперекос.
Я никогда солдаткой вдовой
не выбегала на мороз.

Я вербной веточкой шаталась
под гнетом счастья своего,
когда ждала я — дожидалась,
а что с того?

Какая братская могила,
В какой далекой стороне,

Только рядышком, около
помутнелых небес
оперением сокола
ожиданье чудес—

почему бы счастливыми
нам с тобой не бывать,
недозревшими сливами
влажных ртов не вязать?

Что искала—нигде не нашла,
что нашла—ненароком разбила.

Нет, послушай, измена не то,
что привычно изменой считают,
если в целой Вселенной никто
о тебе позабыть не заставит.

Не вовремя ты постучался,
нечутко, нелепо, не к той—
здесь маятник долго качался
приниженной маятой,

отплакано здесь и отпето,
другому навек прощено—
на сером ковре парапета
дождя голубое зерно.

не на последней ли войне
взяла тебя мужичья сила?

Нет, я не жалуюсь, напротив,
сама мешаю мед и яд,
но не по времени юродив
стремительный и смелый взгляд.

А то еще совсем слепою
в крошечном зареве иду,
и так блаженно за собою
такого зрячего веду.

СТИХИ ПРО МОЮ ТЕЛОГРЕЙКУ

Она в сених наляется теперь.
 О каждый раз, возникнув на пороге,
 О, за собой захлопывая дверь,
 Ты об нее искоженные ноги.

Мы с нею обживали целину,
 Троила судьба обоих нас немало.
 Она не раз алтайскую весну
 На манитых плечах моих встречала.

Свой трактор заглушив над бороздой,
 Устало отдыхая в теплой пашне,
 И была ей благодарен за простой
 И очень нужный мне уют домашний.

Она вторглась в жизнь холостяка,
 Меня обогрела в злую вьюгу,
 И суровости степного городка
 Была за мать и верную супругу.

Когда стихи и первые читал,
 Мы были с ней одни под звездным миром.

Свою тоску лишь ей я доверял,
 Солидно поругавшись с бригадиром.

Я ею грел, в ночи у тракторов,
 Ту девушку с пшеничною косою,
 Сказавшую мне столько жарких слов,
 А ставшую потом чужой женою...

Ах, телогрейка, спутница моя,
 Товарищ с человеческой судьбою.
 Стою в сених, раздумья затая,
 На грудь ее шагнув одной ногою.

Глядит из-под облезлых рукавов
 Прожженных дыр печальными глазами.
 А в них огонь забытых мной костров,
 Горевших над озябшими степями!..

...Возьму в избу, и кончен разговор:
 Там телогрейку, спутницу до гроба,
 Повешу я жене наперекор
 В горячие объятья гардероба.

**
 *

Сладкогубый ветер целовал игриво
 Медные колосья в поле за рекою,
 Те слегка качались, покраснев стыдливо,
 И в ответ смеялись звонкою лимбою:

«Не качай нас, ветер! Не целуй, чубатый!
 Ведь стоять нам трудно под осенним небом—
 Потому что нынче урожай богатый,
 Потому что нынче люди будут с хлебом!»

* *
 *

Ты шла ко мне.
 Никогда же знала обратно,
 Никой взломавши
 Райю в впопыхах.
 Дрожили капли
 Солнцем многократным
 На майских
 На кинтановых плечах.

Ты шла ко мне.
 Но побежала мимо
 Но скалам вверх,

Скользя босой ногой...
 И тенью узкогорлого кувшина
 Застыла
 Над взволнованной водой.

Ты над собою
 Руки заломила,
 Желая дотянуться до богов.
 А небо в них
 Лазурь свою
 Пролило,
 Кувшин мой наполняя до краев.

**
*

В халатике застыла на пороге,
Еще не зная: верить или нет,
Метнулась птицей раненой к дороге,
Где и тонул с разезда пеший след.

Бежала декабристской женою,
Зачерпывая валенками снег.
Кричала мне с шемящею тоскою:
«Да где ж ты был, упрямый человек!»

А я стоял—немой от удивленья,
Замерзший и жестокий Дед Мороз,

Что в рюкзаке лишь ревность да сомненье
На рождество Снегурочке принес.

Она ко мне испуганной мадонной
По снегу убегала с полотна:
Раздетой, растерявшейся, влюбленной,
И оттого по-новому сильна.

И, трижды виноватый, у дороги
Я умирал, прощенный, от стыда...
Тогда-то и поверил я, что боги
Спускаются на землю иногда.

Александр КОРЕНЕ

ИЗ САМАРТЫ

Знаешь, как это в Саянах?
Ждешь, и ждешь, и ждешь...
Но вот
Точкой в белых глубинах самых
Вдруг рождается вертолет.
И уже — разворот над нами
Рев, бензиновый перегар...
Лопастей своих стеблями
Медленнее он замахал...
А через поле, там и тут,
С четырех сторон бегут
Женщины, и даже дети.
Взволнованы, как и ты...
Спотыкаясь, торопятся встретить
Партию из Самарты.
Сел. Выпрыгивают пилоты.
Дверца в бок. Вот это да—
С грохотом, будто гряда,
Вываливаются из вертолета
Шапки, бороды, братва.
Ватники, унты, кто в чем,
Огрубели на работе.
Слезы и восторг—ручьём.
И кто трезв, а кто на взводе.
Песня, крик наперебой:
— Папка...
— Коля...
— Сын...
Вот бородач
Ребенка схватил в охапку,

А тот: «Колется!»—и в плач.
...Прибыли. С собою навалом
И орехов, и всего.
— Эх, а моей нет, не знала.
Уехала вниз, в село...
Ведь с полгода, как-никак.
Не видались. Да с неделю—
Дрянь-погода — зря сидели
В ожидании на тюках.
— Ну айда!.. И гигант в обмотках
Другу, худенькому на вид,
Что расстроено так глядит:
— Что делать-то будешь?..
— Водку пить буду...—
тот говорит.
Вещи за плечи—и домой,
К домикам на крутояре,
Обнялись и зашагали
Двое: маленький и большой...
Когда партию закрывают,
Когда партия улетает,
Завершив разведку недр,
Лишь геологи это знают,
Сколько радостей и бед!
Не выходит мотив из моды,
Как геолог среди болот,
Побеждая тайгу и лед,
С рюкзаком все идет вперед!
А я просто видел в Мондах,
Как приносит их вертолет.



КРАСНЫЙ ДЕНЬ

Роман

Глава первая

В дымке туманов, клубящихся над гольцами, в духовитом запахе вора, и исколотых капелью сугробах шла весна.

С Хуртэйских гор пенистые потоки несли в распадок сучья кедра, а в верьях брусничный лист. Далеко внизу, на дне пади, они, утомленные, тихо сползали в болотце, ошетилившееся стрелками осоки.

От того болотца до избы Фалиных — рукой подать.

Семья у Фалиных, по здешним понятиям, не скажешь, что велика: Стареющие родители — Пантелей Дмитриевич и Серафима Лукинична, братья Степан, Гаврила, Пашка, сестра Фрося, жена Степана с ребенком — вот и все семейство.

Фалиных на главной улице Ункура видели не часто, разве, что на праздникам. Изба их стояла поодаль, в проулке, ближе к сопке, посредному утыканной молодыми соснами. Внизу, под сопкой, строится никто не хотел — земля не прельщала: галька да и болотце близенько. Но Пантелей Дмитриевич пошел туда селиться.

С год всей семьей очищали луговину, навоз коробами сыпали, с сопки да лесных опушек — откуда сподручнее, — чернозем возили. За лошадей не одну пол-литру снесли бригадирю.

И вот огород за домом зазеленел, а подалее, на крутоярье, пасека радовала пчелиным гудом.

Степан и Гаврила — оба в отца, неповоротливые, кражистые, узловатые. Не всякий, здороваясь с ними, протягивал руку. От пожатия немели пальцы. С виду братья будто стамеской скоблены — все грубоватое, шершавое.

Пашка пошел в мать, он понежнее. Приятней старших братьев. А жоть и нежнее, силой не обижен и высок не по годам. Сильно начал раздвигаться в плечах. Успевай рубахи покупать. Поносил с мешком другой — под мышками давит, на шее не сходится. Среди парней-одногодков выглядел он куда старше. Волосы по утрам мочил и упрямо вычесывал назад. Прическа как-никак.

Поглядеть на Пашку со стороны — на щеках розовое, беззаботное мальчишество, а мускулы уже буграми наливаются, ноги ставит как баты, сканивая клещами, чтоб потверже, понадежнее на земле стоять.

Воролись в нем словно бы два начала: во всей плоти появилось что-то взрослеющее, мужское, а в глазах по-прежнему, не таясь,

показала наивная и бездонная голубизна. Сестренка Фроська, подруга-ученица, смеялась как-то над ним: «Подумаешь, какой! Тоже мне... глаза завлекательные». Он прикрикнул на нее: «Не болтай, чего не знаешь!» А та хоть бы что: «Это девки про тебя говорили».

Мать, Серафима Лукинична, располневшая к старости, с увядшими чертами лица, вела дом. Невестка Агриппина — подстать мужу, хоть косить, хоть на ферме ворочать бидонами.

Пантелей Дмитриевич от колхоза отошел. Жил сам по себе. Затаил обиду. Вечерами, повесив на хрящеватый нос очки, брал газету, шевелил губами, показывая вставные зубы из нержавеющей стали. Вычитанное тут же сравнивал с местной жизнью. Выходило, что хуже Ункура ничего и нет...

Скрытно, молча в душе, переживал он за Пашку, не знал, как быть: Пашка-то десятую зиму в школу отходил, поди поталдонь с ним... Учиться бы отправить — выйдет ли толк? В колхозе трудодни его шоферские — курам на смех, не для того учили...

На неделе уехал в город с председателем, повез его... «На черта бы и возить! Сказать надо Пашке: будя, отшоферился! Хорошего не помноги. И то что-то заездился ноне, пора бы домой».

Предчувствие чего-то нехорошего не покидало все эти дни Пантелея Дмитриевича. Спать шел — надеялся не без боязни, что в сневидениях какое ни на есть разъяснение ему выйдет про Пашку. А какое тут разъяснение... Каждую ночь печь снилась. Черт-те что! Не выдержал, спросил жену: «Печь к чему снится?» Та подумала, поглядела на него виновато: «Не иначе, отец, как к печали».

Лучше бы и не спрашивать!

Пашка Фалин, само собой, не знал, что его отцу печь во сне глаза промозолила, не знал он и того, что если придет к тебе сонному, печь — жди печали.

В то утро, когда Пантелей Дмитриевич спросил жену о своих снах, Пашка, их сын, пробудился безо всякого желания. Открыв глаза, он размял отяжелевшую, затекшую руку и невесело огляделся. Он лежал на нарах в камере предварительного заключения городской милиции. Солнечный лучик обтекал зарешеченное окно. В нем суеливо роились пылинки.

Вчерашнее, как дурной сон, вставало в памяти...



В дни декады бурятского искусства и литературы в Москве в 1959 году взыскательный московский читатель с радостным удивлением приветствовал новый роман бурятского писателя Барадия Мунгонова «Хилок наш бурливый». Роман этот вышел малым тиражом в издательстве «Советская Россия», а затем полумиллионным тиражом в «Роман-газете». Успеху романа «Хилок наш бурливый» в очень многом способствовал добротный, творчески выполненный перевод с бурятского на русский язык. Он был исполнен Виктором Александровичем Сергеевым.

На книжной полке читателей Восточной Сибири нашел свое место роман Жамьяна

С председателем колхоза приехали они в город утром. На тихой, спящей в песках улице, Пашка остановил машину.

— Обратно когда?

Председатель, будто засовестился, торопливо собрал свертки.

— Да завтра, что ли.

Он вылез из машины и, нерешительно умина сапогами пыль, пошел к каменному особняку, кренившемуся на спуске к реке. Дом был ненавистен — ставни полиняли, осыпавшаяся по углам штукатурка вываливала щербатый кирпич.

Выйдя за щеколду, председатель повернул голову:

— А то зайдешь?

С прихваченного загаром сухощавого, скуластого лица глядели на Пашку в прищуринку глаза, в которых мерцало что-то виноватое и растерянное.

— Чего уж там, заходи!

— Спасибо. В киношку думаю, Савелий Яковлевич. То да се...

Взяв койку в доме колхозника, Пашка проспал до вечера, а утром, надумав побродить по городу. В кино идти не то хотелось, не то уже расхотелось.

Потолкавшись в толпе на центральной улице, он свернул к скверу. В голых, подрезанных ветвях тополей, должно быть, почуяв весну, оживленно возились грязные воробы. Сумеречные тени надвигались от домов. С Селенги подталкивал в спину ветер, пахнущий хвоей и льдами.

Из задумчивости Пашку вывел гул голосов. Он вскинул голову — у фонаря напряженно шевелились неясные тени.

«У-у-у-у!» — ползло от ограды.

«Не иначе, кого-то бьют», — подумал он. Постоял, соображая. Убедившись, что его тянет туда, где маячат тени и слышатся крики. Стало отчего-то весело. Он не успел подумать — что к чему. Тонкий противный вскрик подхлестнул его.

Пашка рванулся через толпу к ограде. Увидел, как трое заламывали руки лежащему на земле. Это Пашке не понравилось. Трое на одного... Нечестно. Спину охватил холодок, он почувствовал, как тянут руки в карманах.

Один из троих — в берете — стоял ближе, и Пашка поддел его плечом. Не посмотрев, что с ним, он оттолкнул и тех — двоих. Стало тихо.

Владимир Голубых «Голубые сопки». Так же, как и «Хилок наш бурливый», этот роман был переведен В. Сергеевым, оба они первую публикацию получили на страницах журнала «Байкал».

В переводе В. Сергеева печатались повести молодого бурятского писателя И. Галанова: «Зрелость приходит не вдруг», «Сын отца» и «Дулмаадай».

Нам приятно рекомендовать читателю роман, написанный самим Виктором Сергеевым.

Это произведение посвящено колхозной деревне. В центре повествования — семья Фалиных. Через многие трудные испытания проходят герои произведения, прежде чем глава семьи Дмитрий Пантелеевич может сказать о том, что в его жизни снова пришел праздник — красный день.

В. А. Сергеев родился в 1920 году в Вологде. В Бурятии с 1940 года. Комсомольский работник, журналист на радио и телевидении, много лет работал в «Правде Бурятии» — таков жизненный путь автора.

— Чего лезешь? — спросили его.

— Но-но,— предостерегающе проговорил Пашка.

— Попомнишь, асмодей!

Пашка не понял. Слово незнакомое, никогда не слышанное. Дрожь в теле прошла. Тот, которому только что крутили руки, растворился в сумерках. Пашка был доволен собой. Доволен, что на глазах у всех, вот так, запросто, растолкал троих, а те побоялись его. Он неторопливо шел и думал... И успокаивал себя — так, мол, и надо было. А как же еще? Но спокойствие почему-то не приходило, стало примешиваться что-то тревожное. И опять этот холодок по спине... Ему-то что было за дело? Его просили? Никто не лез, а он вот взял и полез. Вспомнил, что все эти дни чего-то ждал. Подходил к зеркалу, оглядывал себя и ничего не понимал. Вытягивал руки, сжимал пальцы до хруста. Чувствовал — по всему телу гуляла и бродила сила. И она утомляла и беспокоила его. Хуже всякой тяжести. Эта сила томила его и сегодня. Вот он и порасплескал ее... Но опять же, какое там — порасплескал! Не получилось. Шум, правда, был. Да и то, так себе... шумок. Пашка подивился на себя: у него зудило в пальцах. Не на коже, как обычно. Нет. Изнутри это шло как-то.

Он гулял, усмехаясь, мимо кино. Туда, обратно... Очередь у кассы поредела. Пашка постоял, подумал, встал в очередь и купил билет.

Он смотрел хронику, когда ему показалось, что в проходе мелькнул берет — он отчетливо видел тень на стене и слышал шепот. Он был уверен, что оттуда, из темноты прохода, смотрели на него. Он отогнал эту мысль: «Померещилось». И тут же пришла догадка: «Это те — трое».

От одной мысли, что его ищут, что за ним следят, сделалось неприятно. «Пустяки,— успокаивал он себя. — Зачем они тут, могли бы на улице... Нет, не они».

Снова сбоку шепот. Слов не разобрать. Теперь Пашка не сомневался: пришли за ним. У него есть полтора часа, надо обдумать.

В сквере он не струсил перед ними, подошел и растолкал. Знал, на что шел, и ничего не чувствовал — один зуд в пальцах. Почему же теперь не по себе?

Можно, согнувшись, протискиваться к выходу, задевая чужие колени. Уходить. Уползать. А те будут смотреть и смеяться. А может, и не так. Может, они в одном с ним ряду, а он начнет тыкаться носом у них в ноги. Нет, уходить он не согласен. Не-ет.

Может, лучше вон к этому дяде притулиться? Ничего дядя, клещеватый, плечистый. После сеанса завязать какой ни на есть разговор, будто тот ему знакомец, будто им по пути. Отираться возле дяди, пока те не отстанут.

«Нет-ет, и это не то,— со злостью на себя подумал Пашка. — Кого-то выручал, куда-то лез, никто не звал, не просил. А что? Честно начинал, по-честному и кончать».

...В зале вспыхнул свет, и публика потянулась к выходным дверям.

Чтобы не стукнули сзади, Пашка вышел на мостовую, замедлил шаги, огляделся. Тротуар быстро пустел. «Видимо, все-таки померещилось», — решил он, и тут его окликнули:

— Прикурить е?

Рядом уродливая кособокая тень. И неожиданно к Пашке вернулось спокойствие.

— Не узнаете? А я, признаться, беспокоился, думал, что не встретимся. Будете платить по векселям? — голос был с хрипотцой, веселый.

Пашка заметил краем глаза, что его окружали. Не то четверо, не то пятеро.

Ударили его по щеке ладонью, не сильно. Не спешили, рассчитывая поиграть. Пашке некогда было о чем-либо подумать. Он отмахнулся кулаком, увидел, как кто-то свалился. Пашка перескочил через упавшего. Сзади закричали, затопали. От угла наперерез выскочил милиционер и засвистел.

Пашка оглянулся, замедлил бег. «Ну вот и все». Но что это? Он не успел сказать и слова, как был схвачен. Ему заломили руки, как тому в сквере.

— Что случилось? — спросил милиционер.

— Хулигана взяли, — ответил парень в берете. — Вам же, старшина, помогаем. Не видите?

— А-а, Жеребцов! Твой патруль? Ну-ну. Веди его в отделение. А я думаю, по какой причине бегут... Ну-ну. — Он отошел.

Пашку повели по пустынным, тускло освещенным улицам. За промтоварным магазином, где не горели фонари, его ударили в бок. Потом еще. Пашка молчал: не трогали бы хоть лицо.

В отделении дежурный потребовал у Пашки:

— Документы!

Полистав паспорт и шоферские права, спросил, где машина.

— Пройдите за барьер, гражданин. Вот сюда.

— Обстоятельства задержания изложить? — спросил Жеребцов дежурного. — Тип этот, видать, отъявленный.

— Объясните письменно. Какие действия совершил задержанный, что побуждало его? Ну, сами знаете.

— В камеру!

Дежурный нажал кнопку. Вошел милиционер.

Через час его привели в комнату, где за столом сидел штатский. На круглом отечном лице — добрые, усталые глаза.

— Прочитай и распишись, — сказал штатский, подавая листок. — Я сотрудник угро.

Пашка пожал плечами, примостился на стул, повернул листок к свету. От слегка скошенных букв веяло чем-то враждебным. Получалось так, что хуже некуда.

«Помешал хулиганскими выпадами в задержании нарушителя общественного порядка. Оскорблял дружинников. При задержании оказал сопротивление — ударил старшего патруля Жеребцова».

— Все это не так, — заявил Фалин.

— Давай уточняй.

Пашка, не торопясь, передал все — как бродил по улице, как завернул к скверу, как увидел там... Ему казалось, что все так просто и так понятно, что неудобно терять время на какое-то разбирательство. Он же никого не ударил, не оскорбил. Только и всего, что поддел плечом... Трое на одного... Как же так? Ну, если он, Пашка, погорячился, можно бы объяснить — что, как и почему. А то — никто и ничего. Потом же вдруг наскочили, после кино... По дороге в милицию его же и стукнули. За что?

Часто звонил телефон, и это мешало. При звонке следователь стремительно срывал трубку, а поговорив, клал ее с облегчением и долго не убирал руки с трубки, словно это могло задержать очередной звонок.

Вопросы его были неожиданными для Фалина, они будто бы высканивали из того темного угла комнаты, который находился за его спиной, и Пашка терялся, не зная, как лучше сказать, чтобы не навредить себе.

Следователь угро жмурился, ковырял в зубах спичкой и укориз-

ненно качал головой: зря, мол, петляешь, все равно... В глазах у него уже не было доброты.

— Вот что, Фалин. Я вашего брата знаю получше, чем ты родную маму. Водку пил? Нет? Ну вот, выходит, я ее пил. Вот так всегда у вашего брата. Боксер? Опять нет. А прешь на троих. Нокаут, апперкот... Переспишь в камере, тогда расколешься.

Но и утром Фалин не «раскололся».

— Сдай машину в инспекцию и являйся в народный суд. Дело твое назначено к слушанию на два часа, — сказал ему следователь. — Обвиняешься по статье за мелкое хулиганство. Недельку-другую припечатывают — поуспеешь.

Взяв машину в доме колхозника, Пашка приехал на ту самую тихую улицу. Савелий Яковлевич вышел с чемоданом.

— Здоров будешь! Ну и долго же ты. Я не знал, на что и подумать. Ну как — тронулись?

— Не поеду я, — хмуро обронил Пашка, отводя взгляд. — Нельзя мне. Такая история...

— Неужели права отобрали? Вот тебе раз!

— Не то. Судить будут. За мелкое хулиганство.

— Как так? — опешил председатель.

— А так. Чтобы не шлялся небритым.

— Постой, постой! Давай по порядку. Чего натворил?

— Драка получилась.

— Виноват?

Савелий Яковлевич залез в кабину. Около рта собрались озабоченные морщинки.

— Поедем-ка, — сказал он. — Нечего тут гордыню тешить.

Пашка включил зажигание, дал газ. На повороте спросил:

— Куда ехать-то?

— Известно, куда — в милицию.

Фалин сбавил обороты, затормозил и, ни слова не говоря, выскочил на дорогу.

— Куда ты? Вот чертовщина! Да постой же! — звал председатель.

Пашка не обернулся. Видать, потянуло «гордыню тешить».

Его осудили на пятнадцать суток.

— У нас своих хулиганов хватает, Фалин. А тут вы... деревенские, — говорила судья отчетливо и громко. Голос ее был басовитым, от пустоты зала он гудел и казался мужским. — Тебя, Фалин, слушаешь, так суд должен милиции выразить недоверие. Но мы верим патрулю дружинников и милиции. А вот хулиганам, Фалин, не верим.

Глаза у судьи смотрели прямо, строго, не мигая. В крупных не по-женски чертах лица застыло что-то раз и навсегда выверенное и принятое ею. Слова у нее выходили, будто из-под молота — сплюснутые, тяжелые.

Срок Фалин отбывал в городской тюрьме. Публика в камере собралась самая что ни на есть пестрая. Уличная накипь.

Пожилой патлатый мужчина спросил Фалина стеснительно:

— Надолго к нам?

Пашка сказал.

Патлатый покрутил головой, усмехнулся:

— Жизнь здесь обыкновенная, будто вербованные. Только вот позору по самые уши.

— Злодейку с налейкой вспоминаешь, папаша? — спросил с усмешкой парень, взявшийся невесту откуда. На раскрытой груди его темнели полосы тельняшки.

Парень в тельняшке подсел к Фалину. Его глаза — светлые, во-

длинные — лениво и безучастно обшарили Пашку с ног до головы.

В нашей жизни есть много валетов,

И валеты все разных мастей,

— пропел он безголосо и подмигнул Пашке.

— Кинем по маленькой. — Парень вынул колоду.

— Не играю.

От дверей крикнули:

— Пая! Пайка!

Пашке стало вдруг до того тоскливо — чуть не заплакал.

Утром они побрели на стройку. Получили лопаты. С тротуара глядели любопытные, посмеивались:

— Суточники вкалывают!

Явился прораб, хмурый, заспанный.

— Копайте вот по этим вешкам, — указал он. — Кто у вас старший?

Копали так, что смотреть тошно. Спешить некуда. Пашка поко-вырял лопатой галечник, надоело. Покурил, посмотрел по сторонам, в окне заметил смеющееся девчончье лицо в платке, испачканном известкой. Показал кулак. Лицо скрылось.

Часть суточников к обеду сгинула — ушла по магазинам, по до-мам. Валялись брошенные лопаты. От скуки Пашка считал... Швыр-нет землю — раз. И снова — раз. Потом и считать расхотелось. А что если бы его высмотрели здесь те, из-за которых он получил на полную железку?

Исподлобья покосился на то окно. Девчонка не показывалась. Все время было такое чувство, словно вот-вот кто-то грубо его позовет и что-то скажет ему злое, обидное. От ожидания теснило в груди. Но его никто не звал, никто к нему не подходил. Пашка почему-то вспо-минил того, который кричал в сквере. Какой он? За что его брал пат-руль? В полумраке, в горячке он его не рассмотрел. Может, его надо было-таки доставить в милицию? Не-ет, вряд ли. С подобной мыслью не хотелось мириться. Тот человек уже чем-то ему был близок.

В половине шестого нужно быть в камере, а за полчаса до ухода к Фалину подошел парень в тельняшке. С ним еще один — невысокий, плечистый, с квадратным подбородком. Оба они пропадали с утра неизвестно где.

— Качай с нами, угостим, землячок.

Пашка посмотрел в бесцветные, слезящиеся на ветру, глаза, хотел отказаться, но передумал. «А что? Он вот зовет, а больше никто не позовет. Нет никому никакого дела». Он швырнул лопату, поплотнее запахнул телогрейку и пошагал за ними.

Остановились возле продавщицы газированной водой. Попросили стаканы. Парень в тельняшке вытащил пол-литра, засмеялся, показы-вая желтые зубы:

— За что боролись и от чего пострадали!

Выпили, не закусывая. Бутылка полетела в урну. «Тельняшка» дала Пашке щепотку чая. Жуй, мол. Уничтожает запах во рту.

У нового знакомого — кличка «Пая».

Назавтра Пая попросил Фалина помочь нагрузить в машину ши-фера.

— Прораб велел, — пояснил он.

На стройке пусто, время обеденное — все ушли в столовую. Пашка удивился: Пая слушается прораба!

Утром Фалин получил от него три рубля.

— За что?

— Прораб наградил. — Пая захохотал. — Нашел — молчи, поте-рил — молчи!

Жизнь суточников была довольно сносной. Кормили три раза. Ночь и без разносолов, но сытно. На стройке особенно не неволили. Вечерами Пая брал гитару, тонкими цепкими пальцами небрежно перебирал струны:

И в ночь ненастную
Меня несчастную,
Торговку частную,
Ты пожалей...

Пашке он говорил:

— Бросай деревню. Разве там жизнь?

— Везде люди, везде жизнь.

— Ну, нет. Шалишь! Фалин-Фаля...

Его освободили, когда Пашке оставалось пятеро суток.

— Может, надумаешь? Возьми адресок, — сказал Пая перед уходом.

Пашка покачал головой.

— Поживу пока дома.

— Эх, Фалин! Фалин-Фаля!

В камере Пашка получил кличку «Фаля».

Глава вторая

И вот Пашка снова дома, в Ункуре. Дома — не в гостях. Дома — не у суточников.

У Фалиных вечерали в сумерках.

Поужинав, Мантелей Дмитриевич вылез из-за стола, перекрестил по привычке неприметный в колючей бороде рот. Кряхтя и почесываясь, сказал довольным голосом:

— Посыльный, седни набегал, сказывал, что кличут в совхоз. На неделе и тронемся. Артель просят сбивать.

Степан, облизывая дочиста ложку, усмехнулся:

— У нас вот туточко, за-столом, и артель, батя.

— Готовь, мать, и Пашку. С нами поедет.

— Надо-ть, так что же, — отозвалась Серафима Лукинична. — Время-т на лето повернуло, самая пора.

Пашку о поездке не спросили. Поглядывая на братьев, на отца, он думал: «А ведь надо ехать. И то уж зажился на всем готовом. Пока не корят...»

Его все еще удивляло отношение к нему родных после того, как он вернулся после отсидки. Никто не поругал, слова обидного не проронил. Отец будто бы даже доволен был: уж на что скуп, а в день его приезда петуха велел оципать и бутылку самогона поставил.

Выпив стакан первача, просверлил Пашку тяжелым взглядом:

— Черту служил, вот и дослужился! Клеймо тюремное поставили. Эх-ха-ха! Паря... Держись отца, так доживешь до венца.

Гаврила смотрел из-под лохматых бровей, жевал квашеную капусту. Вдруг положил на столешницу кулак:

— За братку вр-р-раз бы ушиб!

Степан сидел спокойно, посмеивался и подливал самогон.

Пашка вспомнил того самого в тельняшке — Паю. Посмотрел на братьев, сравнил и довольный сказал сам себе: «Не чета».

Мать, поджав губы, не спускала глаз с меньшого. Вздыхала: «Экие тюрьмы, прости господи, пооткрывали. На две недели и то са-

дят. Пошто бы это? Раньше такого не слыхали. А все потому, что бога забыли, озлились».

В селе Пашку встретили — кто как.

Парни расспрашивали про камеру. Щелкая орехи, пытали подробности, преувеличенно громко смеялись. Мужики смотрели на него, словно на нового жителя, сдержанно здоровались, говорили вокруг да около.

Перед самым отъездом в совхоз, когда уже собирали харчи и инструменты, отец велел Пашке на скорую руку продолбить канавку от дороги к огороду. Весна шла бурная, и старик спешил собрать с дороги какой ни на есть навоз и по канавке приплавить его к сараю, возле которого приготовлена была траншейка. Там Пантелей Дмитриевич держал перегной для огорода.

Пашка лопатой и пешней пробил канавку, постоял, посмотрел, как набухает лежалый снег, и хотел было пройтись по большаку, подгрести где что можно, как из проулка выехал грузовик. Ругаясь, Пашка отскочил к изгороди, утер со щеки шматок грязи. Шофер развернул машину, выбираясь на большак. Пашка увидел, как задним скотом прижало в колесный след фалинского рыжего кота...

Грузовик остановился. Из кабины прыгнул на дорогу шофер Василий Бусарин, поглядел на Пашку, развел руками: «Вот ведь как получилось!» От заплота спешил к нему, суча кулаками, Гаврила. Не говоря ни слова, коротко ударил Василия в зубы.

Бусарин — высокий, жилистый — качнулся. Шапка его скатилась в кювет, черный свалевшийся чуб повис на лбу.

— За что? — спросил он, сплевывая кровь с разбитой губы.

— Ездят тут всякие по чужим дворам.

— Это каким — чужим? Кто?

— Коту войти невозможно. Гады!

Гаврила целил в висок и не попал. Василий отклонился, и тяжелое, налитое тело Гаврилы, потеряв равновесие, осело.

— Сте-епка! — полетел над проулком вскрик.

Пашка почувствовал зуд в руках — как тогда в городе. Что-то ворохнулось под сердцем, защемило. А все же не побежал на голос. Не побежал, может быть, потому что с крыльца уже метнулся Степан, сбрасывая на бегу пиджак.

Бусарин кружил возле машины, отбивался — как мог — длинными руками. Поначалу драка текла вяло. Фалины по-бульдोजьи, не спеша, накатывались на Васькины кулаки. Василий отступал, ловчил ударить то одного, то другого. Пашка понимал, что долго такой волюнке не быть. Бусарину не устоять, собьют.

Затуманенными глазами окинул улицу — никого. Порывался разнимать дерущихся, но всякий раз что-то останавливало его.

По двору, привлеченный шумом, проковылял Пантелей Дмитриевич. Прикрыв глаза ладонью, всмотрелся и, по-молодому, перепрыгивая лужи, выскочил в проулок.

— Стой! Так вас растак! — закричал старик, по-бешеному округлив глаза. — Что тут дется? У-у, дьяволы! Расходись!

— Ты, батя, не шуми, — тяжело дыша, ответил Гаврила. — Вишь, нога нашего задавили. Ездят тут, кому не лень.

Пантелей Дмитриевич, осознав, что случилось, покосился на кювет. Лицо его будто умыло чем — колючие морщинки притерлись, от глаз по щекам растекалась скорбная улыбочивость.

— Все под одним богом ходим, — сказал он холодно Бусарину. — За тварь убиенную бессловесную ответишь.

Воспользовавшись приходом старика, Василий отбежал к кабине, вытащил заводную ручку и со злобой ответил:

— Не тварь бессловесную, а вас бы, жлобов, давить надо.

— Побить его, что ли? — спросил Степан в раздумьи.

— Попробуй сунься! — Бусарин яростно махнул железной ручкой.

— Сволочь ты, Васька! — проговорил тихо старик, но все услышали.

У Бусарина задергался глаз. Он шатнулся от кабины, сжимая ручку так, что побелели пальцы. Лицо его пятнили слезы с кровью и грязью. Говорил он трудно, хватаясь за грудь:

— Ты не сволочи! Право слово... говорю, я ведь за свою жизнь не только кошков давил. Учтите, Фалины! Меня сволочить!? Да хотя бы лю-юди, а то... — Он передохнул, прищурил глаза, огляделся.

Пантелей Дмитриевич сбегал с дороги. Пашка увидел сразу то, что не было связано прямо между собой: отец выламывал жердь из плетня — трещало сухое дерево, а на крыльце мелькнуло чье-то испуганное лицо.

— Не подходи-и! Зашибу! — не своим голосом закричал Бусарин. Фалины полукругом охватывали его, стараясь прижать к плетню.

— Не бойсь, не вдарит, не верь, — вполголоса проговорил Гаврила отцу. — Заходи отсюда.

Но Пашка поверил: ударит Бусарин, обязательно ударит. Бесцельным и жалким показалось ему все, что он видел: ругань, выкрики, угрозы. Он и себя считал жалким, никому не нужным. Надо было что-то делать. А что делать, он все еще не знал, хотя чувства его накалились до предела, до того самого предела, за которым уже нет никакого здравого смысла. Вытянув шею, он смотрел на отца.

«Что же теперь? Если ударит отца, — подумал Пашка. — Если ударит...»

Он шагнул на дорогу и тут же с облегчением ухватился за борт грузовика. По улице бежали люди...

Ночью Пантелея Дмитриевича сон никак не брал. И матрац не принимал его ни на каком боку — будто доски кто подложил, и подушка с чего-то давила то шее, то уху, и еще ко всему — старухе, боги, вест с какой стати, приспичило тоже ворочаться и вздыхать во сне. Он забывался на какое-то время и от непроходящего томительного беспокойства перед глазами мерещились всякие видения, в которых он кое-что угадывал из своей прожитой жизни, кое-что лишь отдаленно напоминало ему о себе, а чаще он — напуганный и недозольный — сбрасывал с себя немощную дремоту, ибо на него уже лезло черт-те что.

Устав от видений и бессоницы, старик поднялся и, стараясь не разбудить никого, тихо оделся и вышел на крыльцо. Небо только начинало светлеть от далекого на подходе солнца, и птицы, еще не чув его тепла, не подавали голоса, и все вокруг чего-то ожидало — и травы, и ветви, и дома.

От властной и прохладной тиши, от застывших в тумане изб и заборов, от безлюдья и мягко подступающего покоя давно знакомого надворья с амбарами и поленницами будто бы полегчало, отошло от груди. А только что?.. Надолго ли эта хрупкая тишина, это милосердье безлюдье? С утречка все пойдет напереверот, наперекосяк. И сразу же — откуда ни возмись — ядовитые словечки Васьки Бусарина: «Да хотя бы лю-юди, а то...» Вот ведь какая, сволочина... «Хотя бы лю-юди...».

Пантелей Дмитриевич поежился, свернул сигарку, оглядывая небо. Васька не выходил из головы. Видать, из-за него и бессоница. А казалось, с чего бы? Ну, сцепились, покричали... А до большого не дошло — убийства или еще чего такого не было. Опаску иметь за себя — ни к чему.

А чего-то опять томило. Сначала, как выбрался на крыльцо, отпустило, а вот опять...

По крышам изб текли плакучие туманы, и здесь, в проулке, ветер еще не трогал их, а на улице, на взгорке, видать, уже дуло с озера — потому как был теперь приметен краешек железной крыши колхозной моторы. Пантелей Дмитриевич, как ни далеко было, а разглядел этот краешек... Защемило внутри сильнее. После вчерашнего с Васькой — считай, что крыша эта еще подальше отодвинется от Фалинской избы. Васька-то, поди, уже сбегал к председателю жаловаться. А Фалин туда не ходун. Туда ему заказано. Самим собой себе же и заказано.

Вот опять крыши-то не видать. Заволокло туманцем. Ну и ладно. Век бы не видать. Савелий-то Яковлевич, поди, спит. Ну да — спит. Чего ему? Который уж сон доглядывает. А тут торчи на дворе, как неприкаянный. Про всякую всячину думай. Не в совхоз бы ехать завтра. На Обор бы. К Буда-ахаю. Овец-хуригашек попасли бы вместе. Как бывалоча...

Пантелей Дмитриевич бормочет про себя, будто Буда-ахай стоит тут перед ним:

«Ну, паря, старый черт, и пожилы мы с тобой, и повидали... Припомни-ка на Оборе. Пастушили, бывалоча. По всякому... Эх-ма».

Жарища как падет на степь, так и потекли по-над самым горизонтом синюющие разливы вянущей ая-ганги.

«Жарища. Эх-ма. В тени какого-либо валуна, на склоне сопочки, притулишься, бывалоча, стоишь — ни шель-шевел. Лень повернуться, сомлеешь вовсе. А орел-то поверху так и ходит, так и ходит. Овцы, бывалоча, сгрудятся, ошалеют в духоте, боками — знай себе качают, словно меха в кузне. Эх-ма».

К ночи жара в землю уходит, в каменья прячется, в колючую харгану. Ох и хорош-ша ночь-то на Оборе! Шумок этакой легкий откуда-то накатывается — не то от речки, не то от тайги. С листьев, может, прямо и слетает шумок-то и по степям катится, воркует, бурчит о чем-то своим то задумчиво, то сварливо.

А еще птица. Ночная. Такую при дневном свете не слышно.

«Бывалоча, как захлопает крылами, будто в ладоши щелкает, и запосвистывает всюю: «Круй, круй!» Потом-ка прислушаешься, задремлешь, не дыша, а в уши тебе словно ручеек — журчит этак:

— Чор-ррр-урр!

«Журчит, черт ты брал! Полуночник-птица... Рот до ушей... Вот она и дует-свистит на все лады. Бабы говорят: «Она козу доит». И верно. Как запоет-зажурчит — вроде молоко бежит в подойник. Оттого ее новодоем кличут. Козодой...»

Чуть в небе посветлеет, козодой молоко подоит, с неба зачнут звезды срываться. Как слезы».

Во дворе Пантелея Дмитриевича сумерки разбредаются по сторонам, жмутся к плетню, к амбарам, к дровам. Самое время козодой на покой убираться. Звезды будут падать.

Вместо звезд опять лезет, навязывается Васькино злобство: «Хотя бы лю-юди-и!»

И уже не хочется думать ни о чем приятном, душевном, милом сердцу. Хочется думать о таком, чтоб самому озлобиться, наколючиться к нему. Память услужлива, что тебе молодуха-невестка. Память подговывает... Зимний короткий денек, солнце в стынувшей наволочи. Буда-ахай в дохе, кнутиком поигрывает.

«А помнишь, Буда-ахай, паря, старый черт, в тую зиму велено было овец в степь не гонять, тебеневку забыть на веки вечные, будь она неладна!»

тая в эти разговоры, потому как они и его самого беспокоили, но скоро уловил, что тревога Буды-ахая была поглубже его собственной.

Случилось это после снежной ночи, когда пасти овец стало невозможно.

— Добеги-ка до своо сына Жамсо, вели ему коней провесть воз-ля Оборских сопочек,— сказал Пантелей Дмитриевич. — Табун ежели попонытит снег, так овцы типчак опосля достанут.

Жамсо, в ту зиму ходивший за табунщика, само собой не мог от-назвать отцу, и велико было удивление Пантелея Дмитриевича, когда он заметил нерешительность старика.

— Да ты чо, паря? Никак испужал тебя-таки Грибов?

— Да ведь однако... опаску надо бы помнить,— вздохнул Буда-ахай. — Мало ли как. Из-за овечьего курдюка на сына бы беду не навести. Он и так у меня... Сам знаешь, Пантелей.

— Добрая-то слава лежит, а худая по свету бежит,— успокоил Пантелей Дмитриевич колебавшегося Буду-ахая. — Мало ли что. Овец ведь не бросишь. Да никто и не дознается. Помяни меня. Вот ей-богу!

Дня два уже не пасли овец. Буда-ахай старался не попадаться на глаза Пантелею Дмитриевичу, словоохотливость его как рукой сняло. Не выдержал... Увидел, как Фалин подходил к остатному стожку, как долго стоял там в задумчивости, теребил клочки сенца, нюхал, растирал в ладонях.

«Эх-ма! Была не была. Семь бед — один ответ». Повздыхал вот так-то Буда-ахай да и за лошадами подался, а Пантелею Дмитриевичу так и не поведал, что сына-то и без того судить собираются по путанному делу какому-то: магазинскую кассу ополовинил у жены-продавщицы. Не то поговору с ней, не то сам по себе, по пьянке.

Вот так и жили тогда на Оборе. Черт-те что, а не жизнь! Один отару пас, второй где-либо на бугре, на взгорочке в карауле конном стоял. А ну как кто доглядит, что матки в степи — беда же!

Председатель не то хотел накрыть их, не то не хотел. Наезжал поздно, при огнях. Бывало, на крик срывался: «Жилы вы из меня последние вытянули!» А так больше ничего. Да и что председатель! Он, поди, и сам понимал, что без тебеневки чабаны не могут, что напирать в этом деле никакой нужды нет. Не было бы шума стороннего — и ладно. Пасутся овцы? Ну и пусть. Тихо чтоб только. Не сказали бы, что председатель потворствует. Вот и всех делов-то.

В председательском крике, в его строгих глазах Пантелей Дмитриевич не замечал ни злобы, ни раздражения. Бывалоча и не то... Теплели глаза у председателя, когда щупал ребра овец, имал на руки резвых хуригашек. Премировал даже бараном стариков. За то, что доглядели за матками.

То — ругался, а то — премировал.

И прошла обида у Пантелея Дмитриевича. Унесло всю тяжесть от сердца вместе с журчанием ручьев, что потекли с Хуртэйских гор.

Похваливать начали в правлении стариков. Нет-нет да и скажут про них обоих такое, что хочется украдкой поглядеть по сторонам: как, мол, люди-то примают... все ли слышали?

По весне Пантелею Дмитриевичу и Буда-ахаю луг выделили. Для отары. В правлении разговор был: «Вот тебе лопата — горбом богата. Хошь — молись, хошь — трудись». Но смотри! Не самоуправничай, как в тую зиму. Грибов-то велел гнать тебя в три шеи, а мы уж все это самое... на себя взяли, под свою ответственность». И опять старая обида вернулась. Стало-быть, недалеко унесли ее журчащие ручейки. «А мне-то что,— отвечивал Фалин,— пропадите вы все пропадом! Мне до ваших делов — плюнуть да растереть. Мне овец жаль было. Не можно моим глазам видеть все это. Потому и тебеневал. Ни

одной зато не запропастил, а это как понимать?» — «Ладно, дед. Давай, давай! Мы это тоже учитываем. Вот и решено тебя на самый передний край поставить. Чтоб с той самой боролся... с тебеневкой». Говорят и еще смеются. Весело им нынче чего-то. — «Создавай, старик, про запас кормовую базу. Помни: база эта — верный гроб тебеневке!» — смеются. Смешки эти подковыривают Пантелея. — «Гроб — так гроб. Много-то что? А только поимейте совесть... мне овцов жаль было. Я тушский рожак и колхоз, можно сказать, при моем голосовании создавался, и для меня все тут не чужое, отседова и на войну уходил». — «Ну так, что же? Все уходили, дед, в свое время». — «Я не про всех — про себя говорю».

Поговорили вот так в правлении, и получил Фалин под свое начало Цыдыпов луг. Ну, луг как луг. А известен он был тем, что в стародавние времена повесился тут на дереве какой-то бурят по имени Цыдып. Повесился отчего — никто уже не помнил, надо думать — не от хорошей жизни, а луг и по сей день так и зовется: Цыдыпов луг.

Пантелей Дмитриевич, помнится ему, взял лопату, повертел так и эдак. Кинул. Что лопата? Луг огораживать в пору. Того и гляди — скот выгонят пасти, загубят траву-мураву. А тут еще, на беду, Буда-ахай приболел. Слег вовсе старик, обезножил. Вот и нет дружка-работничка. Ну как тут? Топор за опояску и айда жерди рубить. Прихватил с собой Степана и Гаврилу.

Ах жизнь пошла было! Вот было! Кукушка уже где-то на утесе куковала Пантелею Дмитриевичу долгие годы, ласточки носились над Цыдыповым лугом и такими довольными голосами что-то все выводили, аж сердце замирало у старика. И трава уже пошла в рост — этаким зеленым туманцем растекалась вокруг. И земля уже обнималась с небом знобкими утрами, стлалось по лугу белое молоко и таяло, таяло... Все цвело, росло, радовалось!

Пантелей Дмитриевич любил в такую пору ложиться на бугорок и подолгу смотреть на малюсенькие остренькие росточки. Пахло сырой землицей. Ах, как пахло! Росинки поблескивали там и тут. Жужжала шмелиха-матка. Усохшие былки тихо и отрешенно шевелились под набегавшим ветром, свежую зелень ветер еще не брал — настолько она была мала, что каждый комочек землицы, каждый камушек заслонял ее.

Не дали ведь Фалину загородить Цыдыпов луг. Не дали! Отгнавший за зиму скот велено вывести на зелень. Пантелей Дмитриевич с жердью в руках самодично встретил стадо... Прибежал заведующий фермой Харитоша. Крику было!

...Шмелихи-матки не выдать. Поди, яйца класть улетела. Спешит — нех у нее короткий. И у тех зелененьких росточков, что выползали из земли, тоже век короткий.

Как ни сторожил старик, а все же гурт бычков с ночи забрел на луг. Пантелей Дмитриевич утром как глянул — чуть не заплакал. Не помня себя, ухватил лопату... Летел туда — запалился. Ладно, что бычки пугливые: хвост трубой и — скакать. А то бы зашиб.

Пережито было немало.

Радовало лишь то, что Харитоша на лугу больше не мельтешил и председатель не наезжал.

Пантелей Дмитриевич мало-помалу успокоился, о потраве стал забывать. Новые мыслишки зародились у старика, стали донимать его теперь.

Давным-давно на Цыдыповом лугу стояла конюшня. В войну коней повывели — каких в армию приписали, каких сдали на мясозаготовки. Конюшню за ненадобностью разобрали и куда-то свезли, а может, растащили на дрова. И остались одни столбы да стропила. С годами прижились тут конский щавель, татарник да лебеда.

Задумал Пантелей Дмитриевич стропила разобрать, столбы по-вытаскивать, дрянь всю с лебедой спалить к чертям собачьим, а на-воз разгрести трактором, разбросать по лугу да пустить по унавожен-ной земле ласковую шелковую траву хилгану.

Но, видать, не подошло еще такое время, чтобы во всем ему удача выходила. Из-за проклятых столбов пришлось бросить и отару, и Цы-дыпов луг. Харитоша удружил... Запомнил, как Пантелей сделал ему от ворот-поворот. Прознал, что Фалины столбы вынимают и — бац заявление в контору: колхозную собственность, мол, тащат, поимейте в виду...

Поначалу-то Пантелей Дмитриевич посмеялся над дотошным Ха-ритошей да и забыл про то думать. Ан напрасно!

В то время как раз был сильно не в духе Савелий Яковлевич Григорьев. Его в райкоме выругали за то, что в Устав сельхозартели не заглядывает. Откуда взяли? У кого-то были нарушения, а его — за здорово живешь отругали, авансом, так сказать. Позвал он к себе Пантелея, спросил, как, мол, с конюшней. Пантелей Дмитриевич ответил.

Председатель покачал головой:

— А она у меня на балансе.

— Чео? — переспросил старик.

— Конюшня-то на балансе. Она денег стоит. И немалых. Сколь-ко-то тыщ. Я на кого ее спешу?

Пантелей Дмитриевич полез пятерней в бороду, смутно трево-жась, но все еще не очень-то понимая, чего от него хочет предсе-датель.

— Столбы и стропила ты свез оттуда? — Григорьев вздохнул. — А может, и крышу свез ты же, и стены?..

— Это как же?! — задохнулся от гнева старик. Слова на ум ни-какие не шли. Обвинение казалось таким нелепым, что хоть возьми да и рассмейся в самое лицо этому Григорьеву.

— Может, ты и не брал крышу, — поправился председатель. — Зато стропила и столбы — за тобой. Конюшни же теперь там нет. А она у меня на балансе. Понимаешь, старик? На ба-лан-се! Чтобы спи-сать ее, нужны документы. А где их взять? Бухгалтер знает свое: «Конюшня за колхозом числится, кто-то за нее должен платить». Я работник тут новый. Что правление скажет, так и выйдет.

На правлении Харитоша нажимал: «Кто-то же обязан возместить колхозу за снос конюшни». Все соглашались, что — да, кто-то обязан. Но кто? Как ни крути, а мимо Пантелея Дмитриевича не пройдешь.

Вот тебе и ласковая шелковистая трава хилгана! Думал любовать-ся твоими, хилгана, переливами, смотреть на твое шелковистое колы-хание, на божьих коровок. Думал подышать твоим, хилгана, пьян-дурманом. А тут — на тебе! Уволок будто бы крышу, стены, столбы.. Конюшню будто бы умыкнул. Никак не шло такое в голову. Харитоша же не отступался, нажимал и все. Пантелею Дмитриевичу представля-лось все это как бы не на самом деле. Вот-вот встанет председатель и скажет: «Ну ладно, пошутили и довольно. Неча старика пугать». Но председатель чего-то не вставал, вроде как вволю хотел потешиться над стариком.

Пантелей Дмитриевич пождал-пождал да и взорвался:

— Чо тут растабарывать? Кака-така конюшня? Ты, Харитоша, травяной мешок! Так твою... растак! В кулак шептал все годы и на-шептал... Сном-духом не знаю я никакой конюшни и неча меня по-нужать.

А Харитоша тут как тут:

— Дом-то небось отгрохал себе пятистенный, с четырехскатной крышей?

Пантелей Дмитриевич с хрипотцой выдавил:

— Со всякими доводилось в друзьях-товарищах ходить... Но не встречал еще таких... Господи прости!

Насилу отвызался Пантелей Дмитриевич от Харитоши и от председателя. После того уж не до ласковой хилганы было, не до шелковистой... Черт с ней!

Чуть в суд не подали. Чуть те тыщи с него не требовали. А дома старуха поет неотступно: «Бросай все и уходи! Неча тебе там... Изгаляются над тобой. Проживем без них. Заведут тебя куда еще... Омманут и только».

Крепился Пантелей. Как это — бросай все и уходи?! Не один десяток лет жизни туда вбухал — и не одна потная его рубашка тамотко, и мозоли кровавые, и ломота в костях...

Легко сказать — уйди. Его, Фалина, тут немало кое-чего насобирается. И на войну отсюда уходил и сюда же пришел. Куда еще? Какой, возьми, тракторишка где протарахтит, либо комбайн — это все то же... Колесико какое-то, винтик какой-то, железка там в этих машинах — твои, от твоего горба, от своих трудов ломучих. А уйдешь — с собой ничего не прихватишь, в карман либо в мешок не сунешь.

Да разве одно это!

Вот та же колхозная контора, та же ее крыша, что снова из-под тумана вылезла. Крыльцо-то тамотко зкое просторное... С перильцами. Он, Фалин, делал. А в сени шагнешь — по одну сторону зальце для собраний, по другую — дверь в прихожую, для ожидания. Тут вот кабинетик для газет, для книг. Снопы по стенам. А прямо — хоромина для председателя. Бывалоча, ладонью погладишь тамотко какую ни на есть плаху либо пошаришь в пазу, и вспомнится — как лес рубил, как на пилораме тянулся, как все было...

Овцы опять же, будь они неладны! Сколько с ними ночей не доспано, нервишек поистрепано. А ведь и их, хуригашек, не забудешь — белых комочков, махоньких, орущих. Запросто так от сердца не оторвешь. Да и Чыдыпов луг привольный... Уйдешь — и никогда не вырастет тамотко шелковая трава хилгана, никогда!

И Буду-ахая, можа, не встретишь боле. На Оборе делать неча. Заделья нет туда ехать. А Буда-ахай заболел чео-то. И барана уж тебе никто в премию не впишет. И на собрании ничего такого не скажут, отчего бы сердчишко дрогнуло в радостях. Не-ет, не скажут. По-другому скажут. Обесчестят, обругают. А потом и вовсе из головы вон. Нету и все. Нету Фалина. Жил где-то, был где-то, а ноне нету.

Легко сказать — уйди. А как?

Пантелей Дмитриевич в те дни раздражался по самым пустякам. Где бы и промолчать можно — не молчал. Где бы стерпеть надо — не терпел. Где бы и понять можно трудности колхозные — душа отказывалась понимать. Озлобился, замкнулся, ходил бирюк бирюком.

Вскоре подоспело для Фалиных такое уж невезенье, что хуже и не придумаешь. Откромсали у них кусок приусадебного участка. Чем жили все эти годы, чем держались — того не стало. Да ладно бы еще просто откромсали, а то...

На околице деревни стояла на речке Ункурка плотина. Построили ее когда-то Фалины. Эта плотина копила и держала прибывающую с гор воду.

Ее так и звали — Пантелеева плотина.

А тут постановление правления колхоза — Пантелееву плотину разобрать, она-де мешает обводнять колхозные луга.

Весть эту принесла Фрося. Бежала, не передохнув, от самой Уннурики до ворот отцовского дома.

— Ой, батя, что будет, что будет! — зачастила она, держась рукой за изгородь и пошатываясь. — Плотину-то нашу снесли... Ряжевые

столбы вынули. Щиты по досточкам разобрали. Вода-то как хлынет, ва-а-а хлынет!

— Чего мелешь? — опешил Пантелей Дмитриевич. — Как это так — снесли?.. Кто?

— От правления приехали на машине. «Велено,— говорят,— нам порушить тут все. Так и передай отцу». Я, не помню как, домой... Запавалась.

Пантелей Дмитриевич пошарил потемневшим взором по двору. Ничего на глаза не попало... Махнул со двора, как был, без шапки.

Еще издали увидел выпирающий из-за угла проулка кузов автомашины. Горячей волной обожгло все внутри. «Не могли близко-то подъехать, не могли... Так не побрезгали по грязи... Не побрезгали! Эх как их приперло! Не жить, не быть — ломай. Круши, сничтожай!»

От берега, чавкая сапогами в застойных лужицах, несли бревно Василий Бусарин и его дружок-товарищ, известный в Ункуре охотник Кеха Истомино.

Поднялись оба на сухое место, не глядя на старика, дошли до машины. Бревно закинули в кузов.

— Тако дело, дядя Пантелей,— сказал Бусарин хмуро, по-прежнему не оборачиваясь на Фалина. — Сам понимаешь, велели нам, вот мы... Тако дело.

Пантелея Дмитриевича била мелкая дрожь. Под сердцем что-то оборвалось, обмякло. Слабость в ногах. Присесть бы куда?

— Ты не сдумай, что те столбы мы себе берем,— произнес Истомино. — Василий тебе их завезет. Что твое — нам не надо.

— А если я по шее за это самое? — спросил Пантелей Дмитриевич.

Бусарин вроде как повеселел. Все же для души легче ругаться, шуметь, нежели молчать и зрить чужую беду — неотвратную и безответную.

— У каждой шеи, дядя Пантелей, свой хозяин значится. — ответил Василий.

— Поглядим, какой такой хозяин!

Истомино вытащил кисет, оторвал бумажку.

— Давай-ка подымим, Пантелей Дмитриевич,— предложил он. — Чего на нас сердать? Нам как сказали — так мы и поступаем.

Ну, что было делать Фалину? Не раскуривать же с ними? Кричать, ругаться... Кулаками замахиваться... А зачем? Сил уже никаких не было. Чтобы не выказать тем — Василию и Кехе — своей слабости, Пантелей Дмитриевич повернулся и пошарил, не вытирая слез, не видя — куда. «Только бы ноги не подогнулись, не упасть бы». Чувствовал он себя в ту пору маленьким-маленьким, затерянным и никому ненужным в окружающем его большом мире. Такое было с ним однажды, как он помнил, в мальчишестве. Приснилось, что он — сирота, что мамку и отца свезли на погост. Но тогда эта слабость длилась самую малость, смекнул, что приснилось... А тут без сна. Все наяву.

Серафима Лукинична, оставшись без поливников, никого и слушать не хотела. Покою старику не давала. Домашняя кукушка кого хочешь перекукует. А тут за Пантелея Дмитриевича не одна жена взялась. Старшие сыновья враз заговорили: «Давай, батя, качай оттедова! С нашим ремеслом мы и не так заживем». Особенно напирал Гаврила. Ему чихать и на отару, и на Цыдыпов луг. Ему отцовская утраченная плотина по самому главному нерву резанула. Будто он ее самолично строил.

Да и понять Гаврилу опять же можно. Какой ты ни на есть, а жрать да пить каждый день просишь. А из каких-таких достатков мать Серафима тебя накормит? Сена своего не накусишь — так ни молока, ни сала не припасешь. Луку и того не пожрешь. А, бывалоча, лук-то мешками возили в город. И себе, и людям хватало. Иные ун-

курские лук да чеснок самолетами увозили на Сахалин, а то и на Чукотку. Ноне уж не до Чукотки, себе бы на стол...

Ты не первый, Пантелей Дмитриевич, уходишь из колхоза. Те, что до тебя поуходили, ничего... не жалобятся на судьбу. Кто по району на стройках робит, кто в город подался. Кто — так-сяк проживает, кормится возле тайги, возле речки. Кормится да еще посмеивается над тобой, Пантелей Дмитриевич.

Накуковала домашняя кукушка, а с нею и кукушата... Да и сам не так уж, чтоб противился, не так уж, чтоб стойко держался. Жрать-то каждый день за стол садишься, просишь...

Вот так-то и отошел совсем после того от колхоза Пантелей Дмитриевич. Жил с той поры как-то двойственно. То ожесточался на все колхозное, радовался, посмеивался, если что у них плохо выходило, а о хорошем, об удачах слушал в пол-уха, не верил. То вдруг тоска захватывала его и он день-другой ходил сам не свой. Руки ни к чему не лежали. В такое время чувствовал он себя бесконечно несчастным.

Что-то похожее было с ним и сейчас, в эту рассветную пору. Он сидел на крыльце с давно потухшей сигаркой и видения минувших лет проходили у него в памяти.

А только о чем бы он не думал, все возвращался к Ваське Бусарину. Тоненький голосок его нет-нет да и проталкивался через плетень из тумана: «Хотя бы лю-ди!» Вот ведь, черт, напасть какая! А ведь не из-за кота же накинудся Гаврила на Ваську-то. Не-ет. Из-за ряжа. За то, что плотинку нашу порушил. Васька-то. Припомнилось-таки Гавриле. Да и кому хочешь припомнится.

По краю неба разливалась светлая заря. В кустах пискнула спросонья птиха. Туман все гуще валил по улице, по крышам.

Пантелей Дмитриевич пошел досыпать.

Путру Фалины выехали на совхозной машине.

Пашка, кутаясь в дождевик, сидел с братьями в кузове, молчал. Вчерашняя стычка с Басуриным будто поломала в нем что-то, он никак не мог понять, что же случилось. Драка? В Ункуре бывали драки. Что ж тут такого? Да и обошлось-то все пустяковыми ссдинами. Смущало, что Гаврила кинулся в драку трезвым. Пьяным был — тогда бы ясно. И какая нужда ему припала кидаться на Бусарина из-за кота?

Гаврила, словно бы угадал его мысли, спросил лениво, как бы между прочим:

— А ты, Павлуха, вчера сплоховал или как?

— Как думаешь?

— Мне думать неохота.

— Это и видно.

— Или Васькину сторону держишь?

— Не пойму... Скажи, Гавря, за что бил человека?

— За многое. Хочешь, тебя причащу? Мне это без тяжких трудов.

Пашка пошевелил плечами. Степан, до того не то равнодушно слушавший их, не то дремавший, рывком оттянул Пашкину руку на себя и сел между ними.

— Но-но,— предупредил он. — Побалуйте тут, стукну башка о башку.

Гаврила сердился недолго. Вытаскивая кисет, покосился на Пашку, расхохотался:

— Горячий уголек, плюнь — зашипит. Ты бы на Ваську так-то. Не-ет, ты глянь-ка на эту морду. Степка! Точь-в-точь интеллигенция, не иначе. Губы надул, вроде обжегся.

Лицо Гаврилы, ширококостное, с крупными чертами, было бы по

своему красивым, но портили глаза. Они были слишком малы и оттого казались, что Гаврила постоянно спросонья.

Странно было видеть, что глаза у братьев вроде бы и схожие, а вместе с тем очень разнились: приглядеться — совсем разные. У Степана и Пашки они не казались сонливыми. Если у Степана, обычно спокойного и рассудочного, и в глазах преобладала невозмутимость, то у Пашки во всем — и в глазах тоже — было что-то от матери, от нежности, от настороженного и чуткого любопытства.

Пашка вспомнил, как дразнил Гаврю в детстве, и не выдержал:

— Порося несчастный.

Но Гаврила и не подумал обижаться. Продолжая улыбаться, он сказал Степану:

— А его там, в городе-то, засупонили. Он нынче не прет с кулаками на всякого встречного-поперечного. Вот на брата он может. За брата-то слышать, и на сутки не сажают.

Машина на повороте сбавила скорость. Показались перила моста, блеснули сизые пятна реки сквозь негустую и еще неяркую зелень. Шофер затормозил.

Совсем близко глухо и неумолчно шумела тайга. Что-то в этом шуме Пашку пугало и вместе с тем притягивало.

Шофер собрался с ведерком за водой — долить в радиатор.

Пашка посмотрел вокруг, не вытерпел:

— Давай принесу.

Спускаясь по грейдеру, он остановился. Ниже его ног, за кюветом, камни уходили круто вниз. Бездонная пустота тревожила. У самой головы терлись и шуршали на ветру лохматые ветки сосен.

Он хотел было уйти, но случайно брошенный взгляд на дерево, росшее у самой дороги, заставил его остаться.

Это была молодая сосна, и она ничем не отличалась от всех остальных, что стояли тут же, но это ее сходство оказалось обманчивым. Беда настигла сосну и отворотить эту беду нечем и некому. Дерево стояло окольцованным — кора срезана широким и глубоким поясом вокруг ствола. Смолистая слеза проступала наружу, спеша закрыть зияющую рану. Хвоя топорщилась на длинных, не обросших еще, как следует, ветках. Торопливо пробежал паук, разматывая за собой паутину... Все было, как всегда, и вместе с тем на этом дереве ничто уже не имело права на будущее.

Пашка смотрел, не в силах уйти, спрашивая себя: «Что же тут такого? Всего-навсего сосна... должна засохнуть. Ну и что? Мало ли здесь сосен? Одной больше, одной меньше...».

И лес ему вдруг показался не столь уж веселым и золотистым, и чувство разочарования и обиды медленно, но неотступно захватывало его.

Глава третья

У Григорьева, председателя ункурского колхоза «Звезда», вечер выдался свободный. После ужина собрался полежать, вздремнуть, но увидел томик «Войны и мира». Захотелось почитать. Раскрыл книгу наугад, всмотрелся и, чувствуя в себе какую-то торжественность и приподнятость, прочел вслух:

«Кутузов слушал доклад дежурного генерала... так же, как он слушал семь лет тому назад прения Аустерлицкого военного совета. Он очевидно слушал только от того, что у него были уши, которые

не могли не слышать; но очевидно было, что ничто из того, что мог сказать ему дежурный генерал, не могло не только удивить или заинтересовать его, но что он знал вперед все, что ему скажут и слушал все это только потому, что надо прослушать, как надо прослушать поющий молебен. Все, что говорил Денисов, было дельно и умно. То, что говорил дежурный генерал, было еще дельнее и умнее, но очевидно было, что Кутузов... знал что-то другое, что должно было решить дело...».

Григорьев прервал чтение. Он представил грузного седого фельд-маршала с полузакрытым глазом, сидящим в глубоком кресле, немного дремлющим, немного слушающим... Лицо Григорьева, сначала серьезное и задумчивое, постепенно преобразилось удивленной улыбкой. Чувство, вызванное почтительным преклонением перед событиями прошлого, разумеется, не могло существовать само по себе, без всякой связи с тем миром, в котором жил сам Григорьев. И это чувство уважения и преклонения, возникшее у Григорьева после чтения, постепенно и совсем для него неожиданно перешло на другого человека, на человека, который не был известной исторической личностью. Он, этот человек, работал в одном аймаке с Григорьевым. Это был председатель аймисполкома Дамдин Ешиевич Дондубон.

Такая, казалось бы, случайная и непонятная преемственность чувств Григорьева объяснялась скорее всего чисто зрительным восприятием. Дондубон был тучен и высок ростом. Первое впечатление он производил невыгодное: обвислые щеки, припухшие глаза под густыми бровями, рассеянный и всегда усталый взгляд, медленные движения. Но если зачем-то человеку снова и снова доводилось сталкиваться с председателем аймисполкома, то он неизбежно менял свое первое впечатление. Григорьева удивляло, что Дондубон как бы проходил между окружающими, обязательно деля их: одни его ценили и уважали, другие — не терпели, не понимали и боялись его.

Было странным видеть Дондубона на частых совещаниях в Мухор-Тале. В президиуме он выделялся своей крупностью, сразу обращая на себя внимание. Григорьев часто наблюдал грузно склоненную голову и полузакрытые глаза председателя аймисполкома. Он следил иногда десять и двадцать минут — Дондубон не менял позы. Потом кто-нибудь или что-нибудь выводило его из оцепенения, он поднимал набрякшие веки, недовольно и хмуро смотрел перед собой, словно спрашивая: «Что здесь такое происходит и зачем, собственно, я тут?»

Но пришло время, когда Григорьев счел, что такое поведение председателя аймисполкома на совещаниях не только и даже не столько от усталости и нездоровья, сколько от своеобразного протеста против ничемности того или иного совещания, с созывом которого Дондубон был не согласен. А первый секретарь райкома Грибов всегда делал то, что считал нужным, он и поступал только по своему разумению, мало и редко с кем советуясь.

Григорьев видел, что в райкоме привыкли, не задумываясь, просто распоряжаться временем работников. Об этом кое-когда говорилось на бюро, пленумах, конференциях. Грибов не возражал, соглашался. Но никто не помнил случая, чтобы Грибову взялся кто-то доказать: мол, вот этого совещания проводить не нужно было, оно просто лишнее и ничего полезного не принесет. Да и вряд ли сам Грибов, если на то пошло, бывал так уж уверен в необходимости этого совещания. Но когда набиралось их что-то многовато и это бросалось в глаза всем, Грибов, несколько не смущаясь, самым невинным образом выражал свое возмущение и обрушивался на тот или иной отдел райкома. Как бы то ни было, в Мухор-Талу продолжали вызывать

руководителей колхозов и совхозов, число совещаний не становилось реже.

Удивительным было и то, что Грибов, если с кем и считался, считался в какой-то степени, так это с Дондубоном. Об этом Григорьев знал.

Окончательно уверовал Григорьев в Дондубона после того, как в прошлом году осенью тот приехал в Ункур вместе с первым секретарем райкома.

Грибов тогда поинтересовался:

— Свинарник построили?

Свинарник нужно было строить на Оборе — в первой бригаде. Бригадир Харитон Кошкин загодя заверил Григорьева, что к зиме будет готово, а тут выяснилось, что и фундамент еще не заложил, лес израсходован на иные нужды. Григорьев за голову схватился.

— Выходит, прошлепали? — гневно прищурился Грибов.

— Этого Кошкина придется на правлении снова обсуждать, новато развел руками Григорьев.

— Поехали на Обор, посмотрим, — предложил Дондубон.

Всю дорогу Грибов выговаривал Григорьеву за то, что тот не поверил, строят или нет на Оборе свинарник.

Дондубон помалкивал. Иногда задавал Григорьеву вопросы не о свином, а о другом — по голосу не понять: то ли осуждал за свинарник, то ли у него свое что-то на уме.

Из-за березовой рощицы выглянули бревенчатые срубы, пошел лай собак.

— Дедушка Буда жив? — спросил Дондубон председателя колхоза.

— Он еще ничего, на ногу легкий.

— Заедем к нему в гости, Константин Макарыч? — предложил Дондубон Грибову.

Грибов промолчал, ожидая, что Дондубон как-то пояснит, зачем ему понадобилось заезжать к кому-то в гости.

— Стоит ли? — заколебался Григорьев, видя, что Грибов молчит с ответом.

— Стоит. Может, тут мы и о свинарнике все обговорим.

Буда Доржиев, маленький сухонький старичок, с лицом, прежде помеченным морщинками, вышел на крыльцо, стараясь угадать, кто приехал. Опознав Дондубона, заторопился по ступенькам, стараясь вытереть непрошенных слез — старицкой слабости, стал суетливо подавать гостям негнущуюся от старого ранения руку.

Григорьев знал, что Дамдин Ешиевич спас от суда одного из самых новых старика — Жамсо.

...Этот Жамсо, поругавшись как-то с женой-завмагом, забрал ключи от магазина, добыл там водки, нашел деньги в ящике под прилавком, напился, кричал и дебоширил. Ключи и деньги он бросил в снег. Пошел слух: Жамсо, мол, ключи-то не просто потерял, но и поговоренности с женой, чтобы растрату скрыть, а теперь, мол, они оба будут говорить, что ночью эти ключи кто-то подобрал и понаряжал в магазине.

Ревизия насчитала недостачу не столь уж заметную, чтобы обеспокоиться, но в прокуратуре не поверили: что-то, мол, не то. Следствие ничего нового не дало. Жамсо говорил, что брал деньги, а следовало — не помнил и куда дел — не помнил.

Старик, узнав, что сыну грозит суд, поехал к Дондубону. Дамдин Ешиевич, выслушав Буду-ахая, сразу понял, что никакой растраты тут не было.

Дамдин Ешиевич хорошо знал Жамсо. Как не знать... Его старший сын вместе с Жамсо призывался в сорок четвертом. Обоим тогда было по семнадцать. Жамсо вернулся домой с медалью — бравый Будапешт.

А вот сына Дамдина Ешиевича убили в Берлине. Еще бы на него дней ему солдатского счастья... Но всем счастья не должно хватить. И в самом что ни на есть последнем из последних боев, а до конца войны оставались не часы, а минуты, все равно погибали.

Дондубон позвонил, куда надо, и сказал все, что он думает о деле сына Дамдина. Судить Жамсо не стали. Жену его из завмагов перешли в продавцы. Ну да это ничего...

И сын Дондубон настоял, чтобы Жамсо гнал табуны в Хуртэйские горы. Зачем? Григорьев не сразу понял это. И стал Жамсо на долгую зиму уходить в Хуртэй, а весной возвращаться в степь. Такой уж вид человека был Дондубон, что нисколько не возразил ему Жамсо на предложение ухода к черту на кулички от семьи, навстречу ветрам и морозам. С той поры и пить перестал Жамсо и всем говорил при этом, что такого даргу он еще не встречал и, может быть, жизнь не даст ему другого этакого же встретить.

Буда-ахай проводил приехавших в комнату, велел жене подать

выпили по чашке, чтобы согреться с дороги.

Как сыны живут, Буда-ахай? — спросил Дондубон.

Слава богу, Дамдин Ешиевич, — Буда любовно поглядывал на сына, — не знал, куда деть руки, проводил ими то по волосам, то по лицу и без того чистой. Лицо его сияло.

Удивительным, необычайным показался Дондубон Григорьеву в том старике. Дремоты и сонливости у него как не бывало. Сидел молчаливый, разговаривал, поглядывая на всех с веселой хитринкой. И тогда его молодое и, пожалуй, задорно посматривали на Буду, словесно похваливая: «Вот ты какой славный старик!»

Просьба у нас есть, — вдруг сказал Дондубон.

Просьба? Ну что же. Всегда рад, если что могу, — ответил хозяин.

И ведь вас помню давненько. Заезжали ко мне... Еще до войны.

У вас тогда с овцами что-то...

Во-во! — обрадовался старик, что гость удержал в памяти бог знает какой давности события. — Говорили, что было отравление овец старым газом. Да-а, мало ли что было.

Помогли бы нам, а?

Это в чем?

На Оборе у вас свинарник строят...

Про это у нас в каждой пади говорят. Третье лето строят.

Ну, а если вам Буда-ахай, с сынами это строительство взять на себя?

А лес?

Будет, — поспешил заверить Григорьев.

Земли бы с лесом не было, — попросил хозяин. — А свинарник достроим. Был я там, смотрел. На месяц и работы.

Григорьев чувствовал себя неловко перед Дондубоном и Грибовым. Совершенно постановлений принято, а свинарника и поныне нет. Приехали вот Дондубон с Грибовым, будто пошутили, посмеялись над ним, председателем, ткнули носом: смотри, мол, учись, как надо строить. Только... Ни секретарь райкома, ни председатель аймисполкома на обратном пути ничего не сказали Григорьеву, вроде как забыли в том свинарнике, который взялся достроить Буда-ахай.

Но мог тогда Григорьев знать, что Грибову не очень-то по душе оказался весь тот разговор Дондубона со стариком. Получалось как-то странно, очень уж просто, а Грибов не верил, что в жизни может быть такая простота в решении дел. Сам он ее никогда не встречал, и хотя и в душе был на стороне Григорьева, который оставался ему

ближе и понятнее по своим поступкам, нежели Дондубон. Эти скрытые чувства Грибова, видимо, уловил Дондубон и снова всю дорогу дремал, так ни о чем и не спросив председателя колхоза до самого Ункура.

А свинарник Буда-ахай, как и обещал, достроил. Вот до чего просто иной раз в жизни бывает!

Савелий Яковлевич, занятый своими мыслями, как-то позабыл о «Войне и мире», о желании перечитать сцены Бородинского сражения. Так он лежал на кушетке, пока гудки машины под окном не отвлекли его.

«Кто бы это мог быть?» — подумал он без всякого впрочем интереса, потому что настолько привык к приезду в Ункур всевозможных людей, которым было какое-то дело до него, председателя колхоза, что никто уже, видимо, не мог бы вывести Григорьева из его послеобеденного состояния — этакое мягкого спокойствия, которое он очень ценил, когда не скажешь точно, дремлет ли или все эти видения проплывают наяву.

Отряхнув с себя сонную расслабленность, он вышел на улицу и у самых ворот столкнулся с Грибовым. Они поздоровались. Григорьев, не зная, то ли приглашать секретаря к себе, то ли ждать, чего тот сам скажет, заговорил о том, что погода нынче была очень уж холодная, пасмурная и, поскольку даже падал снег, то он, Григорьев, велел, чтобы сев кукурузы в Шаралзе отложили хотя бы на день. На это Грибов ничего не ответил определенного, а только пробурчал вроде того, что «м-да, бывает», и Савелию Яковлевичу ничего не оставалось сделать, как пригласить его в дом.

Для Григорьева было немного странно и вместе с тем приятно, что Грибов согласился зайти, не искал никаких причин для отказа, а ведь он, как все об этом знали в аймаке, редко заходил к кому-либо на квартиру.

— Ну что же, — сказал Грибов. — Посмотрю, как вы устроились.

Григорьев жил в Ункуре пятый год и смотреть, как он устроился, казалось ему, было поздновато, но хозяин не подал никакого вида и, будто не слышав, что сказал Грибов, снова заговорил о кукурузе и о том, что в Шаралзе падал снег и было студено.

В комнате Григорьева не имелось ничего лишнего и вместе с тем каждая отдельно взятая вещь представлялась Грибову ненужной, случайно сюда занесенной. Нельзя сказать, чтобы здесь был беспорядок, но и нельзя так же было разглядеть ни аккуратности, ни чистоты. Грибов отметил про себя, что клеенчатая скатерть на столе протерта, на этажерке прижилась пыль. На подушках свежие наволочки, но сами подушки лежали как-то неуклюже, а одеяло, застланное без покрывала, придавало всему сугубо холостяцкий вид.

Грибов усмехнулся, просто так, для себя, стараясь, чтобы не видел хозяин. Он почувствовал вдруг неловкость от того, что столь неожиданно оказался наблюдателем чужой, неведомой ему, жизни.

— Может, чай подогреть? — спросил Григорьев.

— Да, да, пожалуй.

Савелий Яковлевич пошел просить Прасковью, хозяйку дома, чтобы она побеспокоилась о чае. Скоро он вернулся и присел к столу, не зная, о чем говорить. Собственно, сказать нужно было о многом, но то, что приходило в голову, Григорьев решительно отвергал, считая, что у себя дома говорить об этом с Грибовым попросту неудобно, поскольку секретарь райкома здесь был гостем, а он, председатель колхоза, хозяином и все это накладывало свой отпечаток.

Грибов завел разговор о делах в колхозе. Григорьев неторопливо

обдумывая каждую мысль, отвечал. Он ни о чем не просил и уклонялся от всего того, что могло бы породить какую-либо интимность или откровенность и все время чувствовал необычность этого разговора и больше всего опасался, что Грибов подумает о том, что он, Григорьев, хочет использовать в свою пользу его приход сюда.

Хозяйка принесла чай, и, может быть, это послужило для Грибова удобной причиной сменить разговор.

— Есть у вас в селе... Как их? Э-э... Фалины? Да, да, Фалины,— неожиданно для Григорьева спросил он.

— Фалины? Есть, как же.

— Ну и что они... представляют из себя?

— Да как сказать... Старик у них чудной. Себе на уме, не глупый. Но злой и своенравный. Никого не слушает, никому ни в чем не уступит. А последнее время вовсе закусил удила. Ну, сами знаете... Приусадебные участки нынче укоротили у многих. Так он озлился.

— Частнособственническая психология сказывается.

— Может, и так. Теперь мы его числим в шабашниках.

— Вот как! Любопытно. Так, так,— Грибов постучал пальцами по столу, оживляясь в лице. — И много у вас подобных?

— Да есть, такого добра хватает.

— И чем же эти Фалины занимаются? Что это за семья? — продолжал расспрашивать Грибов.

Григорьев ответил, что в Ункуре остались старуха с невесткой, а старик с сыновьями подались в совхоз, не иначе как подрядились что-либо строить. На это Грибов ничего не сказал, словно ждал еще чего-то от хозяина, но тот помалкивал, отхлебывая чай, недоумевая, зачем понадобились Фалины секретарю райкома.

— А что можно сказать о сыновьях этого старика?

— Ну, что сказать... Он от колхоза вроде как отвалился и они за ним. А жалко. Четыре пары мужских рук, как-никак.

— Ну, тут подсчитывать руки ни к чему. Или колхоз или приусадебные участки. Или-или. Середины тут нет. То, что старик кинулся в шабашники, ничего в том удивительного нет. Потянуло прошлое. Оно, это прошлое, живуче. А вот сыновья его... В наше время росли. А почему за ним пошли?

— Так почему... Семья-то одна.

— Дело не в семье.

— Один-то у меня ездил шофером. Неприятность случилась с ним в городе. Пятнадцать суток отсидел.

— За что?

— Подрался.

— Неудивительно.

Григорьев промолчал, потому что как раз так не думал, но и не захотел возражать Грибову, поскольку ничего не мог сказать в оправдание Пашки Фалина.

— Он младший в семье? — спросил Грибов. — Ну, тот, который замешан в драке?

— Сестра у них младшая. В Мухор-Тале учится, живет там у тетки.

— Что о ней известно?

— Да так, ничего. Ученица... вот и все. Ничего не слышал такого...

— Чего — «такого»?

Григорьев пожал плечами и улыбнулся, как бы поясняя: «Сам не ведаю, чего ты от меня пытаешь, потому так и говорю».

— Ну-ну,— сказал Грибов. — Спасибо за чай.

Уже в дверях он задержал вышедшего проводить его Григорьева и пояснил, почему спрашивал о Фалиных.

— Видите ли, таких... таких, как Фалины, мы обязаны знать досконально. Чтобы не было никаких неожиданностей.

— Что-нибудь случилось? — спросил Савелий Яковлевич.

— Пока ничего. Но вы понимаете...

— Да, да.

— Ну вот и хорошо.

После того, как секретарь райкома уехал, Савелий Яковлевич все время думал о том, какая же, собственно, причина привела Грибова и нему на квартиру. Тот разговор, который они вели о колхозе, не мог быть причиной потому, что сам гость поддерживал его без всякого интереса и без той дотошности, какая была ему всегда присуща. Не-ет, можно определенно заключить, что приезд Грибова и колхозные дела в Ункуре никак между собою не связаны. Ну, а остальное — все то, что касалось семьи Фалиных. Но и тут ничего не было сказано такого, что проливало бы свет...

Вот и получается, что ничего не поймешь. Да и стоило ли обо всем этом думать? Мало ли что бывает на свете. А скорее всего... Ничего могло не быть, одни пустяки, всякая случайность, а Григорьев зачем-то думал об этом, держал все в голове, словно без всего этого ему и жить теперь никак нельзя. И чем дольше думал Григорьев о том, зачем приезжал секретарь райкома, тем почему-то меньше задерживалась его память на семье Фалиных. Он все больше и больше думал о самом себе. Грибовское замечание о том, «чтобы не было никаких неожиданностей», настораживало Савелия Яковлевича. Ведь он-то знал, что иногда следовало за этим...

Когда это было? Да уж лет десять прошло, а все помнится, словно вчерашнее. Секретарем райкома тогда работал, как и Грибов вот теперь... Вызвали на бюро обкома партии. Велели отчитываться за хлебосдачу — район числился на последнем месте. Мешали далеко не дожди, а то, что первыми поспели массивы, засеянные сортовыми семенами и, само собой, в колхозах попридерживали вывозку зерна. Он, Григорьев, у себя в районе особенно не понуждал колхозы, хотя, бывало, и покрикивал на колхозных активистов и — знамо дело — на председателей, но в душе был с ними согласен и потому хлеб вывозился ни шатко, ни валко.

На бюро обкома сначала все проходило, как и ожидал Савелий Яковлевич. Он обещал «в самое ближайшее время поднять район» и уже приготовился услышать «строгое предупреждение», как отмечалось в проекте решения, но тут неожиданно товарищ из органов, член бюро, спросил его:

— У вас в «Заготзерне» Жабон работает?

— Да, кажется, он... на приемке зерна, — в растерянности ответил Григорьев. Ему стало жарко и он сразу подумал, что о «строгом предупреждении» теперь надо забыть.

— А где устроился Аюрзанайн? — спросили его.

— В школе.

— Судите сами, Василий Александрович, — сказал товарищ из органов, обращаясь к первому секретарю. — Все эти лица исключены из партии. У самого Григорьева дядя осужден за воровство, а вот папаша этого дяди в тридцать первом году раскулачен и расстрелян за агитацию против власти.

— Что вы скажете? — спросил Григорьева первый секретарь.

— Что касается родственников, насколько мне самому известно, все так и было. Но я никогда не видел в глаза ни этого дяди, ни тем более его отца. Ну, а то, что Жабон и Аюрзанайн... райкому известно, что они подозреваются в национализме...

— Почему подозреваются? — услышал он реплику. — Давно доказано.

— Я не об этом, — сказал Григорьев. — Надо же людям где-то работать. У Жабона семья, дети...

— А ты жалостливый, Григорьев, — прервал его первый секретарь, вдруг сразу переходя на «ты». — Жабона, перерожденца, пожалел, а вот когда хлеб не вывозят... всякие там... — Он передохнул, закурил папиросу и добавил: — Ты знаешь, что партия в борьбе за хлеб теряла своих лучших сынов?

Да, он, Григорьев, это знал.

В тридцатом году в одном из сел Мухоршибири видел своими глазами коммунистов, растерзанных кулаками-повстанцами. В распоротые животы убитых была насыпана пшеница... Он, Григорьев, был тогда в особом отряде по борьбе с повстанцами. С самой зимы и до Петрова дня ловили главаря тамошнего — Ваньку-царя. Как не знать ему, Григорьеву, про то, какие люди погибали за хлеб.

Но что он мог сказать членам бюро, когда любое его слово не принималось всерьез. Было такое состояние, будто все вокруг тебя закрутилось, завертелось, потеряв всякие реальные, привычные очертания.

Григорьева исключили из партии и сняли с работы «за срыв хлебозаготовок и засорение государственного аппарата кадрами, не внушающими доверия».

На апелляцию он не получил ответа, и тогда друзья посоветовали ему уехать куда-нибудь подальше. Он так и сделал. Жил в Средней Азии, работал на промыслах. Жена с ним уезжать не захотела, жила в Улан-Удэ, где за ней осталась квартира. С ней же находился сын. Тогда он еще учился в школе.

Так и вышло у Григорьева, что числилась за ним семья, а вроде бы ее и не было. Из немногих писем друзей, которые дошли до неблизкой от Байкала Средней Азии, Савелий Яковлевич узнал, что жена его «гуляла в открытую». Тяжелым камнем ворочалась у него на сердце обида на жену.

На большие перемены в своей судьбе он уже не надеялся, но после пятидесят третьего года Григорьева потянуло в родные края. В обкоме партии того первого секретаря уже не было. Дело Григорьева подняли из архива — а в те времена много подобных дел поднимали — посмотрели, почитали, проверили суть обвинения и восстановили в партии.

С женой у него отношения сложились довольно странные. Раньше он бы пожал плечами и посмеялся, если бы ему предсказали такое будущее. Когда ехал домой, копил, боясь расплескать, злость на Клавю, вспоминал нарочно случаи из своей семейной жизни, в которых жена проявила себя в невыгодном для нее свете. Но, видать, того дорожного заряда хватило только до того, как услышал ее голос. Были, разумеется, и слезы, и упреки, и выяснения, и объяснения — все было. Только... давнишние письма от приятелей как-то поблекли и отодвинулись, а слова жены, ее оправдания неожиданно приобрели силу. Сердцем, всем нутром чувствовал Григорьев, что не след ему оставаться в одной квартире с Клавдией, а все же остался. Куда пойдешь?

Прошло что-то около полугода, и Савелий Яковлевич стал стелить себе на диване. Он понял, что ничего из прежнего не осталось, что в нем никакого мужа нет. Сначала, чтобы заполучить хоть какой-нибудь предлог, он пришел выпившим. Напросился на скандал. Но когда истекли все обычные сроки для примирения, и Клавдия, понапрасну прождав извинения мужа, сама пришла к нему, дремавшему на диване, и заговорила с ним, он не пожелал что-либо менять в отношениях с ней.

Так они еще прожили какое-то время в одной квартире, будучи

для посторонних мужем и женой. Она сделала несколько попыток примириться, надеялась, что он все же махнет рукой на прошлое и жизнь у них, может быть, как-нибудь наладится.

Некоре он уехал в колхоз.

Буряты говорят: «Нет дерева, на которое не садилась бы птица, нет зла, которое не было бы наказано».

Григорьев, живя в Ункуре, слышал эту пословицу и вспоминал о своих годах в Средней Азии, о жене. Да, зло, причинившее его жизни столько бед, было наказано. Но оно не было единственным. Он никогда не смешивал то зло, из-за которого он вынужден был уехать в Среднюю Азию, и то зло, которое причинила ему жена, хотя одно из них повлекло за собой другое. А тогда, в те годы отъезда, он смешивал оба зла, считая одно логичным, закономерным продолжением другого. Если он, Григорьев, перестал быть нужен партии, то почему спрашивается, он нужен там, в семье?

Зло жены нынче не столь уже трогало его. Да, она приспособлялась как умела. За это за все он и не хотел ее прощать. Прощать не хотел, но много об этом и не думал и не переживал, поскольку зло жены было теперь для него все же частным случаем, отдельной неудачей в его жизни.

А вот то зло, из-за которого ему надо было ехать в Среднюю Азию, он не мог считать лишь своим частным случаем, потому что не он один много и безвинно пережил и пострадал. И от одной мысли, что даже такое зло наказуемо, что во всех случаях правда сильнее всего на свете, на душе становилось теплее и легче.

И в жизни, и в той, случайно слышанной им, бурятской пословице, было много такого, что скрещивалось и сходилось, становясь общим, неразрывным...

Бывая в городе, Савелий Яковлевич останавливался у Клавдии. Как-то так у них получилось, что разрыв между ними хотя и произошел, но обычного в таких случаях озлобления друг на друга у них не было и, встречаясь, они разговаривали о всяких делах, не касаясь основного.

Клавдия все еще надеялась на то, что муж вернется к ней, поэтому она не шла ни на какие осложнения, когда он приезжал, держалась с ним спокойно и ровно.

Председательская должность, как и ожидал Григорьев, оказалась тяжелой. Те трудности, которые он наблюдал в колхозах еще секретарем райкома, сохранились и поныне, только теперь они как бы были ощутимы на ощупь, теперь они вставали перед ним во весь свой рост и не было от них никакой передышки и никакого укрытия.

Нельзя сказать, что колхоз за эти годы не сдвинулся с места.

Как же! Сдвинулся. А по молоку так порядочно — надои выросли чуть ли не в два раза. Только эти самые «разы»-то не ахти какие. Григорьев нет-нет да и вспоминал сказку про белого бычка. Она у него выглядела примерно так:

— Почему плохи дела в колхозе?

— Сеяли с опозданием, убирали долго, кормов опять же нехватка, с механизацией плохо.

— Так что же надо делать?

— Надо сеять без опоздания, быстро убирать, надо механизировать... надо... надо...

— А почему ничего этого нет?

— Потому что средств не хватает, на счету в банке не густо.

— А почему не густо?

— Сеяли с опозданием, убирали...

Разве он, Григорьев, не знал, что сеять по зяби лучше, чем по весновспашке? И все же весной пахали почти половину посевного

лина, потому что осенью до самых заморозков поля заняты или хлебом или соломой. Разве он, Григорьев, не знал, что сеять надо сортовыми семенами? Или, может быть, он не представлял, что полям нужны удобрения? Или он никогда не слышал, что молоко у коровы на языке?

Это и еще многое знал Григорьев.

Он не считал себя одиноким и ему вовсе не казалось положение безвыходным. Он загорался энергией, ездил по бригадам и фермам, проводил беседы, собрания, во все вникал, возил с собой доярку Марию Андронову, чтобы та показывала на гуртах свои приемы раздола. Да разве можно перечислить хоть половину того, что он делал! А ощутимых результатов было мало.

Вот хотя бы эти самые... квадраты на севе кукурузы. С этим севом происходили просто какие-то чудеса. Механизаторов учили квадратно-гнездовому севу, и на семинарах в Мухор-Тале они выдавали безукоризненные квадраты. Но как только выезжали в Шаралзу, все летело прахом — квадратов не было. Григорьев сам вместе с агрономом таскал мерную проволоку. Все делалось правильно, как надо. Но появлялись всходы и все видели, что квадратов опять нет. В райкоме собирались «проработать» Григорьева за игнорирование передовых способов сева. Хоть меняй землю! Но в Шаралзе земля была что надо. Чернозем, южные скаты холмов, защищенные от снегового дыхания не так уж далеких гольцов. Сюда тянулась оросительная канава. Да и ферма рядом — навоз возить без особых трудов.

Григорьев исходил вдоль и поперек всю Шаралзу, ворошил землю сапогами, брал ее в руки, растирал между пальцев, вдыхал терпкий запах перегноя и чувствовал, что готов вот-вот матерно ругаться от всего непонятного, что тут происходило.

За ним хмурый, как тень, ходил бригадир трактористов Шираб Мункуев. Был этот Шираб известен тем, что ни с кем никогда не мог сработаться из-за своей невыдержанности. Была у него странность: любил возражать кому угодно и по любому поводу. Если ему говорили: «И куда это председатель глядел? Опять семена с овсюгом», то Шираб кричал: «А что тебе председатель?! Он за всех один, что ли, будет отдуваться». Но как только ему говорили: «Этому кладовщику за такие семена голову бы снять...» — и тогда вполне можно было ожидать, что Шираб оборвет его: «А что тебе кладовщик?! Нашел тоже мне стрелочника! С председателя надо спросить! Много их, начальников, вокруг да около...»

И, конечно, не быть бы ему бригадиром, но многое Ширабу прощалось за то, что понимал толк в технике.

Григорьев сдерживался и старался не смотреть на Шираба, зная, что шумом и криком тут не поможешь. Раздосадованный неудачами, он все же сказал бригадиру, что надо поменять механизаторов на «Беларусях».

На удивление ему, Шираб промолчал. Видно, тоже сильно переживал.

Григорьев и Шираб шли пашней, укорачивая путь к тракту. И вдруг — надо же было тому случиться! — нога Григорьева провалилась глубже обычного. Странно. Григорьева сразу обожгла мысль...

— Кто пахал в Шаралзе? — спросил он Шираба.

— Кажется... сын Буды. Жалвага.

— Все эти годы он пахал? — с какой-то неосознанной еще им самим надеждой спросил Григорьев.

— Да, он.

— Это точно? Ты не запямятовал?

— Да он же, Савелий Яковлевич!

— Тогда понятно. Этому Жалваге всыпать по первое число! По

его милости... сеялка скачет по полю. Какие же тут квадраты?!

Поблудил Шираб, побежал разыскивать Жалвагу Будаева.

Предположения подтвердились. Жалвага гнал трактор побыстрее, не считалось, что поле неровное, что толщина залегания тяжелых пластов разная. То, что у него плуг менял глубину, от этого Жалваге было ни тепло, ни холодно, а то, что из-за его пахоты не выходили квадраты, он про это не знал, а может быть, прикидывался простачком.

Разоблачение Жалваги далось Григорьеву нелегко, потому что в самой близости от краев поле вспахивалось на нужную глубину, и все проверки ничего не давали, а проверять по всему участку никому в голову не приходило, тем более, что отклонения в ходе сеялки были мало заметными.

Но что из того, что Жалвагу разоблачили? Посеяли кукурузу в ту весну квадратами, а убрать мало что пришлось.

Григорьев вздохнул. Пора было ложиться спать.

Глава четвертая

В Мухор-Тале Фалины подрядились строить овчарню. Старую постройку надо было разобрать, что годное от нее — увезти к речке и там поставить новую овчарню.

Старик сам ходил в контору и сказал сыновьям, что приехали они в Мухор-Талу в самый раз. Опоздай на сутки, остались бы на шишах. Тут еще до них какая-то наезжая бригада шастала, да условия ей, видать, не сходны.

— Выше леса стоячего метили,— проговорил Пантелей Дмитриевич, довольный тем, что подряд достался-таки ему.

— Не продешевил, батя? — спросил Степан.

— Не-е, чео там! Али я без царя в голове? Собирайтесь-ка. Тянуть тут неча.

Во дворе заезжего дома к Фалиным подошел широкоплечий дядя в резиновых сапогах и синей спецовке.

— Беретесь, значит?

Старик молчал, уводил вкось маленькие глаза, густо опущенные бровями.

— Ну-ну. Только зря вы это самое. Платят плохо. Машину не допросишься... А на той заимке, где строить, души живой нету. Гнилое место. Мошка робить не даст.

Дядя в спецовке торопливо затягивался папиросой, загораживая ворота перед Пантелеем Дмитриевичем. Тот крутил шеей, поглядывая на сыновей, отвечал односложно:

— Будя! Будя!

Пашка трясся в беззвучном смехе, утирал выступившие слезы. Незнакомец не добился от старика ничего вразумительного, последний раз пробурчал «ну-ну» и отстал.

— Скис, как тесто на опаре,— пробурчал Степан. — Что за птица?

— Кто знае? По обличию видать — не здешний. Народ ноне пошел... Так и шныряют, так и шныряют!

— Надолго мы тут застрянем?

— Это как пойдет. Ладно хоть документ с собой прихватил.

— А чео?

— Да один прицепился. Давай, грит, паспорт — и ни в какую. А то, грит, продуктов назабираете, либо аванец... Потом, грит, ищи ветра в поле. Дурак, от дурак! — качал головой Пантелей Дмитриевич. — С какого такого блазна брошу я, стал быть, все и наутек? Одно слово — дурак!

— Да-а,— протянул Пашка. — Не больно-то, я вижу, нам рады тут.

Старик засверлил буравчатыми глазами:

— А ты чео ждал? В оркестру тебе затрубят? Это тебе не Григорьева возить. «Пжалте, Савелий Яковлич!»

— Причем тут Григорьев?

— А вот все при том. Не он, дак мы тут бы, может, и не отирались.

— Он нас сюда не слал.

— Много ты понимаешь!

— Жить-то где нам?

— Отсель съедем. Неча тут. Номер нам по восемь гривен в сутки идет. На займке посмотрим, что и как. Расположимся — крыша над головой была бы.

За неделю старую овчарню Фалины разобрали. Столбы выдирали из земли ломом. Натужно, но ничего, управились.

Пашка пригнал совхозный лесовоз с прицепом. Пантелей Дмитриевич выгрузил мешок с хлебом, ящики, ведра, инструмент всякий.

— Эт-то зачем? — Старик указал на пачку старых газет.

— Читать. В конторе дали. Никому не нужные. Я и лампу керосиновую раздобыл.

Подошел Гаврила:

— Ага. Громкие чтения?

И усмехнулся лениво, нехотя:

— Еще чео привез?

— Чего бы хотел? — в тон ему спросил Пашка.

— Я-то? В столовке, поди, пиво качал? Выпил бы я кружки три: на себя, за Степанкину жену и за цыгана.

— Ну, замолот! — перебил его Пантелей Дмитриевич. — Истино нустобрех! Не слушал бы.

За Гаврилу Пантелей Дмитриевич раньше много беспокоился. Как бы худого не вышло... Учиться не захотел после четырех зим. Уйдет, будто в школу, пирогов мать ему в сумку натолкает, а он где-либо за сараями проторчит, пироги поест и айда домой. Пристрастился к тайге, не оторвешь. И сам Пантелей Дмитриевич, когда помоложе был, хаживал в тайгу, но не так уж, как Гаврила. Тот собирался на охоту загодя и пропадал подолгу, бывало, до бурятского цагалгана. Добытые шкурки отдавал отцу, а которые, может, сам продавал.

Про него в Ункуре говорили, что скоро равному Гавриле охотника не окажется. И смел, и ловок, и стрелок отменный. Это радовало старика. А беспокоило то, что очень уж вольно вел себя в тайге Гаврила. Не признавал на охоте никаких запретов. Бил — когда хотел и чего хотел.

Гаврила был доволен, что батя поругался вдребезги с Григорьевым. О колхозе он мало вспоминал. Да и что ему?

Ему не приходилось рвать ту пуповину, которой связан был когда-то с колхозом Пантелей Дмитриевич.

Старик вздохнул, глядя на Гаврилу. Пошел к машине. «Теперь — жить или не хошь, а мне самый раз доказать Григорьеву, что и без него проживем», — думал он.

Пока овчарню перевозили, стояло ведро — солнце жгло так, что от железной коры жар истекал. Успели для овчарни кое-что собрать... А тут и свихнулась погода. С утра от гор отвалила туча, охватывал

вдох через рот с сомкнутыми зубами... выдох через рот, собрать губы в трубочку. Упражнение второе: вдох через левый угол рта... выдох через правый угол рта.

— Ну, как? — спросил он Фалина. — Смешно, да? Живи на земле и думай, как бы не забыть вдохнуть через правый угол рта.

— А что это за вдохи? — Павел улыбнулся.

— Борьба с морщинками на лице. Такая инструкция есть для женщин.

— Ничего особенного, — передернула плечами Неля. — Ты бы к нам привыкал подслушивать.

— Я? Ну вот еще! Нужно очень-то. Случайно услышал. Ну, было, было! Смешно, да? А морщины у тебя... вон, вон и вон.

Павел посмотрел на девушку. После болтовни Славки скованность отпустила его, он почувствовал себя увереннее и спокойнее. У Нели — он увидел — коротко подстриженные волосы с темно-рыжим отливом. «Подкрашены, наверное». В узких зеленоватых глазах пряталась снисходительность и любопытство. Павел смутно чувствовал, что все это в ней, и та легкость, которую она выказывала при разговоре с ним, при взгляде на него, настораживала его, чем-то будто обижала и вместе с тем притягивала.

Все было, как не настоящее: и то, что Неля позвала его в Мухомор-Талу, и то, что Stanisław обещал найти коня... и еще про какой-то учебник для Фроськи говорил.

В Мухомор-Тале Stanisław сходил в контору совхоза вместе с Павлом. Лошадь они получили без труда.

— Вот захочу и поеду с вами, — сказала Неля. — Возьмете? — Она насмешливо поглядывала на Фалина, уверенная в том, что тот будет рад.

А он и был рад. Странно. На каких-то пять минут отлучился в контору, потерял из виду эту девушку — и будто помрачнело все, что окружало его: и Stanisław уже не казался таким светлым и добрым, как там, на ферме, и люди за столами неприязненно глядели на него, словно говорили: «Тебя еще тут не хватало! С какой-то лошадью». А увидел Нелю и снова все стало нравиться ему: и люди, которые сидели в конторе, и Stanisław стал прежним, и всякая ерунда, что попадала на глаза, казалась приятной или забавной необходимостью. И он уже начал понимать, что если девушка уйдет, у него пропадет настроение и не то, что на болото ехать за дурацким мхом, а вообще черт-те что тогда делать...

Они возвращались из леса к вечеру.

— Ба-а! — вдруг спохватился Stanisław, поворачиваясь к Павлу. — А учебник-то мы забыли!

— Да ладно, успеется.

— Нет, нет. Как же так? Надо бы ей вернуть. Знаешь, что? Я поведу бегу. Тут недалеко. А?

— Да зачем? Ну, какая нужда?

Павел не понимал, отчего так беспокоился парень из-за учебника. А Неля молчала, она вроде бы и не слушала, о чем они говорили, и ей было все равно — побежит Славка в Мухомор-Талу или останется, послушается Павла.

— Нет, все-таки я принесу учебник!

Павел пожал плечами: «Как хочешь». Девушка по-прежнему не обращала внимания на Stanisława.

— Я вас еще догоню. Вот увидите.

Так они остались вдвоем в лесу.

Лошадь, помахивая мордой, неторопно тянула короб, наполненный

Поскрипывали колеса, не попадая на затравевшую, неезженную давно колею.

— Вы что, учиться бросили? — спросила Неля.

— Да-а, пока вроде...

— И занимаетесь вот этим? — она кивнула на короб.

— Не-ет. Это случайно. А обыкновенно-то я... шофер.

— В город не тянет?

— Не думал как-то...

Павел усмехнулся, шевельнулась мысль: «Сказать ей о капэзэ? Сказу. Узнает от кого стороной — хуже».

— Говорят, в городе с квартирами туго. А мне жить было где, — выдохнул он.

— Так что же?

— Жительство мое было без прописки. Называется — камера предварительного заключения. Драка получилась... по глупости. Запнулся за одного... Ну и вот...

— Ого! — произнесла с подчеркнутым удивлением Неля. — У вас бурная жизнь.

— Да уж какая есть.

— Ну, ничего. Забудется, пройдет. У парней принято — драться. Принято, ага?

— Не знаю, — ответил Павел и покраснел.

— Вы замечали, Павел, какой тут неординаковый лес?

И опять она ставила его в смущение. Назвала по имени... А момент был какой-то вроде бы не подходящий. Только что «капэзэ», «драка» и вот — на тебе — «Павел!» И причем здесь «неординаковый лес»?

— Лес? — повторил он, чтобы собраться с мыслями. — Да-а... Тайга это. А она всегда такая. В тайге, хотите знать, всякая сопка, ель или, всякий калтус или чаща свое лицо имеет, свой вид, как дома или улицы. Вот где мох брали... Полумрак там, сыро. Пихтач, комарье. Да вам нужно ли про все это?

— Ничего, ничего, — ответила она. — Продолжайте.

— А отошел от болота, глядь, земля суше, солнца побольше. И дереву просторнее. Звук от листьев тут уже звонче, шелковистее.

— Шелковистее?

— Ну да. И шмель гудит. Иной раз долго стоишь и смотришь. Будто бы ничего нет, а все равно смотришь. Как вино пьешь.

— Почему вино?

— Хмелеешь. А то вот, бывало, поредет тайга и выйдешь на гари. Стволы, сучья обугленные. Земля пополам с золой. И знаете, похолодеет... Как у человека рана затягивается... По той гари — иван-чай, вроде молодой кожицы. Ему ни пепел, ни зола — так и захлестывает по всему палу, только лиловыми цветками кивает: «Ничего, мол, все образуется, как надо». И образуется. Другой весной набредешь — смотришь, — подрост уже тянется: сосна, береза там... И трава зазеленела. А поверху — иван-чай.

Неля задумчиво грызла травинку, с возрастающим удивлением глядя на Павла.

— Вы бываете в Мухор-Тале? — сказала она. — На заимке ведь скучно. А? Вечерами у нас можно...

— Так... неудобно.

— Станислава навестить неудобно?

— Мы мало знакомы.

Она повела в сторону глазами, поправила волосы и улыбнулась. Павлу показалось, что она хотела убедиться, нет ли кого неподалеку.

На развилке дорог стоял Станислав и махал им рукой.

На заимку Павел вернулся к вечеру. Молча подал Степану чек с земляникой.

— Тебя, паря, разве за смертью посылать. Ждали-ждали,— паря ворчал Степан, не беря ягод.

— А я что? Лошадь мне дали в Мухор-Тале. И то спасибо — зомы помогли.

— Ну ладно, не шевели скулами-то. Батя на тебя злобился.

— А-а!

— Но-но! Дай-ка сюда. — Высыпал себе на шершавую ладошку мокрую усладистую землянику. Пошел распрягать лошадь.

— Батя где?

— В баню подался. Недалечко отседа... совхозные топят. И Гавриля с ним. Может, и ты?

— Не-е.

Степан подумал, жуя ягоду:

— Да тебе оно и ни к чему.

— Чего так?

— С утра снаряжайся домой. За харчами. Батя велел.

— А совхозные харчи?

— Ишь ведь какой ты. Совхозные, слышать, с наценкой. А на эта наценка ни к чему. У нас ни скатертей тут, ни официантов.

Пашка присвистнул: «Ехать в Ункур!» Это ему улыбалось. В Мухор-Талу заглянуть... Там хоть, может, эту самую повидать выпадет. Нелю Мягких. Звала же.

— Обед тебе на костре, — крикнул Степан. — Надо, так дров покин.

Про обед он не услышал. Вроде как в тот миг Неля подошла близко-близко и горячими влажными ладонями стиснула ему голову.

Засыпая на охапке сена под навесом, Пашка лениво, без интереса подумал: «И учебник завтра Фроське отдам. Пристал этот... чудак. Батя гал еще черт-те куда. Вот нуждишка ему припала! Сын Грибова сегомого... С Фроськой учебниками обменивается. Чудак!» И, может быть, заснул Пашка, но голоса помешали возле кошары. Одно слово дошло: «Грибов...» Будто отец сказал. Но все время чей-то чужой басок бубнил — не разберешь, что.

И Пашка уже стал думать о сыне Грибова без лени, с каким-то неосознанным интересом: «Чего это он за меня старался? Лошадь мне просил в конторе. На болото поперся». Где-то краем сознания до него дошло, что «поперся» не один Станислав, да, да, не один, но что подлаешь? О Неле думать сейчас не хотелось и он отбросил всякую мысль о ней, словно она на болоте и не была, а он и Станислав были...

Утром он узнал от отца, что заезжал на заимку директор совхоза. Сказал: вызвал, мол, его Грибов в райком, корил за то, что берет со стороны «дикие» бригады, обещал привлечь к ответственности.

— Ну и как теперь? — спросил Пашка. — Расчет да и домой?

— У нас бумага запасена... договор, — пояснил отец. — Мы исполняем свое, он — директор — свое. Нас запросто так за шею не возьмешь. А тот Грибов...

— Возьмет и турнет, — вставил Гаврила. — С милицией турнет.

Пантелей Дмитриевич сузил глаза, бойко, как молодой, ответил:

— Не посмеет! Закон есть храм души. Коли закон загрязнишь, то и душе будет плохо. Мать бы наша сказала: не угодишь в царство небесное.

— У Грибова пока не из какого угла не дует. У него заместо небесного царствия припасено земное, — не по-хорошему улыбнулся Гаврила. — Ему твои небеса, батя, что мне цилиндру напаялить на улице представиться. Один смех да и только.

— Какую еще цилиндру? — опешил старик. — А закон на что?

На заимку Павел вернулся к вечеру. Молча подал Степану чашку с земляничкой.

— Тебя, паря, разве за смертью посылать. Ждали-ждали,— и ворчал Степан, не беря ягод.

— А я что? Лошадь мне дали в Мухор-Тале. И то спасибо — злые комые помогли.

— Ну ладно, не шевели скулами-то. Батя на тебя злобился.

— А-а!

— Но-но! Дай-ка сюда. — Высыпал себе на шершавую ладонь мокрую усладистую землянику. Пошел распрягать лошадь.

— Батя где?

— В баню подался. Недалечко отседа... совхозные топят. И Ты с ним. Может, и ты?

— Не-е.

Степан подумал, жуя ягоду:

— Да тебе оно и ни к чему.

— Чего так?

— С утра снаряжайся домой. За харчами. Батя велел.

— А совхозные харчи?

— Ишь ведь какой ты. Совхозные, слышать, с наценкой. А на эта наценка ни к чему. У нас ни скатертей тут, ни официантов.

Пашка присвистнул: «Ехать в Ункур!» Это ему улыбалось. В Мухор-Талу заглянуть... Там хоть, может, эту самую повидать выпадет Нелю Мягких. Звала же.

— Обед тебе на костре, — крикнул Степан. — Надо, так дров положи.

Про обед он не услышал. Вроде как в тот миг Неля подошла близко-близко и горячими влажными ладонями стиснула ему голову.

Засыпая на охапке сена под навесом, Пашка лениво, без интереса подумал: «И учебник завтра Фроське отдам. Пристал этот... чудак. Бегал еще черт-те куда. Вот нуждишка ему припала! Сын Грибова с моего... С Фроськой учебниками обменивается. Чудак!» И, может быть, заснул Пашка, но голоса помешали возле кошары. Одно слово дошло: «Грибов...» Будто отец сказал. Но все время чей-то чужой басок бушевал — не разберешь, что.

И Пашка уже стал думать о сыне Грибова без лени, с каким-то неосознанным интересом: «Чего это он за меня старался? Лошадь напросил в конторе. На болото поперся». Где-то краем сознания до него дошло, что «поперся» не один Станислав, да, да, не один, но что подумалось? О Неле думать сейчас не хотелось и он отбросил всякую мысль о ней, словно она на болоте и не была, а он и Станислав были...

Утром он узнал от отца, что заезжал на заимку директор совхоза, сказал: вызвал, мол, его Грибов в райком, корил за то, что берет со стороны «дикие» бригады, обещал привлечь к ответственности.

— Ну и как теперь? — спросил Пашка. — Расчет да и домой?

— У нас бумага запасена... договор, — пояснил отец. — Мы исполняем свое, он — директор — свое. Нас запросто так за шею не возьмешь. А тот Грибов...

— Возьмет и турнет, — вставил Гаврила. — С милицией турнет.

Пантелей Дмитриевич сузил глаза, бойко, как молодой, ответил:

— Не посмеет! Закон есть храм души. Коли закон загрязнишь, то и душе будет плохо. Мать бы наша сказала: не угодишь в царство небесное.

— У Грибова пока не из какого угла не дует. У него заместо небесного царствия припасено земное, — не по-хорошему улыбнулся Гаврила. — Ему твои небеса, батя, что мне цилиндру напялить на улице представиться. Один смех да и только.

— Какую еще цилиндру? — опешил старик. — А закон на...

Двуспишия



За то, что зла не совершил, ты не проси наград,
коль ты добра не совершил на этом свете, брат.

Если в правде своей убежден, ты не бойся хул,
если в ней сомневаешься, то страшись похвалы.

Ты в поезде, ты машешь рукой мне из окна.
Видна во всей Вселенной рука твоя одна.

Лишь в бурю грохочет престор скеана,
а горная речка шумит постоянно.

Есть способ врага заслужить уважение:
для этого выиграть нужно сражение.

Лесть, даже тонкая, не уваженье,
а лень не хворь, но бойся зараженья.

Подумал глупец, что стоял на вершине хребта:
«Почтительно солнце обходит меня неспроста».

Был голоден бычок, и оттого
жевал он хвост собрата своего.

Пусть цветет, пусть зреет и пусть славится литература братской Калмыкии!

Необразимое пространство—заоблачные горы и могучие реки пролегли между Байкалом и степями Калмыкии. Но для дружбы между народами нашей страны нет расстояний. Чабан бурятских степей, байкальский рыбак, улан-удэнский столяр и горняк Закамны радостно приветствуют своих братьев из Советской Калмыкии, поздравляя их с громадной важности событием — неделей калмыцкой литературы в столице нашей Родины Москве.

Мы хорошо помним дружеские объятия с писателями Калмыкии в Улан-Удэ и на берегу Байкала в дни работы выездного заседания Секретариата Правления Союза Писателей РСФСР. Это было пять лет назад, но до мельчайших подробностей свежи в памяти те светлые, красивые дни большого форума писателей России в Бурятии. Улан-Удэнцы не забыли великолепное выступление Давида Кугультинова с трибуны этого форума, не забыли удивительное искусство поэта Константина Эрендженова, выступившего перед огромной аудиторией с мастерством профессионального артиста.

Русая Бумба

О, Бумба, златоглавая страна,
миражная и радужная небыль!
Калмыков под ее большое небо
звала домбры горячая струна.
И шли джунгары. Шли через века.
Шли через битвы и дожди косые.
И вот взошла она издалека
лучистая и назвалась Россией.
Березовая, русая сестра—
она калмычку обняла за плечи.
От кладовых своих дала ключи.
И струны перестроили джангарчи,
и струны между пальцев тихо плещут,
и славит Бумбу русую домбра!



Калмыцкие артисты из ансамбля «Тюльпан» под бурные аплодисменты многочисленных зрителей совершали торжественный круг почета. Над головами так же светило ясное забайкальское солнце, на лицах цвели улыбки, на помосте выступали артисты почти всех национальностей нашей великой Родины. Это был праздник сорокалетия Советской Бурятии, вылившийся в праздник дружбы народов нашей великой социалистической Родины.

Амар сайн, дорогие калмыцкие друзья!

Отмечая большой праздник калмыцкого народа — Неделю калмыцкой литературы в Москве — мы с радостью рекомендуем нашим читателям стихи поэтов Советской Калмыкии. Как жаль, что нет возможности расширить круг представленных поэтов! Но читатель, конечно, прекрасно знает, что щедрая на таланты великая земля взрастила десятки первоклассных поэтов, достойно воспевающих приход наяву сказочно счастливой страны Бумбэ.

Намра



Намра, Намра,
девчонка Намра!
Косы льются на ветерке.
Твое личико, как из мрамора,
солнце плещется на щеке.
От хозяйской твоей походки,
от осанки, расцветшей вдруг,
зачарованно

одногодки
забывают своих подруг.
Что там парни—
(хоть наши парни
вдруг лишились покоя все!)
Но завидуют и тюльпаны
твоей свежести и красе!
Улыбнешься своей улыбкой,
засмеясь, приоткроешь рот—
смех живой золотою рыбкой
на губах у тебя плывет!
Открывая собой рассветы,
хороша, как рассвет, сама,
ты приносишь в дома газеты—
гул планеты несешь в дома.
Мир тревожен и беспокоем,
мир воюет и строит мир..
Пишет весточку маме воин,
книгу выписал бригадир,
шлет девчонка письмо подруге:
«Он обидеть меня посмел...»
Так

касаются
твои руки
сотни судеб людских и дел!
Намра, Намра!
Рассвет ли, вечер,
но частенько—
то там, то тут—
люди,

так, как и я,
навстречу—
улыбнуться тебе идут.
Каждый раз, когда я, робея,
жду в рассвете и в вечера,
ты мне кажешься и мудрее
и красивее,
чем вчера!

Счастье

Ты мне признак счастья назови.
Что это? Красивая одежда?
Или молчаливая надежда
жаркой, но застенчивой любви?

Или пышный сад с душистым цветом?
Или прелесть юного лица?
Или жемчуг яркого ларца?
Нет, не в этом счастье, нет, не в этом!

В чем же счастье? Счастлив только тот,
чью работу люди не забыли,
кто отраду, прелесть, изобилье
для тебя сегодня создает.

Перевод С. ЛИПКИНА.



Бем ДЖИМБИНОВ

Встреча в Праге



В старинной Праге, где в тени каштанов,
играли дети около скамьи,
с друзьями повстречался я неожиданно,—
как вам живется, милые мои?

Они в Москве учились,—белозубый
светловолосый, худощавый чех,
и дочь красивой смуглолицей Кубы,
чей звонок был простосердечный смех.

В России стали мужем и женою,
и девочка в России родилась,—
теперь она знакомится со мною:
Катюшей при этом назвалась.

Ей нравится, в ее четыре года,
резвиться, бегать, петь и щебетать
на чистом языке того народа,
что подружил ее отца и мать.

Поедет скоро к бабушке-кубинке...
— Поймет ли бабушка твои слова?

И Катя отвечает без запинки:
— Поймет. Я говорю, как вся Москва.

Да, Катя, ты права. Язык России
поймут везде — вблизи и вдалеке.
И Ленин, так же, как и ты, впервые
заговорил на этом языке.

И я, калмык, иду навстречу людям,
язык отца и матери храня,
но русский никогда мы не забудем,
он — счастье для тебя и для меня.

Прага—Москва

Перевод С. ЛИПКИНА.

Вл. ПАЛЬЧИКОВ

* *
*



Крутые скулы скифского кургана
роса слезою чувства не кропит,
там, где веревкой серого аркана
в траве змея свернулась и не спит.

Услышав гул мамаевского стана,
дозорный конь под всадником храпит
и бьет тревогу в беге ураганном
колоколами кованых копыт.

Теперь о тех событиях с трудом
старик-коваль, раскачивая кости,
припоминает. Ржавчины короста
разъела столб железный, что крестом,

чтоб зачеркнуть седеющий простор,
забит в могилу прошлого — в бугор.

Тимофей БЕМБЕЕВ

У памятника Пушкина

О, сколько бронзы осени отпущено,
чтоб обессмертить всю листву Москвы!
Но что в сравнении с бессмертьем Пушкина
сезонное бессмертие листвы!



Еще не всю ее деревья сбросили.
В такую пору лишь стихи пиши,
ведь у поэта не бывает осени —
я говорю об осени души...

Вот он стоит. Черты родного облика
не в бронзе, нет — который год подряд
зари пленительного счастья отблески
высокий лоб и руки золотят.

Приходят люди, как из странствий к берегу, —
к нему. Кладут к подножию цветы.
И долго смотрят, взглядываясь бережно,
в такие всем знакомые черты.

А он задумался... Ужель за далями
ему видна судьба степи моей?
Мне больно, что не знает он, кем стали мы,
калмыки, мы — друзья родных степей.

Он был у нас, когда мы горе мыкали.
Ушли в курганы горькие века...
И — «Пушкину — писатели Калмыкии»
горит на ленте нашего венка!

Перевод Д. ДОЛИНСКОГО.



Второе нашествие марсиан

ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ

Записки здравомыслящего

*О, этот проклятый
конформистский мир!*

Рис. Г. Болдогова.

1 ИЮНЯ (ТРИ ЧАСА ПОПОЛУНОЧИ). Господи, теперь еще Артемида. Оказывается, она все-таки спуталась с этим Никостратом. Дочь, называется... Ну ладно.

Около часу ночи я был разбужен сильным, хотя и отдаленным грохотом, и поражен зловещей игрой красных пятен на стенах спальни. Грохот был рокочущий и перекатывающийся, подобный тому, какой бывает при землетрясениях, так что весь дом колебался, звенели стекла и пузырьки подпрыгивали на ночном столике. Испугавшись, я бросился к окну. Небо на севере полыхало: казалось, будто там, за далеким горизонтом, земля разверзлась и выбрасывает к самым звездам фонтаны разноцветного огня. А эти двое, ничего не видя и

Братья Стругацкие не нуждаются в представлении — их имена достаточно известны любителям фантастики в нашей стране, да и за рубежом. Начав с космических приключений, Стругацкие в последние годы эволюционируют к фантастике социальной — в «Попытке к бегству», «Трудно быть богом» и более определенно в «Хищных вещах века».

Предлагаемая читателям Байкала повесть «Второе нашествие марсиан» создана с помощью традиционных элементов социально-фантастического жанра. Это — гротеск, гипербола, сатира. В самом названии подчеркнута преемственная связь этой повести с родственной литературой прошлого, а

в данном случае — с романами Уэллса. По поводу этого названия братья как-то пошутили: говорили, что первое нашествие марсиан случилось в прошлом веке и было, как известно, описано в «Войне миров» Герберта Уэллса.

Повесть Стругацких имеет жесткую ориентированность — ее острее направлено против буржуазных обывателей, готовых принять и приветствовать любую диктатуру, любую самую противоестественную гонимоственность при условии сохранения внешней благопристойности и уважения к жгучей расе их добродетельности. Сегодня они принимают напалм, ведь это где-то там, далеко, и эмалевая полировка их хо-

не слыша, озаряемые адскими сполохами и сотрясаемые подземными толчками, обнимались на скамейке под самым моим окном и целовались врасплох. Я сразу узнал Артемиду и решил было, что это вернулся Фен и она так ему обрадовалась, что вот целуется с ним, как невзначай вместо того, чтобы вести его прямо в спальню. А через секунду в доме зарева я узнал знаменитую заграничную куртку господина Кострата, и сердце у меня упало. Вот в такие минуты человек теряет здоровье. И ведь нельзя сказать, что это был для меня гром с неба. Слухи были, намеки, всякие шуточки, да и я помню, сам шел на плечах и на шее Артемиды темные пятна величиной с пятнышко. Разве я не знал, кто у нас в городе оставляет на женщинах такие пятна? Насмотрится нынешних фильмов и оставляет. И все же был совсем убит.

Держась за сердце и совершенно не понимая, что нужно предпринять, я, как был босиком, потащился в гостиную и стал звонить в полицию. Однако попробуйте дозвониться в полицию, когда вам требуется. Телефон полиции долго был занят, и вдобавок дежурным оказался Пандерей. Я его спрашиваю, что за феномен наблюдается за горизонтом. Он не понимает, что такое феномен. Я его спрашиваю: «Вы можете мне сказать, что происходит за северным горизонтом?» Он отвечает, где это, и я уже не знаю, как ему объяснить, но тут до него доходит. «А-а, говорит он,— вы это насчет пожара?» и сообщает, что некоторое горение действительно наблюдается, но что это за горение и чего — пока не установлено. Дом трясется, все скрипит, на улице истошно кричат что-то про войну, а этот старый осел начинает рассказывать мне, что к нему в участок тут привели Минотавра: пьян мертвецки, осквернил угол особняка господина Лаомедонта, на ногах не стоит и даже драться не может. «Вы меры принимать будете или нет?» — прерываю я его. «Я вам об этом и толкую, господин Аполлон,— обижается осел.— Мне нужно протокол составлять, а вы у меня весь телефон оборвали. Если вас всех так уж волнует этот пожар...» «А если это война?» — спрашиваю я. «Нет, это не война,— заявляет он.— Я бы знал». «А если это извержение?» — спрашиваю я. Он не понимает, что такое извержение, я больше не могу и вешаю трубку. Я весь вспотев от этого разговора, вернулся в спальню и надел халат и туфли.

Грохот словно бы утих, но сполохи продолжались, а эти двое больше не целовались и даже не сидели обнявшись. Они стояли, держась за руки, причем всякий мог их увидеть, потому что от огня за горизонтом было светло, как днем, только свет был не белый, а красно-оранжевый, и по нему ползли облака дыма, коричневого, с оттенком жидкого кофе. Соседи бегали по улице, кто в чем, госпожа

фильников, слава богу, от этого не страдает, и завтра обыватели примут концлагери, посылку, господа, там, говорят, все упорядочено, чинно и ведется строгая учетность. Таков он, «этот проклятый конформистский мир», который во имя сохранения собственных шилл и особнячков продал Чехословакию Гитлеру и попытался остановить брошированные чудовища третьего рейха диалектическими реверансами при подписании Мюнхенского договора.

Несказательность братьев Стругацких во втором нашествии марсиан не столь уж гуманна. Их марсиане — это вчерашние фашисты, сегодняшние берчисты и куклуксклановцы, это — голдуотеры и им подобные.

В силу особенности литературного приема, взятого ими, марсиане показаны в повести вскользь, мельком, а больше уделено внимания восприятию мещанами новой диктатуры. И здесь авторам удается создать атмосферу подлости «равнодушных», о которых с нечистотой писал еще Бруно Ясенский. Несомненно, Стругацкие владеют оружием сатиры и приемами гротеска. Но тем более жаль, что порой у авторов сатира соскальзывает к юмору, а юмор — к шуточкам. Но, надо надеяться, читатели оставят в стороне такие недочеты и сумеют оценить главное — издевающуюся ненависть авторов к конформизму буржуазного обывателя.

Эвридика хватала всех за пижамы и требовала, чтобы ее спасли, и один только Миртил деловито выкатил из гаража свой грузовик и принялся вместе с женой и сыновьями выносить из дома свое имущество. Это была настоящая паника, как в добрые старые времена, давно такой не видел. Но я-то понимал, что если действительно началась томная война, то лучшего места, чем наш городок, укрыться, отсиестись, переждать — не найти во всей округе. А если это извержение, то происходит оно далеко, и опять же нашему городку ничего не угрожает. Да и сомнительно было, что это извержение: какое тут у нас может быть извержение!

Я поднялся наверх и стал будить Гермину. Ну, тут было как обычно: «Отстань, пьяница, нечего было пить на ночь; ничего я сейчас не хочу» и прочее. Тогда я стал громко и убедительно рассказывать ей об атомной войне и об извержении, несколько сгущая при этом краски, потому что иначе ничего бы у меня не получилось. Ее проняло, она вскочила с постели, оттолкнула меня и устремилась прямо в столовую, бормоча: «А вот я сейчас посмотрю, и тогда берегись...». Отперев буфет, она обследовала бутылки с коньяком. Я был спокоен. «Откуда же ты такой вернулся? — спросила она, недоверчиво принохиваясь. — Из какого гнусного ночного вертепа?» Но когда она посмотрела в окно, когда она увидела на улице полураздетых соседей, когда она увидела Миртила, который в одних подштанниках торчал на своей крыше и глядел на север в полевой бинокль, ей стало не до меня. Правда, оказалось, что северный горизонт уже вновь погрузился в тишину и темноту, но угадывалась там еще туча дыма, совершенно скрывавшая звезды. Что там говорить, моя Гермина — это вам не какая-нибудь госпожа Эвридика. И возраст не тот, и воспитание иное. Я не успел проглотить рюмку коньяку, как она уже волокла чемоданы и во весь голос звала Артемиду. «Зови, зови, — с горечью подумал я, — так она тебя и услышит». И тут Артемида появляется в дверях своей комнаты. Господи, бледная, как смерть, вся трясется, но на ней уже пижама, в волосах болтаются бигуди, и она спрашивает: «Что такое? Что это вы все?»

Как хотите, а это тоже характер. Не будь этого феномена, нипочем бы я ничего не узнал, а уж Харон и подавно. Наши взгляды встретились, она ласково улыбнулась мне дрожащими губами, и я не решился произнести слова, которые вертелись у меня на языке. Чтобы успокоиться, я ушел к себе и начал упаковывать марки. Дрожишь, говорил я ей мысленно, трепещешь! Одиноко тебе, страшно, беззащитно. А он вот не поддержал тебя, не защитил. Сорвал цветок удовольствия и побегал по своим делам. Нет уж, милая моя, если человек бесчестен, то он бесчестен до конца.

Между тем, как я и ожидал, паника быстро шла на убыль. Установилась обыкновенная ночь, земля больше не колыхалась, дома не скрипели. Госпожу Эвридику кто-то увел к себе. Никто больше не кричал о войне, и вообще кричать стало больше не о чем. Выглянув в окно, я увидел, что улица опустела, только кое-где в домах еще виделся свет, да Миртил на своей крыше блестел исподним среди звезд. Я окликнул его и спросил, что там видно. «Ладно, ладно, — раздраженно ответил он. — Ложитесь, храпите. Вы захрапите, а они вам как дадут...» Я спросил, что это — они. «Ладно, ладно, — отвечивал Миртил. — Умники нашлись. Со своим Пандереем. Дурак он, ваш Пандерей, и больше ничего». Услышав про Пандерея, я решил снова позвонить в полицию. Звонить снова пришлось долго, а когда я в конце концов дозвонился, Пандерей сообщил мне, что новостей никаких особенных нет, но в остальном все в порядке, пьяному Минотавру испрыснули успокаивающее, сделали промывание желудка и теперь он уговорился; что же касается пожара, то горение давно прекрати-



лось, тем более что это оказалось никакое не горение, а большой праздничный фейерверк. Пока я вспоминал, какой же это сегодня праздник, Пандерей повесил трубку. Глуп он все-таки и отвратительно испитан, и всегда был таким. Странно видеть таких людей в нашей полиции. Наш полицейский должен быть интеллигентен, он должен быть образцом для молодежи, героем, которому хочется подражать, чтобы ему можно было без опасения верить не только оружие и власть, но и воспитательную деятельность. А Харон называет такую полицию «компанией очкариков» и заявляет, что такая моя полиция никакому правительству не нужна, потому что она начнет хватать и перевоспитывать самых полезных государству людей, начиная с премьер-министра и полицей-президента. Не знаю, не знаю, может быть. Но чтобы старший полицейский не понимал, что такое феномен, и хамил при исполнении обязанностей — это совсем уж никуда не годится.

Спотыкаясь о чемоданы, я пробрался к буфету и налил себе рюмку коньяку как раз в тот момент, когда в столовую вернулась Гермiona. Она сказала, что это сумасшедший дом, что положиться здесь ни на кого нельзя, что мужчины здесь — не мужчины, а женщины — не женщины. Что я — законченный алкоголик, что Харон — турист, что Артемида — белоручка, совершенно неприспособленная к жизни. И так далее. Может быть, кто-нибудь объяснит, зачем ее подняли среди ночи и заставили собирать чемоданы? Я ответил Гермione, как мог, и укрылся у себя в спальне. У меня все болело, и теперь я точно знаю, что завтра у меня опять обострится экзема. Мне уже сейчас хочется чесаться, но пока я еще сдерживаюсь.

Около трех часов земля задрожала снова. Послышался шум от многих моторов и лязг железа. Оказалось, что мимо дома проходит колонна военных грузовиков и бронетранспортеров с войсками. Они двигались медленно, с притушенными фарами, и Миртил увязался за каким-то броневином, затрусил рядом, держась за выступ люка и что-то крича. Не знаю, что ему ответили, но, когда колонна прошла и он остался один на улице, я его окликнул и спросил, какие новости. «Ладно, ладно, — сказал Миртил. — Знаем мы эти маневры. Разъезжают тут умники за мои деньги». И тут я все понял окончательно. Происходят большие военные учения, возможно даже с применением атомного оружия. Стоило огород городить!

Господи, уснуть бы теперь спокойно.

2 ИЮНЯ. Весь чешусь. Никак не могу решиться поговорить с Артемидой. Не выношу я этих сугубо личных разговоров, этого интима. И потом, откуда я знаю, что она мне ответит?

Черт знает с этими дочерьми. Если бы я хоть понимал, чего ей не хватает! Есть муж, и не какой-нибудь сутулый мозгляк, а мужчина крепкий, в самой поре, не урод какой-нибудь, не калека и вместе с тем не потаскун. А мог бы: казначейская племянница на него устремляет призывные взоры и Тиона глазки ему делает, это же всем известно, и я уже не говорю о гимназистках, дачницах или мадам Персефоне, которая из всех кошек самая что ни на есть кошачья кошка и ни один кот устоять против нее не может. Но я же знаю, что Артемида ответит мне на это. Скучно, скажет, папочка, смертная у нас здесь тоска. И ведь крыть нечем! Молодая красивая женщина, детей нет, темперамент завидный, нестись бы ей в вихре развлечений, танцы, флирт и все прочее. А Харон, к сожалению, из этих, из философов. Мыслитель. Тоталитаризм, фашизм, менеджеризм, коммунизм. Танцы — сексуальный наркотик; гости — сплошь болваны, один дру-

того страшнее. О том, чтобы в винт или в четыре короля — и заикнуться не смей. И при том ведь не дурак выпить! Рассадит вокруг стола пятерых своих умников, поставит пять бутылок коньяку и позволит рассуждать до самого утра. Девчонка позевает, позевает, хлопнет дверью и спать уйдет. Разве это жизнь? Я понимаю, мужчине мужское, но ведь с другой стороны и женщине женское! Нет, я любил моего зятя, он мой зять и я его люблю. Но сколько же можно рассуждать? И что от этих рассуждений меняется? Ясно же: сколько ты ни рассуждай о фашизме, фашизму от этого не тепло и не холодно, охнуть не успеешь, напялят на тебя железную каску и — вперед, да здравствует вождь! А вот если ты перестанешь обращать внимание на молодую жену, она тебе тем же и отплатит. И тут уж никакие философствования не помогут. Я понимаю, образованный человек должен иногда рассуждать на отвлеченные темы, но надо же пропорции соблюдать, господа. Ну ладно.

Утро нынче было волшебное. (Температура плюс девятнадцать, облачность один балл, ветер южный, 0,5 м в сек. Надо бы сходить на метеостанцию проверить анемометр, я его опять уронил). После завтрака я решил, что под лежащий камень вода не течет, и отправился в мэрию выяснить насчет пенсии. Шел и наслаждался покоем, и вдруг смотрю — на углу улицы Свободы и Вересковой собралась толпа. Окачивается, Минотавр въехал своей цистерной в ювелирную витрину, и народ собрался посмотреть, как он, грязный, распухший, с утра уже пьяный, дает показания дорожному инспектору. И до того он дисгармонировал с сияющим утром, что все настроение сразу пропало. И ведь ясно, полиции не надо отпускать Минотавра так рано, знали же, что непременно снова напьется, раз у него запой. Но с другой стороны, как его не выпустить, когда он — единственный золотарь в городе? Тут уж одно из двух: — либо ты занимайся перевоспитанием Минотавров и тони в нечистотах, либо иди на компромисс во имя гигиены.

Из-за Минотавра я задержался и, когда добрался до «пяточка», все наши уже были в сборе. Я уплатил штраф, а потом одноногий Полифем угостил меня превосходной сигарой в алюминиевом футляре. Эту сигару прислал ему для меня его старшенький, Поликарп, лейтенант торгового флота. Этот Поликарп учился у меня несколько лет, пока не сбежал в юнги. Шустрый был мальчик, шалун большой. Когда он удрал из города, Полифем на меня чуть в суд не подал: мол, довел мальчишку учитель до беспутства своими лекциями о множественности миров. Сам Полифем до сих пор уверен, будто небо твердое и спутники по нему бегают наподобие мотоциклистов в цирке. Доводы мои о пользе астрономии ему недоступны, и тогда были недоступны, и сейчас по-прежнему недоступны.

Наши разговаривали о том, что городской казначей опять растратил деньги, отпущенные на строительство стадиона. Это, значит, уже в седьмой раз. Говорили мы сначала о мерах пресечения. Силен пожимал плечами и утверждал, что кроме суда, ничего, пожалуй, не придумаешь. «Довольно полумер, — говорил он. — Открытый суд. Собраться всем городом в котловане стадиона и пригвоздить растратчика к позорному столбу прямо на месте преступления. Слава богу, — повторил он, — наш закон достаточно гибок, чтобы мера пресечения в точности соответствовала тяжести преступления». «Я бы даже сказал, что наш закон слишком гибок, — заметил желчный Парал. — Этого казначея судили уже дважды, и оба раза наш гибкий закон огибал его стороной. Но ты-то небось полагаешь, будто так получалось потому, что судили его не в котловане, а в ратуше». Морфей, основательно подумав, заявил, что с нынешнего же дня перестанет казначея стричь и брить. Пусть-ка походит волосатый. «Задницы вы все, — сказал Полифем. — Никак вы допереть не можете, что ему на вас плевать. У него

своя компания». «Вот именно», — подхватил желчный Парал и напомнил нам, что кроме городского казначая, живет еще и действует городской архитектор, который проектировал стадион в меру своих способностей и теперь, естественно, заинтересован, чтобы стадион, не дай бог, не начали строить. Заика Калаид зашипел, задержался и привлекая таким образом всеобщее внимание, напомнил, что именно он, Калаид, в прошлом году чуть не подрался с архитектором на Праднике Цветов. Это заявление придало разговору новый, решительный уклон. Одноногий Полифем, как ветеран и человек, не боящийся крови, предложил подстеречь обоих в подъезде у мадам Персефоны и обломать им рога. В такие решительные минуты Полифем совершенно уже перестает следить за своим языком — так и прет из него казарма. «Обломать этим вонючкам рога, — гремел он. — Дать этому дерьму копоты и отполировать сволочам мослы». Просто удивительно, как возбуждающе такие речи действуют на наших. Все загорячились, замахали руками, а Калаид шипел и дергался гораздо сильнее, чем обыкновенно, будучи не в силах от большого волнения выговорить ни слова. Но тут желчный Парал, единственный из них сохранивший спокойствие, заметил, что кроме казначая и архитектора, в городе проживает еще в своей летней резиденции главный их дружок, некий господин Лаомедонт, и все сразу замолчали и принялись раскуривать свои потухшие за разговором сигары и сигареты, потому что господину Лаомедонту не очень-то обломаеть рога и, тем более, не отполируешь мослы. И когда в наступившей тишине заика Калаид уже совершенно непроизвольно разразился, наконец, заветным: «Н-н-надавать по сопатке!», все посмотрели на него с неудовольствием.

Я вспомнил, что мне давно пора в мэрию, вложил недокуренную сигару в алюминиевый футляр и поднялся на второй этаж, в приемную господина мэра. Меня поразило необычное оживление в канцелярии. Все служащие были как бы несколько взволнованы. Даже господин секретарь вместо того, чтобы заниматься обычным для него рассматриванием собственных ногтей, запечатывал сургучными печатями большие конверты с видом, впрочем, чрезвычайно брезгливым и одолжительным. С чувством большой неловкости приблизился я к этому прилизанному по новейшей моде красавчику с его вызывающе-



Была ли катастрофа?

Много тысячелетий прошло с тех пор, как люди впервые стали задаваться вопросами: почему бывают день и ночь, тепло и холод, откуда взялись горы и долины, откуда и как все произошло? Создавались сказки, мифы и всевозможные догадки, облекавшиеся часто в весьма грубую форму — вроде того, что небо — это живот большой коровы, а дождь — молоко этой коровы, что облака — овцы небесного пастуха, что затмение солнца — дело нечистой силы и т. п. И только сравнительно недавно объяснение особенностей окружающего нас мира начало приобретать достоверный характер.

Однако пути науки с первых дней ее зарождения и по сей день — извилистые и трудные. В очень редких случаях научная истина сразу же становилась достоянием всех, обычно же вокруг того или иного

ми бычками и экстравагантной заграничной курткой. Господи, я бы все на свете отдал, чтобы не иметь к нему никакого дела, не видеть его и не слышать. Я и раньше не любил господина Никострата, как и всех молодых хлыщей в нашем городе, по правде сказать, не любил его еще тогда, когда он у меня учился — за лень, за наглость, за дерзкие выходки, а после вчерашнего мне даже смотреть на него было тошно. Я представления не имел, как мне с ним держаться. Но выхода не было, и в конце концов я решился произнести: «Господин Никострат, слышно что-нибудь по поводу моего дела?» Он даже не взглянул на меня, так сказать, не удостоил взгляда. «Извините, господин Аполлон, но ответ из министерства еще не пришел», — сказал он, продолжая ставить печати. Почему не пришел, когда можно ожидать, можно ли вообще ожидать... Я потоптался и пошел к выходу, чувствуя себя откровенно, как это всегда со мной бывает в присутственных местах. Однако совершенно неожиданно он остановил меня удивительным сообщением. Он сказал, что связи с Марафинами нет со вчерашнего дня. «Да что вы говорите! — сказал я. — Неужели маневры еще не кончились?» «Какие маневры?» — удивился он. Тут меня прорвало. До сих пор не знаю, стоило ли это делать, но я пристально посмотрел прямо ему в лицо и сказал: «Как так — какие? Да те самые, которые вы изволили наблюдать прошлой ночью». «Разве это были маневры? — с завидным хладнокровием произнес он, снова склоняясь над своими конвертами. — Это же был фейерверк. Почитайте утренние газеты». Надо, надо было сказать ему пару слов, тем более, что в этот момент мы в комнате были одни. Да разве я могу так?

Когда я вернулся на «пятак», спор уже шел о сущности ночного феномена. Наших прибыло: подошли Миртил и Пандерей. Пандерей был в расстегнутом кителе, небритый и усталый после ночного дежурства. Миртил выглядел не лучше, потому что всю ночь ходил вокруг дома с дозором и ждал беды. У всех в руках были утренние газеты, и обсуждалась заметка «нашего наблюдателя» под названием «Праздник на пороге». «Наш наблюдатель» сообщал, что Марафины готовятся к празднованию своего стапятидесятилетия и что, как ему стало известно из обычно хорошо осведомленных источников, вчерашней ночью был произведен тренировочный фейерверк, которым могли любоваться жители окрестных городов и селений в радиусе до

тысячи или теории разгорался спор, нередко длившийся столетиями и временами принимавший ожесточенные формы. Спор о форме Земли длился много столетий и окончательно был решен в XVI веке, то есть после первых кругосветных путешествий. Спор о том, Земля вращается вокруг Солнца или наоборот, длился более тысячи лет и разрешен был также в XVI веке открытиями Коперника, но и после этого на труды ученого католической церковью был наложен запрет.

Самые 150 лет идет спор о так называемом ледниковом периоде или «страшной зиме», которая, по мнению многих исследователей XIX и XX веков, когда-то охватила нашу планету и оставила на ней большие разрушения и опустошения, а первую очередь в мире животных и растений. Тысячи книг написаны об этой катастрофе, точного, убедительного ответа на вопрос, была все-таки она или гипотеза о «страшной зиме» только плод научных заблуждений, все еще нет. Только

недавно появились предпосылки для окончательного решения вопроса о «страшной зиме», и этим мы обязаны достижениям таких наук как палеонтология, климатология, динамическая геология и другие.

В XVIII и в начале XIX веков большое внимание ученых привлекала проблема вымерших, «допотопных», как тогда говорили, животных. Русские купцы и землепроходцы давно, начиная с XVI века, сообщали о находках не только костей, но даже трупов больших животных в мерзлых почвах Сибири. На Западе этим сведениям вначале не верили. Однако число находок все возрастало. Не все эти находки попадали на глаза ученым, однако часть их становилась достоянием науки. Так, во второй половине XVIII века академик П. Паллас во время экспедиции в Сибирь лично увидел, а позже подробно описал голову и ноги шерстистого носорога. Он собрал также много сведений и о других находках. А так как Паллас имел репутацию правдивого и

двухсот километров. Стоит Харону уехать в командировку, как наша газета катастрофически глупеет. Хотя бы потрудились прикинуть, как это должен выглядеть фейерверк с расстояния в двести километров. Хотя бы задумались, с каких это пор фейерверки сопровождаются подземными толчками. Все это я немедленно изложил нашим, но они ответили, что и сами знают, который нынче год, и посоветовали прочитать «Вестник Милеса». В «Вестнике» черным по белому было написано, что этой ночью «жители Милеса могли любоваться впечатляющим зрелищем военных учений с применением новейших средств боевой техники». «А я что говорил!» — воскликнул было я, но меня прервал Миртил. Он рассказал, что рано утром к его бензоколонке подъехал заправиться незнакомый шофер фирмы «Дальние перевозки», взял сто пятьдесят литров бензина, две банки автола, ящик мармеладу и по секрету сообщил, будто этой ночью взорвались по неизвестной причине подземные заводы ракетного горючего. Погибло, якобы, двадцать три человека охраны и вся ночная смена, да еще семьдесят девять человек пропало без вести. Мы все ужаснулись, тут же желчный Парал агрессивно осведомился: «А зачем же тогда, спрашивается, ему понадобился мармелад?» Этот вопрос поставил Миртила в тупик. «Ладно, ладно, — сказал он. — Слыхали. Хватит с меня. Нам тоже нечего было сказать. Действительно, причем здесь мармелад? Калаид пошипел, побрызгал, но так ничего и не сказал. И тогда вперед выдвигается этот старый осел Пандерей. «Старички, — говорит он. — Слушайте. Никакие это были не ракетные заводы. Мармеладные это были заводы, ясно? Ну, теперь держитесь». Мы так и сели. «Подземные мармеладные заводы? — говорит Парал. — Ну, старина, ты сегодня в отличной форме». Мы стали хлопать Пандерея по спине, приговаривая: «Да, Пан, сразу видно, плохо ты нынче спал, старина. Заездил тебя Минотавр, Пан, плохо твое дело. Пора, пора тебе на пенсию, Пан, дружище!» «Полицейский, а сам сеет панику», — обиженно сказал Миртил, единственный, кто принял Пандереевы слова всерьез. «На то он и Пан, чтобы сеять панику», — сострил Димант. И Полифем тоже сострил очень удачно, хотя и совершенно неприлично. Пока мы так развлекались, Пандерей стоял столбом, распухал на глазах и только ворочал головой, совсем как бык, которого одолевает матадор. В конце концов он застегнул китель на все пуговицы и

точного ученого, на Западе ему поверили.

Наблюдения Палласа послужили известному французскому натуралисту Ж. Кювье толчком к созданию гипотезы о «морозной катастрофе». Кювье рассуждал так: мамонты и носороги не могли погибнуть в обычных условиях, ибо их трупы разложились бы; значит замерзли они внезапно, а это могло случиться только в том случае, если страшный мороз сковал северное полушарие «внезапно, моментально, без всякой постепенности».

Так появилась гипотеза о «последней в истории Земли морозной катастрофе». Кювье вообще всю историю Земли представлял себе в виде целого ряда последовательных вулканических, водных и других катастроф, поэтому морозную катастрофу, как ближайшую по времени к нам, он назвал последней.

Кювье еще не применял выражения

«ледниковая эпоха», его ввел в научный обиход последователь Кювье немецкий ботаник К. Шимпер. А еще позже в научной литературе появилось выражение «ледниковый период», существующее и поныне.

Другой ярый приверженец гипотезы Кювье — швейцарский натуралист Ж. Агассис около середины XIX века ввел в научную литературу понятие «страшная зима». В доказательство достоверности всего сказанного о «страшной зиме» ученые-катастрофисты стали ссылаться также на то, что далеко на юге в Германии и Франции, а у нас даже в Крыму, нередко находят кости северного оленя, лося и других северных животных.

Гипотеза о «страшной зиме» была поддержана также геологами на основании того факта, что по равнинам Европы разбросаны многочисленные валуны кристаллических пород, многие из них явно скандинавского происхождения. Так возникла новая трактовка «страшной зимы».

...да поверх голов, гаркнул: «Поговорили — все! Р-ра-разойдись! Законом закона». Миртил пошел к себе на бензоколонку, а остальные отправились в трактир.

В трактире мы сразу заказали пива. Вот удовольствие, которого я был лишен, пока не уволился на пенсию! В таком маленьком городке, как наш, учителя знают все. Родители твоих учеников почему-то воображают, будто ты чудотворец и своим личным примером способен помешать их детям устремиться по стопам родителей. Трактир с утра до поздней ночи буквально кишит этими родителями, и если ты позволишь себе невинную кружку пива, то на следующий день непрерывно имеешь унижительный разговор с директором. Во-вторых, в стойки вечно толкуются старшеклассники, манкирующие уроками и пренебрегающие кодексом школьника, где прямо сказано, что учащийся не должен посещать публичных заведений со спиртными напитками. А я люблю трактир! Люблю посидеть в доброй мужской компании, рассеянно ловя слухом гул голосов и звон стаканов за спиной, люблю рассказать и выслушать соленый анекдот, сыграть в четыре короля — по маленькой, но с достоинством — и при выигрыше показать всем по кружке. Ну ладно.

Япет подал нам пиво, и мы заговорили о войне. Одноногий Полифем заявил, что если б это была война, то уже началась бы мобилизация, а желчный Парал возразил, что если б это была война, мы бы ничего не знали. Не люблю я разговоров о войне и с удовольствием навел бы разговор о пенсиях, но где уж мне... Полифем положил костыль поперек стола и спросил, что, собственно, Парал понимает в войнах. «Знаешь ты, например, что такое базука? — грозно спросил он. — Знаешь ты, что такое сидеть в окопе, пасть у тебя забита дерьмом, на тебя прут танки, и ты еще не заметил, что навалил полные штаны?» Парал возразил, что про танки и про полные штаны он ничего не знает и знать не хочет, а вот про атомную войну мы все знаем одинаково. «Ложись ногами к взрыву и ползи на ближайшее кладбище», — сказал он. «Шпаком ты был, шпаком и умрешь», — сказал одноногий Полифем. — Атомная война — это война нервов, понял? Они все, а мы их, и кто первый навалит в штаны, тот и проиграл». Парал только пожал плечами, и Полифем распалился окончательно. «Базуки! — орал он. — Тарзоны! Р-раз — и полные штаны! Верно, Аполлон?» Накричавшись

именно: сильное похолодание обусловило образование огромного скандинавского ледника, который расплзался в разные стороны — до пределов Бельгии, Чехословакии, Украины и Урала и разнес валуны.

Такова была основа возникновения гипотезы о «страшной зиме», подучившей название гляциалистического учения, то есть учения об одном или о многих ледниковых периодах в истории Земли.

Однако факты, послужившие основой этой гипотезы, находят сейчас новое объяснение. Твердо установлено, что многолетняя («вечная») почвенная мерзлота на севере Азии и Северной Америки — следствие современного климата; почва настолько промерзает зимою, что за короткое летнее лето она не успевает оттаять. Если какое-либо животное даже в наше время попадает в мерзлую почву или просто в сугробы, его труп сохраняется. Так как в тундрах нет остатков только что родившихся или очень молодых ма-

монтов, можно утверждать, что мамонты не жили круглый год в тундре, а заходили туда лишь в теплое время года, когда растения имели листву и молодые побеги, которыми мамонт питался. С наступлением зимы многие из мамонтов, зашедших в тундру, не успели вовремя откочевать на юг и погибли от бескормицы и других причин, их трупы заносились снегом, промерзали и попадали в многолетнюю мерзлоту. О способности мамонтов к кочевкам можно судить по повадкам современных слонов, особенно индийского, к которому мамонт весьма близок. Во время кочевок слоны проходят за сутки свыше ста километров, следовательно, попасть из лесной зоны в тундру или, наоборот, откочевать из тундры на юг мамонт мог за одну-две недели. То же можно сказать и о шерстистом носороге, а также о северном олене, существующем и в настоящее время. Олени совершают большие сезонные кочевки, нередко протяженностью свыше тыся-

вдоволь, он ударился в воспоминания, как мы с ним отбивали в снегах танковую атаку. Терпеть не могу этих воспоминаний. Сплошные полные штаны. Не знаю, может, так оно все и было, не помню. Да и не люблю к этому возвращаться. А Полифем как был казармой, так и остался. Представления не имею, что же еще нужно оторвать человеку, чтобы он навсегда перестал быть унтер-офицером. А может быть все дело в том, что не довелось ему попасть в «котел», как мне. Или тут в характере дело?

Мы засиделись, и я решил заодно пообедать. Обычно у Япета кормят хорошо, но на этот раз фирменный его суп с клецками густо отдавал деревянным маслом, и я об этом так и сказал. Оказывается, у Япета третий день болят зубы, да так невыносимо, что он ничего толком не может попробовать. «А помнишь, Феб, как я выбил тебе зуб?»— грустно спросил он. Еще бы я не помнил! Это было в седьмом классе, мы вместе ухаживали за Ифигенией и дрались каждый день. Боже мой, как далеки те времена, когда я мог драться! Ифигения, оказывается, теперь замужем за каким-то инженером на юге, у нее уже внуки и грудная жаба.

Когда я шел к Ахиллесу, у дома господина Лаомедонта стояла эта его страшная красная машина с бронестеклами, и за рулем раскуривал этот гнусный молодчик, который всегда надо мной издевается. И теперь он пристал ко мне так, что пришлось с достоинством перейти на другую сторону улицы, не обращая на него никакого внимания. Ахиллес восседал за кассой и рассматривал свой «Космос». С тех пор как он раздобыл этот синий треугольник с серебряной надпечаткой, он взял за правило доставать альбом как раз к моему приходу, словно бы случайно. Я его вижу насквозь и поэтому виду не подаю. Хотя, по правде говоря, сердце у меня всегда при этом обливается кровью. Одно утешение, что треугольник у него все-таки с наклейкой. Я ему так и сказал. «Да,— сказал я,— ничего не скажешь, Ахилл, отличная вещь. Жаль только, что с наклейкой». Он весь перекосялся и проворчал, что зелен, мол, виноград. «Что поделаешь,— отвечал я ему спокойно.— Наклейка есть наклейка, и никуда от нее не уйдешь. Лично я эту марку за такую цену не взял бы. Зачем она мне с наклейкой? У некоторых, конечно,— сказал я,— такие широкие взгляды, что они берут и гашеные, и с наклейками, но это не по мне, несерьезно. Я беру их раз-

чи километров. Среди многочисленных костных остатков северного оленя, найденных в так называемых ледниковых отложениях на Украине, нет остатков только что родившихся или очень молодых особей. Это значит, что олени заходили на территорию Украины с севера лишь зимою. Доказано, что они заходили на территорию Украины еще в начале нашей эры, а до пределов Рязани— и в начале XX века, то есть в условиях современного климата. Вымирание мамонта и шерстистого носорога, как и сокращение пределов кочевок северного оленя, связано также с деятельностью человека— с охотой, то есть с прямым истреблением, и с косвенным— в связи с развитием земледелия и скотоводства.

Что касается разноса валунов, то и это не может быть истолковано в пользу «страшной зимы», так как, кроме глетчерного льда, валуны разносятся ливневыми, штормовыми, весенними и речными потоками,

поверхностным, береговым и донным льдом и т. д. Если допустить, что на равнинах умеренной зоны Европы был глетчерный лед, а в тех же широтах той же зоны, скажем, в Средней Азии и в Южном Приуралье, его не было (что признается всеми), то непонятно, почему для Средней Азии и Южного Приуралья закон природной климатической зональности сделал исключение.

Долгое время сторонники гипотезы о «страшной зиме» вообще не допускали иного разноса крупных валунов, кроме ледникового, однако сейчас известно множество случаев, когда во время штормов на берега морей, озер и рек выбрасывались прибором валуны в десятки и сотни тонн. Такие случаи наблюдались на берегах северных и южных морей, в частности в Австралии, в Англии, в Западной Франции, у нас в Прибалтике и в Крыму и во многих других местностях. Что касается разноса более мелких валунов реками и весенними потоками талых вод, то эти фак-

не что для обменного фонда. Всегда ведь найдется простак, которому что с наклейкой, что без—все едино». Я тебя отучу тыкать мне в нос серебряную надпечатку!

А в общем мы хорошо провели с ним время. Он меня убеждал, будто вчерашний фейерверк — это полярное сияние редкого вида, случайно совпавшее с особым видом землетрясения, а я ему втолковывал про маневры и взрыв мармеладного завода. Спорить с Ахиллесом невозможно. Ведь видно же, что человек сам в свои слова не верит, а спорит, упорствует. Сидит как монгольский истукан, смотрит в окно и твердит одно и то же, что, мол, в этом городе не я один разбираюсь в феноменах природы. Можно подумать, что они там в своем фармацевтическом училище действительно упражнялись в серьезных науках. Нет, ни с кем из наших невозможно довести хоть какой-нибудь спор до разумного завершения. Вот Полифем, например. Он никогда не спорит по существу. Истина его не интересует, ему одно важно: посрамить оппонента. Положим, спор идет о форме нашей планеты. Совершенно точными, известными каждому образованному человеку аргументами я доказываю ему, что Земля, есть, грубо говоря, шар. Он ожесточенно и безуспешно атакует каждый аргумент по очереди, а когда мы доходим до формы земной тени во время лунных затмений, он вдруг заявляет что-нибудь вроде: «Тень, тень... Наводишь тут тень на ясный день. Бородавку сначала под носом выведи да волосы на своей плечи отрасти, а тогда уже и спорь». Или, скажем, Парал. Пospорил я с ним как-то о способах излечения алкоголизма. Оглянуться не успел, как мы перешли к внешней политике тогдашнего президента, а от нее — к проблеме панспермии. И что удивительное — до панспермии и до внешней политики мне тогда не было и сейчас нет никакого дела, а алкоголизмом мучительно для всех окружающих страдал двоюродный племянник Гермионы. Сейчас-то он в армии, военфельдшер, а в то время жизнь моя была сплошным кошмаром. Да, алкоголизм есть бич народов.

Спор наш закончился тем, что Ахиллес достал заветную бутылочку, и мы выпили по рюмке джина. Торговля у Ахиллеса идет неважно. У меня такое впечатление, что ему и на джин бы не хватило, если бы не мадам Персефона. Вот и сегодня опять пришел от нее. «Могу предложить антигест», — говорит Ахиллес деликатным шепотом.

Они общезвестны. Нужно еще добавить, что многие валуны, которым приписывалось скандинавское происхождение, оказались, например, на Украине, местными, из Украинского кристаллического щита.

Можно еще многое сказать в пользу того, что существующая уже свыше 150 лет гипотеза о «страшной зиме» требует пересмотра.

И. ПИДОПЛИЧКО,
член-корреспондент АН УССР

Планета Океан

Как бы далеко ни находились люди от океана, вся их жизнь и деятельность неразрывно связаны с ним. Действительно, если принять во внимание и потребление пищи, добытой в море, и использование предметов обихода, на изготовление которых пошло добытое в море сырье, и зави-

симость жизни каждого человека от погоды, формирующейся над океанами и морями, и многое-многое другое, то получится, что даже самого казалось бы «сухопутного» человека на земле можно назвать морским жителем. И сама наша планета, на три четверти покрытая океанами и морями, по справедливости должна была бы называться не «планета Земля», а «планета Океан».

Вот почему все возрастает по своим масштабам и темпам изучение животного и растительного мира в толще вод и на дне, рельефа дна и донных осадков, химического состава воды, ее тепловых свойств, стремительных течений в толще воды и ветровых волн на ее поверхности, погоды над морем и многих других сторон и явлений многоликой природы океанов и морей. Всю эту сложную «научную машину» надо суметь правильно организовать и направить на благо человечества. С этой целью в 1959 году в Нью-Йорке собрался первый международный океанографический

том, «Нет, — отвечает посыльная, — просили чего-нибудь повернее, пожалуйста». Повернее, видите ли, ей. Прибегал еще поваренок от Япета за зубными каплями, а больше никто не приходил, и мы побеседовали веласть. Я обменял розовый «Монумент» на его серию «Красный Крест». Собственно, «Красный Крест» мне не нужен, но Харон позавчера сказал, что к нему в редакцию пришло объявление: «Возьму «Красный Крест», предлагаю любую перевернутую надпечатку из стандарта». Надо признаться, что как это ни странно, Харон — единственный человек в нашем доме, который надо мной не хихикает. Вообще, если подумать, он совсем неплохой человек, и Артемиде поступать не только аморально, но и неблагородно. А каков этот Никострат!

Возвращаюсь я домой в девять вечера и вижу, что они опять сидят у меня в саду, в тени и, правда, не целуются, но надо же все-таки совесть иметь. Я вышел в сад, взял Артемиду за руку и говорю этому хлыщу: «До свидания, господин Никострат, спокойной ночи». Артемиде вырывает у меня свою руку и, ни слова не говоря, уходит. А этот распутник, весьма неуклюже пытаюсь сгладить неловкость, затеваю со мной разговор о муниципальных рекомендациях, которые следует прилагать к прошению о пенсии. И я стою и его слушаю. Его палком надо гнать из сада, а я его слушаю. Деликатность моя проклятая. И неуверенность. Вот уж, действительно, комплекс неполноценности. И тут он вдруг скверно осклабился и говорит: «А как поживает очаровательная госпожа Гермиде? Вы, господин Аполлон, не промах. От такой экономки я бы тоже не отказался». У меня сердце упало, и я совсем уже онемел. А он, недождавшись ответа, — да и зачем ему мой ответ? — удалился, хохоча на всю улицу, и я остался один в темном саду.

Да, ничего не поделаешь. Наши отношения с Гермидею придется все-таки урегулировать. Знаю ведь, что ни к чему это мне, но спокойствие душевное требует жертв.

3 ИЮНЯ. Иногда меня охватывает ужас при мысли о том, что дело с моей пенсией не образуется. У меня стесняется внутри, и я совершенно ничем не могу заниматься.

конгресс, который подвел итоги изучения океанов и морей за послевоенные годы, особенно за период так называемого Международного геофизического года (с середины 1957 до конца 1958 года) и наметил перспективы дальнейшего развития этой отрасли знаний.

Однако современная океанография развивается столь быстро, что уже через семь лет потребовался созыв второго конгресса с теми же задачами. По единодушному желанию крупнейших океанографов местом форума был избран Советский Союз — в этом выразилось признание огромных заслуг нашей Родины в изучении океанов и морей, признание того, что СССР (как и США) является ведущей страной в этом отношении.

Второй конгресс почти вдвое превзошел первый как по числу участников — прибыло около полутора тысяч гостей почти из шестидесяти стран, так и по числу докладов, сложности и разветвленности охваченной ими тематики.

В то время как на первом конгрессе в центре внимания было развитие теоретической мысли, на втором все основные вопросы рассматривались сквозь призму их практической значимости для улучшения жизни людей. Это очень выразительно было показано самим девизом, под которым проходил конгресс, — «Изучение океана в благо человечества». Мы, участники конгресса, увидели 30 мая 1966 года слова этого девиза-призыва, начертанные на огромном полотнище на четырех языках — русском, английском, французском и испанском. Затем весь глубокий смысл этих благороднейших слов был с разных сторон раскрыт выступавшими на торжественном открытии заместителем Председателя Совета Министров СССР М. Т. Ефремовым, президентом Академии Наук СССР академиком М. В. Ковальским, Президентом конгресса академиком А. П. Виноградовым и другими.

Четыре узловых проблемы стояли в повестке дня форума — морская геология,

Но если рассуждать логически, дело должно кончиться самым благоприятным образом. Во-первых, я проработал учителем тридцать лет, если не считать перерыва на войну. Точнее, даже тридцать лет и два месяца. Во-вторых, я ни разу не менял места службы, никогда не прерывал стажа на переезды и другие отвлекающие обстоятельства и только однажды, семь лет назад, брал кратковременный отпуск за свой счет. А участие в военных действиях не может считаться перерывом стажа, это же ясно. По самым приблизительным подсчетам через мои классы прошло более четырех тысяч учеников, почти все нынешнее население города. В-третьих, последние годы я все время был на виду и трижды замещал директора школы на время его отпуска. В-четвертых, работал я безупречно, имею шестнадцать благодарностей министерства, личный адрес покойного министра ко дню моего пятидесятилетия, а также бронзовую медаль «За усердие на ниве народного просвещения». Целый ящик в моем столе специально отведен под благодарственные адреса родителей. В-пятых, моя специальность. Сейчас все свихнулось на этом космосе, так что астрономия — предмет актуальный. По-моему, это тоже довод. Вот так окинешь все это взглядом, и кажется: какие могут быть сомнения? На месте министра я бы, не задумываясь, назначил мне первый разряд. Господи, тогда бы я, наконец, успокоился. Ведь по сути дела мне не так уж много надо в жизни. Три-четыре сигареты, рюмка коньяку, кое-какая мелочь на карты, вот и все. Ну и марки, конечно. Первый разряд — это сто пятьдесят в месяц. Сто я отдаю Гермione на хозяйство, двадцать — на книжку про черный день, а то, что останется, это уж будет мое. Тут и на марки хватит, и на все прочее. Неужели я не заслужил?

Плохо, что старый человек никому не нужен. Выжмут его, как лимон, и иди подыхай. Благодарности, адреса? Кого это сейчас интересует? Медаль? У кого их нет? И обязательно ведь кто-нибудь прицепится, что был в плену. В плену был? Был. Три года? Три года. Все! Значит, стаж прерывался на три года, получите свой третий разряд и не раздувайте нашу переписку. Вот если бы знакомства! А кстати, ведь один мой ученик, а именно генерал Алким, и поныне сидит в Нижнем конгрессе. Что, если ему написать? Он меня должен помнить, у нас с ним было много тех маленьких конфликтов, о которых

океан и жизнь, океан и атмосфера и океанография Индийского океана и Антарктики. Первые три проблемы соответствовали трем основным направлениям развития современной океанографии (или, что то же, океанологии), а четвертая отражала комплекс трех предыдущих применительно к наименее изученному до сих пор району мирового океана — индоокеанским и антарктическим водам.

Нет никакой возможности рассказать в одной статье обо всем даже самом важном, что произошло в науке о море за последние семь лет — ведь этому было посвящено более пятисот докладов конгресса! Потому мы ограничимся лишь отдельными штрихами в надежде на то, что, возбуждав интерес читателей, удастся в будущем дополнительно осветить на страницах «Визыкала» именно те вопросы, на которые более всего этот интерес будет направлен.

Крупнейший океанограф США Р. Ре-

велл сказал: мы знаем дно океана значительно хуже, чем поверхность Луны. В то время это было совершенно верно. Но можно ли сказать это же сегодня?

Изучение Луны за последние семь лет неизмеримо продвинулось вперед, особенно после получения фотографий ее обратной стороны, но и изучение океанского дна шло такими темпами, что уровень наших знаний о нем сейчас, пожалуй, уже сравнялся с уровнем знаний о спутнике Земли. Океанографы многократно опускали на дно разнообразные новейшие приборы и аппараты, у них, можно сказать, впервые «открылись глаза» на все неповторимое своеобразие морского дна, с его сложнопере-сеченным рельефом и остроконечными пиками подводных гор. Ученые немало узнали о многослойной структуре донных осадков, по которым, как по раскрытой книге, можно «прочитать» геологическую историю Земли, увидели почти сплошь покрывающие дно бесценные богатства железисто-марганцевых конкреций. Подсчитано, что

с таким удовольствием вспоминают ученики, ставши взрослыми. Ей-богу напишу. Так прямо и начну: «Здравствуй, мальчик. Вот я уже и старик...» Подожду немного и напишу.

Сегодня весь день сидел дома: Гермiona вчера была в гостях у тети и принесла оттуда большой пакет со старыми марками. Разбирая их, получил огромное удовольствие. Это ни с чем нельзя сравнить. Это как бесконечный медовый месяц. Оказалось несколько отличных экземпляров, правда, все с наклейками, придется реставрировать. Миртил разбил у себя во дворе палатку и живет там со всей семьей. Хвастался, что может собраться и выехать за десять минут. Рассказывал, что связи с Марафинами по-прежнему нет. Наверняка прет. Пьяный Минотавр наехал своей грязной цистерной на красный автомобиль господина Лаомедонта и подрался с шофером. Обоих отвели в участок. Потом Минотавра заперли до вытрезвления, а шофера, говорят, отвезли в больницу. Есть все-таки справедливость на свете. Артемида сидит тихо, как мышка: вот-вот должен вернуться Харон. Я уж Гермione ничего не рассказываю. Может быть, как-нибудь обойдется. Эх, получить бы первый разряд!

4 ИЮНЯ. Только что кончил читать вечернюю газету, но по-прежнему ничего не понимаю. Несомненно, какие-то изменения произошли. Но какие именно? И вследствие каких событий? Любят у нас приврать, вот что.

Утром, попив кофе, я отправился на «пяточок». Утро было хорошее, теплое. (Температура плюс восемнадцать, облачность ноль баллов, ветер южный, 1 м в сек. по моему анемометру). Выйдя за калитку, я увидел, что Миртил суетится вокруг разложенной на земле палатки. Я спросил его, что это он. «Ладно, ладно, — ответил он с сильным раздражением. — Умники нашлись. Ну и сидите, ждите, пока вас всех перережут». Я Миртилу ни на грош не верю, но от таких разговоров у меня всегда мурашки. «Да что еще случилось?» — спросил я. «Марсианцы», — коротко ответил он и принялся уминать палатку коленом. Я его не сразу понял и, может быть, именно поэтому у меня от этого странного слова возникло ощущение, будто надвигается нечто страшное и неодолимое. Ноги у меня ослабели, и я присел на бампер грузовика. Миртил молчал, только пыхтел и сопел. «Как ты сказал?» — спросил я. Он упаковал палатку, перекинул ее в кузов и за-

количество содержащихся в этих конкрециях руды высокого качества составляет не менее трехсот миллиардов тонн. Впрочем, эта раскрытая шкатулка несметных сокровищ заиграла своими переливами пока еще не перед глазами самих ученых, о ней узнали по фотоснимкам опущенных на дно океана подводных фотоаппаратов да по поднятым со дна образцам минералов.

Однако ученые хотят большего — они добиваются возможности самим пройти по дну океана, увидеть «в натуре» и потрогать руками все то, что там находится. Французские ученые под руководством Ж. И. Кусто провели смелые эксперименты — они по несколько недель жили на глубине свыше ста метров в специальных «подводных домах», выходили из этих «домов» и работали на дне.

Итак, можно сказать, что человек уже завоевал дно океана на небольших глубинах. Но это только начало. Современная техника уже обеспечила человеку возможность существования в космосе. Нет сом-

нения, что она обеспечит ему возможность жить и работать также и в антикосмосе — в заповедных глубинах морей и океанов.

Огромные богатства таятся не только на дне океана, заключены они и в самой морской воде. Взять хотя бы одну из разновидностей ее движения — приливы. Знаменательно, что именно в 1959 году, когда работала первый конгресс, на атлантическом побережье Франции была пущена в ход первая в мире приливная электростанция. Наши французские коллеги вписали первую страницу в историю практического овладения человеком энергетическими ресурсами океана. Следующую страницу этой истории переворачивают уже советские ученые и инженеры — в 1963 году у нас на Севере — в бухте Кислой (побережье Кольского полуострова) начали строить мощную приливную электростанцию. Советскими энергетиками запланирована целая система приливных электростанций, которые будут работать в комплексе с гидравлическими ГЭС, — это обес-

курил. «Марсианцы напали,— сказал он шепотом. — Теперь нам всем конец. Марафины сожгли, говорят, дотла, десять миллионов убитых в одну ночь, представляешь? А нынче пожаловали к нам в мэрию. Власть теперь ихняя, так что все. Сеять уже запретили, а теперь, говорят, желудки всем вырезать будут. Желудки им зачем-то нужны, представляешь? Я этого дожидаться не буду, желудок мне самому нужен. Я как услышал про все это, так сразу и решил: эти новые порядочки не для меня, пропади оно тут все пропадом, а я еду к брату на ферму. Я уже старуху с ребятами отправил на автобусе. Отсидимся, осмотримся, а там видно будет». «Постой,— сказал я, отчетливо понимая, что он все врет, но слабея все более. — Постой, Миртил, что ты такое говоришь? Кто напал? Кто сжег? У меня сейчас зять в Марафинах». «Накрылся твой зять,— сказал Миртил сочувственно и бросил окурочок. — Считай, что дочка твоя овдовела. То-то секретарю раздольище... Ну, я поехал. Прощай, Аполлон. Мы с тобой всегда были по-доброму. Я на тебя зла не имею, и ты меня лихом не поминай». «Господи! — в отчаянии закричал я, совсем уже ослабев. — Да кто напал-то?» «Марсианцы, марсианцы! — сказал он, снова переходя на шепот. — Оттуда! — Он поднял палец к небу. — С кометы подвалили». «Может быть, марсиане?» — с надеждой спросил я. «Ладно, ладно,— сказал он, забираясь в кабину. — Ты учитель, тебе виднее. А вот мне так все равно, кто мне кишки выпустит... Господи, Миртил,— сказал я, поняв окончательно, что все это вранье. — Ну нельзя же так. Ты же пожилой человек, у тебя внуки. Какие могут быть марсиане, если Марс — безжизненная планета? Нет там жизни, это научный факт». «Ладно, ладно,— проворчал Миртил, но было видно, что он засомневался. — Какой там еще факт». «Да не ладно, а так оно и есть на самом деле,— сказал я. — Спроси любого ученого. Да что там ученого, это каждый школьник знает!» Миртил крикнул и вылез из кабины. «Пропади оно все пропадом,— сказал он, запуская пятерню в затылок. — Кого слушать-то? Тебя мне слушать? Или Пандерея мне слушать? Ничего не пойму». Он плюнул и ушел в дом.

Я тоже решил вернуться домой, чтобы позвонить в полицию. Пандерей, как оказалось, был очень занят, потому что Минотавр проломил решетку в камере и сбежал, так что Пандерею теперь нужно было организовывать облаву. Кто-то действительно часа полтора на-

печит наиболее стабильную во времени подачу электроэнергии потребителям.

А опреснение морских вод! Это исключительно важное дело, призванное в буквальном смысле слова «напоить жаждущее человечество» (имея в виду население многочисленных засушливых зон Земли), стало по настоящему развиваться лишь в самые последние годы, когда в качестве источника тепла в опреснительных установках начали использовать термоядерную энергию. Люди имеют теперь возможность получать из морской воды, количество которой практически неисчерпаемо, также неисчерпаемые количества пресной воды для пищи, промышленных нужд, озеленения жилых массивов, а заодно, всего лишь в виде побочного продукта при опреснении воды, иметь большое количество ценнейших (аммоний-магний-фосфатных) минеральных удобрений. Вопросами опреснения воды сейчас интенсивно занимаются во многих странах. В США только правительственным бюджетом 1966—70 гг. на эти

цели ассигновано двести миллионов долларов (не считая сумм, затрачиваемых частными фирмами, ведущими исследования и опытно-конструкторские работы). На побережье Каспийского моря, на выжженном солнцем и некогда совершенно пустынном полуострове Мангышлак, где теперь стоит новый город Шевченко, строится установка для опреснения воды производительностью сто двадцать тысяч тонн в сутки. Она будет использовать тепло ядерного реактора и явится первой в мире установкой, одновременно обеспечивающей производство пресной воды и электроэнергии.

По проблеме «Океан и жизнь» большинство докладов конгресса касалось увеличения количества пищи, извлекаемой человеком из моря. Коснемся лишь одного из проектов, волнующих морских биологов.

В настоящее время хорошие уловы рыбы берутся в основном вблизи берегов и на мелководьях, а в открытом океане из-за рассредоточения рыбных стад уловы, как

езд приезжал в мэрию, какое-то начальство, может быть, даже марсиане, ходит слухи, что марсиане, но насчет вырезания желудков никаких указаний не поступало, и вообще ему не до марсиан, потому что один Минотавр, на его взгляд, хуже всех марсиан вместе взятых.

Едва я положил трубку, как Гермiona поймала меня и принудила принять капли от экземы. Какое-то новое средство — гадость феноменальная. Затем я поспешил на «пятак».

Почти все наши толпились у входа в мэрию и яростно спорили по поводу каких-то странных следов в пыли. Оставил эти следы приезжавший марсианин, это им было точно известно. Морфей твердил, что таких чудовищ даже он, старый парикмахер и массажист, не видел еще никогда. «Пауки,— говорил он,— громадные мохнатые пауки. То есть самцы у них мохнатые, а самки голые. Ходят на задних лапах, а передними хватают. Видал следы? Жуткое дело! Словно дырки. Это он здесь прошел». «Дело не в том, что прошел,— рассудительно говорил Силен.— У нас на Земле сила тяжести больше, вот Апполон подтвердит, так что они просто ногами ходить не способны. Для этого у них есть специальные пружинные ходули, они-то и оставляют в пыли дырки». «Правильно, ходули,— невнятно подтверждал Япет с повязанной щекой.— Да только это не ходули. Это у них машина такая, это я в кино видел. Не на колесах у них машины, а на таких рычагах, на ходулях». «Опять наш казначей отвертелся,— сказал желчный Парал.— В прошлый раз град был необыкновенной силы, в позапрошлый объявилась саранча, а теперь вот он марсиан подстроил — на уровне эпохи, в связи с освоением космических пространств». «Не могу я на эти следы равнодушно смотреть,— твердил Морфей.— Жуткое дело. Пошли, старички, выпьем, а? Калаид, который уже давно бился, шипел и содрогался, произнес, наконец: «По-п-погодка нынче хорошая, старички! К-как спалось?» Всегда он из-за своего дефекта речи отстает от событий. А ведь он все-таки ветеринар, мог бы что-нибудь сказать полезное по поводу следов. «А Миртил уже деру дал,— сказал Димант, глупо хихикая.— Прощай, говорит, Димант, мы с тобой всегда были по-доброму. Посмотри, говорит, за бензоколонкой и, если что, сожги ты ее, говорит, чтобы не оставлять неприятелю». Тут я осторожно, спросил, что слышно о Марафинах. «Марафины, говорят, сожгли,— охотно ответил Димант.— Звонили, говорят, оттуда,

правило, мало результативны. А почему рыба в открытом океане рассредоточена? Потому, что там для нее не столь много пищи, сколько требуется для прокорма рыбных косяков. Ее нет в верхних слоях моря, но она, эта пища, лежит тут же под этими слоями — в глубинах океана; за миллионы лет здесь накопилось колоссальное количество органического вещества в виде «джджа» постоянно отмирающих в верхних слоях и падающих на дно животных. Представьте себе, что техника завтрашнего дня позволила бы нам подкачивать мощными насосами богатую органическими веществами воду с больших глубин и разливать ее в околповерхностных слоях, «удобряя» эти слои, как удобряют почву; или же, как предлагается некоторыми учеными, можно было бы соорудить на дне океана термоядерные установки, подогревающие воду и искусственно создающие отсутствующие в открытом океане мощные конвекционные токи, способные вынести на поверхность органические

вещества. Какие бы колоссальные уловы рыбы мы смогли тогда брать на бескрайних просторах открытых районов морей и океанов!

Все мы любим выдержавшую много изданий книгу «Человек и стихия», принадлежащую перу замечательного нашего писателя Маршака (псевдоним—М. Ильин). Читая и перечитывая эту книгу, мы не перестаем восхищаться мастерством, с которым писатель художественно выразительно и в то же время научно правильно сумел показать сложный процесс познания людьми физических явлений на границе моря и атмосферы и подчеркнуть исключительно важную в практическом отношении проблему предсказания происходящих там явлений.

Так вот, присутствуя на докладах, посвященных проблеме «Океан и атмосфера», я не мог отделаться от впечатления, что под сводами залов дворца науки на Ле-

предлагают сохранять спокойствие». Я совершенно уверился в том, что все это бессмысленные слухи, и приготовился было опровергать их, но тут раздался вой полицейской сирены, и мы все обернулись.

Через площадь заячьим зигзагом бежал, шатаясь, расхлябанный и опухший Минотавр, а за ним на полицейском вездеходе гнался Пандерей. Он стоял, держась за ветровое стекло, что-то выкрикивал и размахивал наручниками. «Все, сейчас догонит», — сказал Мофей. «Это как сказать, — возразил Димант. — Видал, что делает?» Минотавр подбежал к телеграфному столбу, обхватил его руками и ногами и стал карабкаться вверх. Однако Пандерей уже соскочил с машины и вцепился ему в штаны. Вдвоем с младшим полицейским они оторвали золотаря от столба, повалили его в вездеход и надели наручники. После этого младший полицейский уехал, а Пандерей, утираясь носовым платком и на ходу растегиваясь, направился к нам. «Поймал, — сообщил Мофей, обращаясь к Диманту. — Вечно ты споришь». Пандерей приблизился и спросил, что тут у нас новенького. Ему объяснили про марсианские следы. Он немедленно присел на корточки и погрузился в исследование обстоятельств. Я даже проникся к нему невольным уважением, потому что сразу бросалась в глаза настоящая профессиональная ухватка: он глядел на эти следы как-то сбоку и ничего не трогал руками. У меня появилось предчувствие, что вот сейчас все разъяснится. Пандерей двигался вдоль следов утицей, широко повода обтянутым задом, и все время повторял: «Ага... Все ясно... Ага... Ясно...» Мы нетерпеливо ждали, храня молчание, и только Калаид силился что-то сказать и шипел. Наконец Пандерей с криком выпрямился и, озирая площадь, словно бы в расчете кого-то обнаружить, отрывисто произнес: «Двое. Деньги вынесли в мешке. У одного трость с клинком, второй курит «Астру». Я тоже курю «Астру», — сказал желчный Парал, и Пандерей сразу на него уставился. «Кого двое? — спросил Димант. — Марсиан?» «Сначала я думал, что это не наши, — медленно проговорил Пандерей, не сводя глаз с Парала. — Сначала я подумал, что это ребята из Милеса, я их знаю». Тут разразился Калаид. «Н-н-нет, не догнать ему на машине, — объявил он. «А как же марсиане», — сказал Димант. «Не понимаю...» Пандерей, по-прежнему игнорируя прямые вопросы, разглядывал Парала. Дай-ка мне твою сигарету, старичок», — сказал он. «Это зачем?» — спросил Па-

нинских горах в эти дни писалась новая полнущая глава «Человека и стихии», что все, о чем говорилось в эти дни на конгрессе, — это еще один крупный шаг в познании сложнейших процессов на границе моря и атмосферы, рождения новых аккордов гимна власти человеческого разума над слепыми силами природы.

.. На трибуне — известный американский ученый Дж. Бьеркнес. Опираясь на результаты, достигнутые другими учеными и особенно советским климатологом Т. Г. Берляндом, Бьеркнес в результате многолетних исследований вскрыл сложный механизм «обратной связи» между температурой поверхностного слоя вод в тропической части Тихого океана и интенсивностью «крупномасштабных» (измеряемых месяцами и сезонами) процессов в атмосфере над океаном и прилегающими к нему материками. По выводам Бьеркнеса получается, например, что резкое повышение летних температур на поверхности океана в Южном полушарии неизменно сопровож-

дается усилением зимних бурь и ураганов в Северном полушарии Земли!..

Хорошо сформулировал значение этих исследований выдающийся советский моревед академик В. В. Шулейкин, с которым автору этих строк посчастливилось беседовать в кулуарах конгресса.

— Бьеркнес, — сказал Василий Владимирович, — сделал для улучшения прогнозов погоды над Северной Атлантикой то же самое, что мы, советские исследователи, сделали раньше для улучшения прогнозов погоды над Европой, изучив «крупномасштабное» взаимодействие вод Атлантики с прилегающей к ним частью атмосферы.

Вслед за седовласым Бьеркнесом на трибуну поднялся молодой канадский океанограф Р. Стюарт, исследующий «мелкомасштабное» взаимодействие океана и атмосферы. В зал заседаний как бы ворвался крепкий морской ветер и «заработал» над бесконечными просторами моря, образуя сначала белые барашки на гребнях волн, а затем мощное штормовое волнение...

раа. «Интересуюсь я посмотреть твой прикус,— объявил Пандерей,— а так же где ты сегодня был с шести до семи утра». Мы поглядели на Парала, и Парал сказал, что по его мнению Пандерей — самый большой дурак в мире, если не считать того кретина, который принял Пандерея на работу в полицию. Мы были принуждены с ним согласиться и принялись хлопотать Пандерея по спине, приговаривая: «Да, Пандерей, это ты, старик, дал маху. Не понял ты, старина Пан, что это следы марсиан? Это тебе не золотарь, Пан!» Пандерей начал понемногу разбухать, но тут из мэрии вышел одноногий Полифем и с ходу врезался в наше веселье. «Дрянное дело, старички! — озабоченно сказал он. — Марсиане наступают, взяли Милес! Наши отходят, жгут посевы, рвут за собой мосты!» У меня опять ослабели ноги, и у меня не стало даже сил протолкаться к скамейке и сесть. «Высадили десант на юге, две дивизии, — хрипел Полифем. — Скоро будут здесь!» «Они уже были здесь, — сказал Силен. — На таких специальных ходулях. Вон следы...» Полифем только глянул и сразу же с негодованием сказал, что это его следы, и все сразу поняли точно его. Даже не его, а его костыля. Для меня это было большим облегчением. А Пандерей, как только до него дошло, застегнул китель на все пуговицы и, глядя поверх голов, гаркнул: «Поговорили — все! Р-разойдись! Именем закона».

Я вошел в мэрию. Все там было забито какими-то плоскими мешками, которые стояли вдоль стен в коридорах, на лестничных площадках и даже в приемной. От мешков исходил незнакомый запах, и окна везде были раскрыты настежь, но в остальном все было как обычно. Господин Никострат сидел за своим столом и полировал ногти. Туманно ухмыляясь и с очень неясной интонацией, он дал мне понять, что о марсианах по долгу службы распространяться не имеет права, однако может положительно утверждать, что к вопросу о пенсии все это вряд ли имеет какое-нибудь отношение. Достоверно только одно: пшеницу в наших местах сеять отныне будет невыгодно, а выгодно будет сеять некий новый питательный злак с универсальными, как он выразился, свойствами. Вот в этих мешках содержатся семена, и с сегодняшнего дня их начнут распределять между фермами округи. «А откуда мешки?» — спросил я. «Доставлены», — ответил он веско. Я превозмог робость и осведомился, кто их доставил. «Офици-

Преодолев большие математические трудности строгого выражения этого сложного процесса, Стюарт, в частности, пришел к такому любопытному выводу: от штормового ветра, дующего над морем со скоростью около тридцати метров в секунду в течение двенадцати часов, воде передается гораздо больший запас энергии, нежели от ветра силой семь-восемь метров в секунду, дующего целый месяц!

С большим вниманием участники конгресса выслушали доклад академика Шулейкина о его многолетних теоретических и экспериментальных исследованиях морского ветрового волнения, ознакомились с основными выводами его строгой физикоматематической теории этого процесса, дающей прямой выход в практику — в предсказание волнений, просмотрели интересный кинофильм о работе созданного академиком «штормового бассейна» — кольцевого сооружения, где можно искусственно создавать волны любой величины.

Много внимания было уделено конгрес-

сом результатам изучения огромных «рек и жидких берегах» — океанических и морских течений. Это тоже важный элемент взаимодействия океана и атмосферы, так как теплые течения смягчают климат на огромных пространствах, а холодные, наоборот, делают его более суровым. Американский океанограф Д. Клаусс рассказал о последних исследованиях изменчивости переноса вод (а стало быть и тепла) в системе крупнейшего течения Атлантического океана — Гольфстрима, в значительной степени определяющего климат и погоду над всем европейским континентом. В последние годы все большее внимание привлекает открытие стремительных течений, пересекающих океаны в их экваториальной части на глубинах в пятьдесят-двести метров. Можно смело сказать, что обнаружение этих течений явилось крупнейшим географическим открытием в океане за последние десятилетия. Группа советских ученых во главе с профессором А. Г. Колесниковым сделала на конгрессе инте-

ликие лица», — сказал он, выбрался из-за стола, извинился и развинченной своей походкой удалился в кабинет мэра. Я зашел в канцелярию и побеседовал с машинистками и со сторожем. Как это ни странно, они подтвердили почти все слухи о марсианах, но не оставили у меня впечатления подлинной информированности. Ох, уж мне эти слухи! Никто в них не верит, но все их повторяют. Дело доходит до искажения простейших фактов. Вот, например, Полифем и его взорванные мосты. Что было на самом деле? Полифем явился на «пятачок» первым. Его увидели из окна и пригласили в канцелярию починить пишущую машинку. Пока он трудился, развлекая девиц рассказом о том, как ему оторвало ногу, в канцелярию вошел господин мэр, постоял, послушал с задумчивым видом, произнес загадочную фразу: «Да, господа, мосты, видимо, сожжены» и вернулся в свой кабинет, откуда немедленно потребовал бутерброды с сардинами и бутылку маргосского пива. А Полифем растолковал девицам, что мосты обыкновенно уничтожают за собой при отступлении, дабы воспрепятствовать продвижению противника. Остальное понятно. Глупость какая! Я считал своим долгом объяснить служащим мэрии, что таинственная фраза господина мэра означает всего-навсего: решение принято бесспорно. Естественно, на всех лицах изобразилось сразу же облегчение, смешанное, впрочем, с некоторым разочарованием.

На «пятачке» никого не оказалось, Пандерей всех разогнал. Почти совсем уже успокоившись, я направился к Ахиллесу рассказать о новых моих приобретениях и прощупать почву относительно архитектурной серии: может быть он возьмет гашеную, раз чистою все равно не достать. Ведь берет же он с наклейками. Однако Ахиллес тоже находился под гнетом распространившихся слухов. На мое предложение он рассеянно ответил, что подумает, и тут же, сам того не заметив, подал мне блестящую идею. «Марсиане, — сказал он, — новая власть. А ты знаешь, Феб, новая власть — новые марки». Я поразился, как эта простая мысль не пришла мне в голову самому. Действительно, если бы слухи были хоть отчасти верны, то первой же разумной акцией этих мифических марсиан был бы выпуск новых, своих марок или, по крайней мере, надпечатывание наших старых. Я торопливо простился с Ахиллесом и прямоком направился на почту. Ну, конечно же, никакой корреспонденции с новыми марками не поступало и вообще ничего

важный доклад об открытии ими во время экспедиций на экспедиционном судне «Минин Ломоносов» такого течения в Атлантическом океане.

Но как ни важны отдельные звенья взаимодействия океана и атмосферы — крупномасштабные и мелкомасштабные взаимодействия, волнение, течения и другие, и хотя в изучении каждого из этих звеньев еще остается непочатый край работы, пока братья за синтезирующие проблемы, пытаться проанализировать все эти явления вместе, установить, как выглядят сложности их взаимного переплетения. Пионерами в этом исключительно сложном деле стали советские ученые Д. Л. Лайхтман и В. А. Каган. Они нашли изящные способы решения сложных дифференциальных уравнений, совместно описывающих явления в океане и в атмосфере над ним, и предложили путь одновременного расчета как распределения с глубиной скорости течений в море, так и распределения с высотой скорости ветра над морем.

Доклады и сообщения по проблеме «Океанография Индийского океана и Антарктики» строились в основном на материалах экспедиционных исследований последних лет в этих водах, знания о которых дружными усилиями ряда государств постепенно подтягиваются к уровню знаний о более изученных районах Мирового океана. В Индийском океане с 1959 по 1965 год работала международная экспедиция в составе судов СССР, США, Индии, Англии, Японии, Австралии и некоторых других стран. На конгрессе были доложены новейшие выводы из наблюдений этой экспедиции. Много интересного, нового узнали участники конгресса от своих коллег-океанографов, плававших в Индийском океане, об этом оригинальном бассейне, где сезонные ветры-муссоны регулярно два раза в год меняют всю систему течений на противоположную, где воды кишмя-кишат рыбой, столь мало еще используемой рыбаками, но столь необходимой для под-

нового на почте не было. Когда мы, наконец, отучимся верить слухам? Ведь хорошо известно, что Марс обладает чрезвычайно разреженной атмосферой, климат его чрезмерно суров, и почти отсутствует вода, являющаяся основой всякой жизни. Мифы о каналах давно и решительно развенчаны, ибо каналы оказались ничем иным, как оптическим обманом. Короче говоря, все это напоминает мне панику в позапрошлом году, когда одноногий Полифем бегал по городу с дробовиком и кричал, что из столичного зоопарка бежал гигантский тритон-людоед. Миртил тогда ухитрился вывезти весь дом и не решился вернуться в город две недели.

Сумеречный разум моих необразованных сограждан, убаюканный монотонной жизнью, при малейших колебаниях рождает поистине фантастические призраки. Наш мир подобен погруженному в ночной сон курятнику, где стоит лишь нечаянно коснуться перышка какой-нибудь пеструшки, дремлющей на шестке, как все приходит в неопределяемое волнение, мечется, кудахчет и разбрасывает помет во все стороны. А по-моему, жизнь и без того достаточно беспокойна. Всем нам следовало бы беречь свои нервы. Я считал, что слухи опасны для здоровья в гораздо большей степени, чем даже курение. Автор доказывал это с цифрами в руках. Там еще было написано, что сила воздействия панического слуха прямо пропорциональна невежеству масс, и это верно, хотя должен признаться, что даже самые образованные из нас удивительно легко поддаются общему настроению и готовы мчаться куда глаза глядят вместе с обезумевшей толпой.

Все это я намерен был рассказать нашим, когда по дороге в трамвай заметил, что на «пяточке» вновь собралась толпа. Я повернул туда и убедился, что слухи уже оказали свое разрушительное действие. Моих рассуждений и слушать никто не стал. Все были возбуждены сверх всякой меры, а ветераны потрясали оружием, которое не успели должным образом освободить от смазки и которое сильно пачкало их одежду, равно как и платье окружающих. Выяснилось, что из казарм восемьдесят восьмого пехотного полка пришли в увольнение солдаты и рассказали нечто несообразное.

ема уровня жизни населения омываемых этими водами стран.

По океанографии Антарктики на конгрессе преобладали доклады советских ученых. Оно и понятно. Подобно тому, как наша страна первой начала работы в Международной Индоокеанской экспедиции (рейсом на «Витязе» еще в 1959 году), она первой начала современные океанографические исследования и в Антарктике, куда еще в 1955 году в порядке подготовки к Международному геофизическому году (а затем — и для работ по программе этого года) систематически совершало рейсы комплексной антарктической экспедиции исследовательское судно «Обь» с отрядом комплексной арктической экспедиции на борту. Эта замечательная экспедиция и поныне работает в Антарктике. Часть добытых ею богатейших научных материалов была обнародована на конгрессе — советские ученые щедро поделились со своими коллегами всем тем, что может укрепить совместные усилия ученых мира

по раскрытию тайн ледяного континента и омывающих его вод.

Особо рассматривались на конгрессе вопросы, связанные с повышенной радиоактивностью океанских вод в последние десятилетия. Этому тревожному обстоятельству, вызванному серией ядерных испытаний в воздухе над океанами, был посвящен специальный симпозиум конгресса «Радиоэкология и радиоактивность океана». Итоги работы этого симпозиума повел японский химик-океанограф К. Суэвара, произнесший взволнованную речь на закрытии конгресса 9 июня в Кремлевском дворце съездов.

— Море — это наша общая мать и кормилица, мать всех народов, — сказал он. — И мы должны сообща позаботиться о здоровье своей матери... Ей угрожает смертельная опасность — радиоактивное загрязнение вод и обитающих в них организмов. Наш долг — оградить море от этой опасности.

Позапрошлой ночью полк был поднят по тревоге и в течение некоторого времени, а именно до утра, в полной боевой готовности просидел в бронетранспортерах и грузовиках на плацу. Утром тревогу отменили, и вчерашний день прошел обычным порядком. Этой ночью все повторилось с той, однако, разницей, что утром в казармы прибыл на вертолете полковник генерального штаба, приказал выстроиться полк в каре и, не вылезая из вертолета, произнес длинную, совершенно непонятную речь, после чего улетел, и тогда полк почти целиком распустили в увольнение. Надо сказать, что солдаты, успешные уже порядочно подзаправиться у Япета, говорили крайне невнятно и что и дело начинали известную неприличную песню «Ниоба-Ниобей, ни-оболько не робей...» Однако было ясно, что в речи полковника генерального штаба о марсианах не было сказано ни слова. Полковник говорил, собственно, только о двух вещах — о патриотическом долге солдата и о его желудочном соке, причем каким-то неувловимым образом связывал два эти понятия воедино. Сами солдаты во всех этих историях не разобрались, но поняли твердо, что всякий, кто с нынешнего утра был пойман сержантом с жевательной резинкой «нарком» или с сигаретой «опи», немедленно загремит в карцер на десять суток и будет там сгноен. Сразу после отлета полковника командир полка, распуская каре, приказал младшим офицерам и сержантам произвести в казармах тщательные обыски на предмет изъятия всех сигарет и жевательных резинок, содержащих тонизирующие вещества. Больше солдаты ничего не знали да и знать не хотели. Крепко обняв друг друга за плечи, они с таким угрожающим видом грянули: «Ниоба-Ниобей, скучаю по тебе я», что мы поспешно расступились и выпустили их.

Тут Полифем со своими костылем и дробовиком взгромоздился на скамейку и заорал, что генералы нас предали, что кругом шпионы и что настоящие патриоты должны сплотиться вокруг знамени, поскольку патриотизм и так далее. Этот Полифем жить не может без патриотизма. Без ноги он жить может, а вот без патриотизма у него не получается. Когда он охрип и замолчал, чтобы перекурить, я попытался все-таки как-то вразумить наших и стал рассказывать, что жизни на Марсе нет и быть не может, все это выдумки. Однако говорить мне опять не дали. Сначала Морфей сунул мне под нос утреннюю столичную газету с большой статьей «Есть ли жизнь на Марсе?». В этой статье все прежние научные данные подвергались ироническому сомнению, а когда я, не расстерявшись, попробовал дискутировать, Полифем протиснулся ко мне, схватил меня за ворот и грозно захрипел: «Длительность усыпляешь, зараза? Шпион марсианский, дерьмо пленное! К стенке тебя!» Я не могу, когда со мной так обращаются. У меня началось сердцебиение, и я крикнул полицию. Хулиганство

После закрытия конгресса его зарубежными участниками совершили экскурсию на остров, интересный для океанографов как своеобразная природная лаборатория — наблюдения многих процессов в ней натапливаются на разгадку еще более сложных и до менее доступных для непосредственного изучения процессов на открытых просторах океанов и морей.

Нет сомнения, что исследования океанов шире и впредь будут осуществляться на широкой международной основе, путем

объединения усилий океанографов всего мира. Ведь океан «ничей», и в то же время он принадлежит всем. Именно на попрание океанографических исследований, как нигде больше, могут и должны рождаться и крепнуть международные научные связи, направленные на улучшение жизни человечества и вносящие неоценимый вклад в дело всеобщего мира и братства трудовых людей нашей планеты.

А. ПЛАХОТНИК,
кандидат географических наук

накое! В жизни Полифему этого не прощу. Что он себе воображает? И вырвался, обозвал его одноногой свиньей и ушел в трактир.

Приятно было убедиться, что патристические вопли Полифема были противны не только мне. В трактире уже находился кое-кто из наших. Все обсели Кронида-архивариуса, поили его по очереди пивом и выпытывали насчет утреннего посещения марсиан. «Чего там марсиане,—говорил Кронид, с трудом ворочая белками.—Марсиане как марсиане. Одного зовут Калханд, другого—Элей, оба южане, с такими вот носами...» «Ну, а машина?»—спрашивали его.—«Машина как машина, черная, летает... Нет, не вертолет. Летает и все. Да что я вам—летчик. Откуда я могу знать, как она летает?..» Я пообещал дождаться, пока от него отстанут, взял две порции джина и подсел к нему. «Насчет пенсий ничего нового не слышно?»—спросил я. Однако Кронид уже ничего не понимал. Глаза у него слезились, он только хлопал, как автомат, рюмку за рюмкой и бормотал: «Марсиане как марсиане, один Калханд, другой Элей... Черные, летают... Нет, не дрижабли... Эбей, говорю... Не я, а летчик...» Потом он заснул.

Когда в трактир ввалился Полифем со своей бандой, я демонстративно пошел домой. Миртил так и не уехал. Он снова разбил свою пилатку, сидит и варит ужин на газовой плитке. Артемиды дома не было, ушла куда-то, не сказавшись, а Гермiona чистила ковры. Чтобы успокоиться, я занялся реставрацией марок. Приятно все-таки думать, какого мастерства я достиг. Не знаю, способен ли кто-нибудь отличить мой наведенный клей от настоящего. Во всяком случае, Ахиллес не способен.

Теперь о сегодняшних газетах. Удивительные нынче газеты. Почти все полосы заняты рассуждениями различных медиков о разумных режимах питания. С каким-то противоестественным негодованием говорится о медицинских препаратах, содержащих опий, морфин и кофеин. Что же, если у меня теперь заболит печень, я должен терпеть? Ни в одной газете нет филателистического отдела, о футболе—ни слова, зато все газеты перепечатывают гигантскую, совершенно бессодержательную статью о значении желудочного сока. Можно подумать, что я и без них не знаю, какое значение имеет желудочный сок. Ни одной телеграммы из-за границы, ни слова о последствиях эмбарго—завели глупую дискуссию о пшенице, в пшенице, мол, не хватает витаминов, пшеница, мол, слишком легко поражается вредителями, а некий Марсий, магистр сельскохозяйственных наук, договорился до того, что тысячелетняя история культивирования пшеницы и других полезных злаков (овса, кукурузы, маиса) является всемирной ошибкой человечества, каковую ошибку, впрочем, еще не поздно исправить. Я в пшенице ничего не понимаю, специалистам виднее, но статья написана в недопустимо критиканском, я бы сказал, в подрывном тоне. Сразу видно, что этот Марсий—типичный южанин, нигилист и крикун.

Вот уже двенадцать часов, а Артемиды все нет. И домой она не вернулась, и в саду ее не видно, а между тем на улицах полно пьяных солдат. Могла хотя бы позвонить, где находится. Я все жду—придет Гермiona и спросит, что происходит с Артемидой. Представления не имею, как я буду отвечать. Не люблю я таких разговоров, не выношу. Спрашивается, в кого у меня такая дочь? Покойница была очень скромная женщина, единственный раз только она увлеклась городским архитектором, но увлечение это было: две-три записочки, одно письмо. И сам я никогда не был кобелем, как выразился бы Полифем. До сих пор с ужасом вспоминаю свой визит к мадам Персефоне. Нет, такое времяпрепровождение не для цивилизованного человека. Все-таки любовь, даже самая что ни на есть плотская, это та

ство, и заниматься любовью в компании даже хорошо знакомых и доброжелательных людей совсем не так увлекательно, как это описывается в некоторых книгах. Упаси бог, я, конечно, же не думаю, что моя Артемида предается сейчас вакхическим пляскам среди бутылок, но она могла бы по крайней мере позвонить. Можно только удивляться глупости моего зятя. Я бы на его месте давно вернулся.

Я совсем уже собрался было закрыть дневник и отправиться спать, когда в голову мне пришла следующая мысль. А Харон ведь, по-видимому, недаром так задержался в Марафинах. Страшно подумать, но я, кажется, догадываюсь, в чем тут дело. Неужели же они решились? Я вспоминаю сейчас все эти сборища под моей крышей, этих его странных приятелей с вульгарными привычками и скверными манерами — какие-то механики с грубыми голосами, пьющие виски без сельтерской и курящие отвратительные дешевые сигары; какие-то стриженные крикуны с болезненным цветом лица, щеголяющие в джинсах и пестрых рубашках, никогда не вытирающие ноги в передней; все их разговоры о всемирном правительстве, о какой-то технологии, об этих немисленных «измах», органическое неприятие все, что гарантирует мирному человеку покой и безопасность; я вспоминаю и понимаю теперь, что произошло. Да, мой зять и его сообщники были экстремистами, и вот они выступили. Все эти разговоры о марсианах — это, конечно, искаженные отголоски истинных событий. Говорщики всегда обожали громкое, таинственное звучащее слово, не исключено, что теперь они называют себя «марсианами» или как-нибудь «обществом по благоустройству планеты Марс», или, скажем, «марсианским возрождением». Даже то, что магистр сельскохозяйственных наук носит имя Марсий, звучит для меня многозначительно: вполне вероятно, он является главой переворота. Что остается непонятным, так это неприязнь путчиков к пшенице и нелепая заинтересованность в желудочном соке. Наверное, это просто отвлекающий маневр для того, чтобы сбить с толку общественность.

Конечно, я плохо разбираюсь в путчах и революциях, мне трудно дать объяснение всему, что сейчас происходит, но я знаю одно. Когда нас гнали как баранов замерзнуть в окопах, когда черные рубашки падали наших жен на наших же постелях, где вы были тогда, господа экстремисты? Тоже навешивали на себя значки и орали: «Да здравствует вождь!» Если вам так нравятся перевороты, почему вы делаете их всегда во времена? Кому вы сейчас нужны с вашими переворотами? Мне? Или Миртиду? Или, может быть, Ахиллесу? Почему вы не оставите нас в покое? Все вы, господа, унтер-офицеры, и ничем вы не лучше дурака-патриота Полифема.

Экзема, дрянь, замучила. Чешусь, как обезьяна на ярмарке, никакие капли не помогают, никакие мази. Врут все аптекари. Никакие лекарства мне не нужны. Покой мне нужен, вот что!

Если у Харона достанет ума не остаться в задних рядах, первый разряд мне обеспечен.

5 ИЮНЯ. Этой ночью спал плохо. Сначала разбудила Артемида, которая явилась только в час полуночи вся в запудренных пятнах. Я совсем решился поговорить с ней начистоту, но ничего не вышло: она меня поцеловала и заперлась в своей спальне. Пришлось принять снотворное, чтобы успокоиться. Задремал, приснилась какая-то ерунда. А в четыре часа утра я был опять разбужен, на этот раз Хароном. Все спят, а он разговаривает громко, на весь дом, словно, кроме него, здесь никого нет. Я накинул халат и вышел в гостиную. Господи, на него смотреть было страшно. Я сразу понял, что переворот не удался.

Он сидел за столом, жадно поедая все, что ему приносила заспанная Артемида, и тут же на столе, прямо на скатерти, были разложены намасленные части какого-то огнестрельного оружия. Он был небрит,

мометр. Экзема совсем замучила, приходится бинтовать руки. Вдобавок ноют обмороженные уши — наверное к перемене погоды. Марсиане, так марсиане. Надоело мне об этом спорить.

7 ИЮНЯ. Глаз до сих пор болит, заплаыл и ничего не видит. Хорошо, что это левый глаз. Примочки Ахиллеса помогают лишь отчасти. Ахиллес говорит, что синяк будет замечен не менее недели. Сейчас он красно-синий, потом сделается зеленым, потом пожелтеет и исчезнет совсем. Какая все-таки жестокость, какое бескультурие! Ударить пожилого человека, всего лишь собиравшегося задать невинный вопрос. Если марсиане начинают с этого, то я не знаю, чем они кончат. И жаловаться некому, одно только и останется делать — ждать прояснения обстановки. Глаз так болит, что страшно даже вспоминать, как я радовался сегодняшнему безмятежному утру. (Температура плюс двадцать, облачность ноль баллов, ветер южный, один метр в секунду).

Когда позавтракав, я поднялся на чердак, чтобы произвести метеорологические наблюдения, я с некоторым удивлением заметил, что поля за городом приняли определенно синеватый оттенок. Вдали поля до такой степени сливались с лазурью неба, что линия горизонта как таковая была совершенно размыта, хотя прозрачность воздуха была очень хороша и всякая дымка отсутствовала. Эти новые марсианские семена взошли удивительно быстро. Надо ожидать, что не сегодня-завтра они окончательно забьют пшеницу.

Придя на площадь, я обнаружил, что почти все наши, а также огромное количество прочих обывателей, которым надлежало бы быть сейчас на работе, фермеров, а также школьников, которым надлежало бы заниматься играми, столпилось вокруг трех больших автофургонов, украшенных разноцветными плакатами и рекламными картинками. Я подумал было, что это бродячий цирк, тем более, что реклама предлагали полюбоваться несравненными канатоходцами и другими обыкновенными героями манежа, однако Морфей, стоявший здесь уже давно, объяснил мне, что никакой это не цирк, а передвижные донорские пункты. Внутри там помещаются специальные насосы с кишками, и при каждом насосе сидит здоровенный детина в докторском халате, который предлагает каждому, кто заходит, отсосать излишки, и дает удивительную цену: пятерку за стакан: «Какие излишки?» — спросил я. Оказалось, что излишки желудочного сока. Весь мир помешался на желудочном соке. «Неужели это марсиане?» — спросил я. «Какие там марсиане, — сказал Морфей. — Здоровенные волосатые парни. Один кривой». «Ну и что же, что кривой? — естественно возразил я. — Представитель любой расы, будь то на Земле или на Марсе, если ему повредят один глаз, становится кривым». Тогда я еще не знал, что эти мои слова являются пророчеством. Просто меня раздражало самомнение Морфея. «В жизни не слыхал о кривых марсиан», — заявил он.

Публика вокруг прислушивалась к нашему разговору, и он в приступе тщеславия счел необходимым поддержать свое сомнительное реноме дискуссионера. А ведь ничего в этом предмете не смыслил. «Никакие это не марсиане, — заявляет он. — Обыкновенные ребята из столичных пригородов. Там таких дюжина на каждый трактир». «Наши сведения о Марсе настолько скудны, — спокойно говорю я, — что предположение, будто марсиане похожи на парней из пригородных трактиров, во всяком случае не противоречит никакой научной истине». «Это точно, — вмешивается стоящий рядом незнакомый фермер. Это вы очень убедительно сказали, господин не-знаю-как-вас-звать. У этого кривого руки по локоть в татуировке, и все голые бабы. Как засучил он рукава, да как подошел ко мне с этой кишкой — не думаю, ни к чему нам это». «Так что говорит наука насчет татуиров-

ки у марсиан?» — ехидно спрашивает Морфей. Это он хотел меня уколоть. Дешевый прием, от него так и разит парикмахерской. Такими шутками меня не собьешь. «Профессор Зефир,— говорю я, глядя ему прямо в глаза,— главный астроном Марафинской обсерватории ни в одной из своих многочисленных статей не отрицает такого обыкновения у марсиан». «Это точно,— подтверждает фермер.— Они в очках, им виднее». И Морфею пришлось все это проглотить. Он закашлялся и со словами: «Пива выпить...» стал выбираться из толпы, а я остался ждать, что будет дальше.

Некоторое время ничего не было. Все только стояли, глазели и тихо переговаривались. Фермеры да торговцы, нерешительный народ. Потом в первых рядах произошло движение. Какой-то сельский житель сорвал вдруг с себя соломенную шляпу, с размаху ударил ее себе под ноги и громко закричал: «Эх! Пять монет — тоже деньги, не так что ли?» Произнес эти слова, он решительно поднялся по ступенькам деревянной лестнички и просунул в дверь фургона, так что нам осталась видна лишь задняя половина его туловища, вся в пыли, в репьях. Что он там говорил и о чем спрашивал — за дальностью расстояния осталось неизвестным. Я видел только, что вначале поза его была напряженной, затем он как бы расслабился, принялся переступать ногами, сунул руки в карманы и, подавшись назад, покачал головой. Затем он, ни на кого не глядя, осторожно опустился на землю, подобрал свою шляпу и, тщательно потряхнув ее от пыли, смешался с толпой. В двери же фургона возник человек действительно очень большого роста и действительно кривой на один глаз. Если бы не белый халат, он со своей черной повязкой через лицо, небритой щетиной и волосатыми татуированными руками вполне сошел бы за преступного обитателя трущоб. Мрачно оглядев нас, он неторопливо опустил завернутые рукава, вытащил сигарету и, закурив, произнес грубым голосом: «А ну, заходи! Пять монет дается. За каждый стаканчик пять монет. Деньги ведь! Наличными. Ты за пять монет сколько горб ломать должен? А здесь проглотил кишку, и вся недолга? Ну?» Я смотрел на него и не мог надивиться близорукости администрации. Да как же можно рассчитывать, что обыватель и даже фермер согласится доверить свой организм такому громиле? Я выбрался из толпы и пошел на «пятак».

Все наши были уже там, все с дробовиками, а некоторые и с белыми повязками на рукавах. Полифем напялил старую военную фуражку и, обливаясь потом, произносил речь со скамейки. У него выходило, что злодеяния марсиан стали уже абсолютно нестерпимыми, что все патриоты стонут и обливаются кровью под их игом, и что пришла наконец пора дать настоящий отпор. А виною всему, утверждал Полифем, являются дезертиры и предатели вроде толстозадых закравшихся генералов, аптекаря Ахиллеса, труса Миртила и этого отступника Аполлона.

В глазах у меня потемнело, когда я услышал последние слова. Я совершенно потерял дар речи и опомнился только, заметив, что никто, кроме меня, Полифема не слушает. Все, оказывается, слушали не одного дурака, а Силена, который только что вернулся из мэрии и рассказывал, будто налоги впредь будут взиматься исключительно желудочным соком и что из Марафин пришло указание, приравнивающее отныне желудочный сок к обычным денежным единицам. Желудочный сок, якобы, будет теперь иметь хождение наравне и все банки и сберегательные кассы готовы обменивать его на валюту. Желчный Парал сейчас же заметил:

«Окончательно докатились. Золотой запасец порастранжирили и теперь желудочным соком деньги обеспечить пытаются». «Как же

это так? — сказал Димант. — Не понимаю. Это что же, теперь нужно будет посуду специальную заводить, вроде кошелев? А если я им соку вместо воды принесу?» «Слушай, Силен, — сказал Морфей. — Я тебе десятку должен. Соком возьмешь?» Очень он оживился, вечно ему не хватало денег на выпивку, вечно он пил за чужой счет. «Хорошие времена, старички! — воскликнул он. — Захочется мне, например, выпить, иду это я в банк, выдаю им излишки, получаю наличными и — в трактир». Тут Полифем снова заорал. «Купили вас! — орал он. — Продались марсианам за желудочный сок! Вы тут продались, а они вон по городу разъезжают, как по своему Марсу!»

И действительно, через площадь медленно и совсем не производя никакого шума двигалась очень странная машина черного цвета, словно бы вовсе без колес, без окон и без дверей. За нею с криками и свистом бежали мальчишки из пятого «Б» класса, некоторые пытались прицепиться к ней сзади, но она была совершенно гладкая, как рояль, и прицепиться им было не за что. Очень необычная машина. «Неужели она действительно марсианская?» — спросил я. «Ну, а чья же еще?» — раздраженно сказал Полифем. — Твоя, что ли?» «Никто не говорит, что моя, — возразил я ему. — Мало ли машин на свете, что же они все марсианские?» «А я и не говорю, что все, требуха ты старая! — заорал Полифем. — Я говорю, марсиане, гады, разъезжают по городу, как у себя дома! А вы тут все продались!» Я только плечами пожал, не желая связываться, а Силен очень рассудительно ответил ему. «Извини, Полифем, но твои крики начинают меня утомлять. И не одного меня. По-моему, мы все исполнили свой долг. Мы вступили в дружину, мы почистили оружие, что же еще, спрашивается?» «Патрули! Патрули нужны! — с надрывом сказал Полифем. — Дороги надо перекрывать! Не пропускать марсиан в город!» «Да как же ты их пропустишь?» «Да черт бы тебя подрал, Силен. Как же пропустишь? Очень просто! Стой, кто идет? Буду стрелять!» Не могу я этого слушать. Не человек, а казарма. «Ну, может, создадим патрули?» — сказал Димант. — Трудно нам, что ли?» «Это не наше дело, — решительно сказал я. — Пусть вот Силен подтвердит, что это незаконно. На то есть армия. Пускай она и занимается патрулями и всякой стрельбой».

Не выношу я этих военных игр, в особенности, если командует Полифем. Садизм какой-то. Были, помню, у нас в городе противогазные учения, так он для полной имитации разбросал везде дымовые шашки, чтобы никто не манкировал противогазами. Сколько людей отравилось — это же кошмар. Он же унтер-офицер, ему ничего поручать нельзя. Или однажды приперся в школу на урок гимнастики, преподавателя изругал последними словами и принялся на своей ноге подзывать ребятишкам строевой шаг. Ведь если его в патруль поставить, он будет палить из своего дробовика по каждому, пока в город не доставят подвозить не перестанут. Он и по марсианам, пожалуй, шарахнет, чего доброго, а те в отместку возьмут и город сожгут. По наше старичье, как дети, ей-богу. В патрули, так в патрули. План у меня демонстративно и пошел в марию.

Господин Никострат полировал ногти и на мои стесненные вопросы ответил примерно так. Финансовая политика правительства в новых условиях несколько меняется. Большую роль в денежном обращении будет теперь играть так называемый желудочный сок. Следует ожидать, что в ближайшее время указанный сок начнет иметь хождение наравне с деньгами. Специального распоряжения о пенсиях пока нет, но есть веские основания полагать, что раз налоги взимаются так называемым желудочным соком, то и пенсии будут выплачиваться все тем же так называемым желудочным соком. Сердце у меня упало, но я собрался с духом и прямо спросил господина Никострата,

нельзя ли понимать его слова так, что этот так называемый желудочный сок не является собственно желудочным соком, а представляет собой некий символ новой финансовой политики. Господин Никострат неопределенно пожал плечами и, продолжая рассматривать ногти, произнес: «Желудочный сок, господин Аполлон, это желудочный сок». «Зачем же мне желудочный сок?» — спросил я в полном отчаянии. Он вторично пожал плечами и заметил: «Вы же прекрасно знаете, что желудочный сок необходим каждому человеку». Мне было абсолютно ясно, что господин Никострат либо врет, либо чего-то не договаривает. Я так отчаялся, что потребовал свидания с господином мэром. Но мне было отказано. Тогда я покинул мэрию и записался в патруль.

Если человеку, беспорочно проработавшему тридцать лет на ниве народного просвещения, предлагают в награду пузырек желудочного сока, то этот человек вправе демонстрировать любую степень негодования. Марсиане тут виноваты или не марсиане — не имеет решительно никакого значения. Я не выношу никаких анархических действий, но за свои права готов драться с оружием в руках. И хотя всем件нятно, что протест мой носит чисто символический характер, пусть они об этом задумаются, пусть они знают, что имеют дело не с тварью бессловесной. Конечно, если бы донорские пункты стали у нас системой и если бы банк и сберегательная касса действительно принимали бы желудочный сок в обмен на валюту, я отнесся бы ко всему этому иначе. Однако о банках и сберкассах рассказывал один только Силен, и это пока всего лишь неподтвержденный слух. А что касается донорских пунктов, то Морфей, записавшись в патруль и решив немедленно sprysнуть это дело, отдал себя в руки кривого громилы, вернулся с красными слезящимися глазами и, показав нам новенькую хрустящую пятерку, сообщил, что фургоны сейчас уезжают. Значит, ни о какой системе не может быть и речи: приехали и уехали. Успел сдать излишки — хорошо, не успел — пеняй на себя. По-моему, это возмутительно.

Полифем назначил меня в паре с заикой Калаидом патрулировать площадь Согласия и прилегающие к ней улицы с двенадцати до двух часов ночи. Выдав нам удостоверения, написанные от руки Силеном, он растроганно похлопал меня по плечу и сказал: «Старая гвардия! Что бы эти дерьмовые шпаки делали без нас, Феб? Я знал, что в решительный час ты будешь рядом». Мы обнялись и прослезились оба. В сущности ведь Полифем неплохой человек, просто он любит, чтобы ему подчинялись беспрекословно. Вполне понятное желание. Я попросил у него разрешения быть свободным и направился к Ахиллесу. Патруль патрулем, а на всякий случай следовало предпринять кое-какие меры. Что такое желудочный сок, спрашивал я Ахиллеса. Кому он может понадобиться? На что он годен? Ахиллес сказал, что этот сок нужен для успешного переваривания пищи и, пожалуй, больше ни для чего. Это я и без него знал. «Скоро я смогу предложить тебе большую партию так называемого желудочного сока, — сказал я. — Может быть, возьмешь?» Он ответил, что подумает, и тут же предложил обменять мой неполный «зоосад» на беззубцовую авиапочту двадцать восьмого года. Ничего не скажешь, беззубцовочка эта — вещь уникальная, но у Ахиллеса она с двумя наклейками и с каким-то салым пятном. Не знаю, не знаю.

Выйдя из аптеки, я снова увидел марсианскую машину. Возможно, это была та самая машина, а может быть и другая. Нарушая все правила уличного движения, она плыла посередине улицы, двигаясь, правда, со скоростью пешехода, так что я имел возможность хорошо рассмотреть — я шел в трактир, и нам было по пути. Самое первое мое впечатление оказалось совершенно правильным: более всего ма-

шина походила на очень запыленный рояль обтекаемой формы. Время от времени под нею что-то вспыхивало, и она слегка подпрыгивала, но это, видимо, не было неисправностью, потому что она продолжала неуклонно продвигаться вперед, не останавливаясь ни на секунду. Ни окон, ни дверей различить было нельзя даже с близкого расстояния, но больше всего меня поражало отсутствие колес. Правда, мое сложение не позволяло мне нагнуться достаточно низко, чтобы заглянуть под днище. Вероятно, там все-таки были колеса — не может же быть, чтобы так уж ни одного колеса не было.

Неожиданно машина остановилась. И конечно же, она остановилась перед особняком господина Лаомедонта. Помнится, я с горечью подумал: ведь есть же на свете люди, для которых новый ли президент, старый ли президент, марсиане или кто-нибудь еще — не составляет никакой разницы. Всегда, думал я, любая власть относится к ним с уважением и вниманием, которого они отнюдь не заслуживают и даже, если говорить об уважении, наоборот. Однако произошло нечто совершенно неожиданное. Справедливо полагая, что из машины сейчас кто-то выйдет и я увижу, наконец, живого марсианина, и остановился в сторонке и стал наблюдать вместе с другими обывателями, ход мыслей которых совпадал, по-видимому, с моим. К нашему изумлению и разочарованию из машины, однако, вышли вовсе не марсиане, а какие-то приличные молодые люди в узких пальто и одинаковых беретах. Трое из них подошли к парадному входу и позвонили, а двое в свободных позах, засунув руки глубоко в карманы своих пальто, расположились рядом с машиной, опершись на нее разными частями тела. Парадная дверь открылась, трое вошли внутрь, и оттуда сейчас же донеслись странные, не очень громкие звуки, словно кто-то один принялся там небрежно передвигать мебель, а другие стали размеренными ударами выбивать ковер. Двое, оставшиеся возле машины, не обращали на эти звуки никакого внимания. Они пребывали в прежних позах, один рассеянно смотрел вдоль улицы, а другой, позевывая, разглядывал верхний этаж особняка. Не переменили они позы и через минуту, когда из парадной двери медленно и осторожно, как слепой, вышел мой обидчик, шофер господина Лаомедонта. Лицо его было бледно, рот широко раскрыт, глаза выпучены и стеклянные, а обе руки он крепко прижимал к животу. Сойдя на тротуар, он прошел несколько шагов, с кряхтением сел, посидел немного, сутулился все больше и больше, а затем повалился набок, скорчился, перебрал ногами и замер неподвижно. Должен признаться, что сначала я ничего не понял. Все происходило так неторопливо, в такой спокойной деловой обстановке, на фоне такого обычного городского шума, что у меня невольно возникло и укрепилось ощущение, будто так, собственно, и должно быть. Я не испытывал никакого беспокойства и не искал никаких объяснений. Я так доверял этим молодым людям, таким приличным, таким сдержанным... Вот один из них рассеянно поглядел на лежащего шофера, закурил сигарету и снова стал разглядывать верхний этаж. Мне даже показалось, что он улыбается. Потом послышался топот ног, и из подъезда один за другим вышли: молодой человек в узком пальто, промакивающий губы платочком; господин Лаомедонт в роскошном восточном халате, без шляпы и в наручниках; другой молодой человек в узком пальто, снимающий на ходу перчатки; и наконец, третий молодой человек в узком пальто, нагруженный оружием. Правой рукой он прижимал к груди три или четыре автомата, в левой руке он нес несколько пистолетов, просунув палец между спусковыми скобы, и еще на каждом плече у него висело по ручному пулемету. На господина Лаомедонта я взглянул только один раз, и этого было с меня вполне достаточно — у меня до сих пор сохранилось впечатление чего-то красного, мокрого и липкого. Вся кавалькада

торопливо пересекла тротуар и скрылась в недрах машины. Оставшиеся снаружи двое молодых людей лениво оттолкнулись от полированного борта, подошли к лежащему шоферу, осторожно взяли его за руки и за ноги и, слегка раскачав, бросили в подъезд. Один из них затем извлек из кармана и аккуратно приклеил рядом со звонком какую-то бумагу, после чего машина, не разворачиваясь, с прежней скоростью двинулась в обратном направлении, а оставшиеся молодые люди с самым скромным видом прошли через расступившуюся толпу и скрылись за углом.

Когда я очнулся от столбняка, в который был ввергнут неожиданностью и необычностью случившегося, и вновь обрел способность размышлять, я ощутил нечто вроде психического потрясения, как если бы передо мною свершилось поворотное действие истории. Я уверен, что нечто подобное пережили и ощутили и остальные свидетели. Мы все сгрудились перед подъездом, но никто не решился войти внутрь. Я надел очки и через головы прочитал прокламацию, наклеенную под звонком. Прокламация гласила: «Наркотики — яд и позор нации! Пришла пора покончить с наркотиками. И мы с ними покончим, а вы нам поможете. Беспощадно покараем тех, кто распространяет наркотики». Будь это кто-нибудь другой, разговоров хватило бы часа на два, а тут все только обменивались междометиями, не в силах побороть еще привычную робость. «Ай-яй-яй-яй...» «Надо же, а!» «Эхе-хе-хе-хе...» «Да, господа, увы!...» Кто-то вызвал полицию и врача. Врач вошел в дом и занялся там шофером. Потом прибыл Пандерей на полицейском вездеходе. Он потоптался на крыльце, несколько раз перечитал прокламацию, почесал в затылке и даже заглянул в двери, но войти струсил, хотя врач раздраженно звал его в самых непочтительных выражениях. Он встал в дверях, расставив ноги, засунув ладони за ремень и надувшись, как индюк. С появлением полиции толпа несколько осмелела и заговорила более определенно. «Таким, значит, манером, а?» «Да, что уж тут, все ясно...» «Интересно, интересно, господа!» «В жизни бы не поверил...» Я с тревогой чувствовал, что языки развязываются, и хотел уже уйти, хотя любопытство одолевало меня, но тут Силен обратился к Пандерею с прямым вопросом: «Итак, Пан, закон все-таки восторжествовал? Решились, наконец?» Пандерей значительно поджал губы и, поколебавшись, произнес: «Я так полагаю, что это не мы решились». «Как же это так — не вы? А кто же тогда?» «Я так полагаю, что это столичная жандармерия, — громовым шепотом произнес Пандерей, оглядевшись по сторонам. «Какая же это жандармерия? — возразили в толпе. — Жандармерия и вдруг в марсианской машине! Нет, никакая это не жандармерия». «Так что же это по-вашему? Сами марсиане, что ли?» Пандерей надулся еще больше и гаркнул: «Эй, кто там про марсиан? Осторожно!» Но на него больше не обращали внимания. Языки развязались окончательно. «Машина, может, и марсианская, да сами они не марсиане, это точно. Повадки у них наши, человеческие». «Верно! Какое спрашивается, марсианам дело до наркотиков?» «Э, старина, новая метла чисто метет. А до желудочного сока нашего какое им дело?» «Нет, господа, это были не люди. Слишком, понимаете ли, спокойные, слишком молчаливые. Думается мне, что это были сами марсиане. Работают как машины». «Правильно, машины! Роботы! Зачем марсианам руки пачкать? У них роботы есть». Пандерей, не удержавшись, тоже вмешался с предложением. «Нет, старички, — провозгласил он. — Никакие это не роботы. Это теперь порядок такой. В жандармерию теперь набирают исключительно глухонемых. В целях сохранения государственной тайны». Гипотеза эта вызвала сначала изумление, а затем ядовитые реплики, большей частью очень остроумные, но я запомнил только замечание желчного Парала. Парал выразился в том

смысле, что неплохо было бы и в полицию набирать исключительно глухонемых, но не в целях сохранения государственной тайны, а чтобы оградить ни в чем не повинных людей от белиберды, извергаемой на них этими официальными лицами. Расстегнувшийся было Пандерей, конечно, сейчас же раздулся, снова застегнул китель и заорал: «Поговорили — все!» И нам, к сожалению, пришлось разойтись, хотя именно в эту минуту подкатила карета скорой помощи. Старый осел так расвирепел, что мы могли лишь издали наблюдать, как из подъезда выносят изувеченного шофера, а следом, к нашему удивлению, еще два каких-то тела. До сих пор неизвестно, кто были эти двое.

Все наши направились в трактир, и я тоже. За стойкой непринужденно расположились те самые двое молодых людей в узких пальто. Как и прежде, они были спокойны и молчаливы, пили джин и рассеянно смотрели поверх голов. Я заказал себе полный обед и, насыщаясь, наблюдал, как самые любопытные из наших постепенно придвигаются к молодым людям. Смешно было смотреть, как неумело Морфей пытается завести с ними разговор насчет погоды в Марафинах, а Парал, вознамерившись взять быка за рога, предлагает им выпивку. Молодые люди, как бы не видя никого вокруг, исправно поглощали придвигавшиеся к ним напитки, но продолжали хранить бесстрастное молчание. Шутки их не смешили, намеки их не задевали, а прямых вопросов они словно бы даже и не слышали вовсе. Я не знал, что и думать. Я то восхищался их необычайной выдержкой, их полным равнодушием к смешным попыткам втянуть их в разговор, то начинал склоняться к мысли, что это действительно марсианские роботы, что отвратительная внешность марсиан не позволяет им представлять перед нами самолично, то подозревал в них самих марсиан, о которых мы в сущности до сих пор ничего не знаем. Наши, обнаглев, сгрудились вокруг молодых людей и уже без всякого стеснения обсуждали их личности, а кое-кто осмеливался даже пробовать на ощупь материал их пальто. Все теперь были убеждены, что перед ними роботы. Япет даже начал беспокоиться. Подавая мне бренди, он расстроено сказал: «Как же так — роботы? Взяли по два джина, по два бренди, две пачки сигарет, а платить кто будет?» Я объяснил ему, что программа робота, предусматривающая потребление напитков и сигарет, без сомнения должна предусматривать и какой-то способ оплаты потребленного. Япет успокоился, но тут у стойки началась драка.

Как потом стало известно, желчный Парал заключил пари с дураком Димантом, что Димант приложит к руке робота горящую сигарету и ничего от этого не случится. Своими же глазами я увидел вот что. Из развлекающейся толпы, подобно пробке из бутылки, вырвался вдруг Димант. Он пролетел спиной вперед через весь зал, мелко суча ногами, опрокидывая столики и встречающих, и упал в углу. Не прошло и секунды, как совершенно подобным же образом, но в другом углу оказался Парал. Наши бросились враспынную, а я, ничего еще тогда не поняв, увидел, что молодые люди по-прежнему тихо сидят у стойки и задумчиво, одинаковым движением подносят к губам рюмки со спиртным.

Парала и Диманта подняли и оттащили за кулисы приводить в себя. Я взял свой стакан и тоже проследовал за кулисы. Мне захотелось выяснить, что произошло. Я пришел в тот момент, когда Димант уже очнулся и сидел с самым идиотским видом, ощупывая свою грудь. Парал еще не приходил в себя, но уже глотал джин и запиная содовой. Рядом с ним, держа наготове полотенце, стояла служанка, чтобы подвязать ему челюсть, когда он очнется. Там я узнал официальную выше версию инцидента и согласился с остальными, что Парал

провокатор, а Димант — просто дурак, не лучше Пандерей. Однако, высказав эти разумные соображения, наши ничуть не удовлетворились, а забрали себе в голову, что этого так оставить нельзя. Полифем, державшийся до этого в тени, заявил, что это будет первая боевая акция нашей дружины. Этих молодчиков мы встретим, когда они выйдут из трактира, сказал он и принялся командовать, кто из нас где должен встать и по какому месту и когда начинать бить. Я немедленно отмежевался от этой затеи. Во-первых, я вообще противник насилия, во мне нет решительно ничего от унтер-офицера. Во-вторых, я не видел тогда за молодыми людьми никакой особенной вины. И наконец, я планировал вовсе не драться с ними, а поговорить о своих делах. Я потихоньку выбрался из-за кулис, вернулся к своему столику, и именно эти мои действия положили начало дальнейшему, столь огорчительному для меня событию.

Впрочем, даже сейчас, когда я гляжу на прожитый день совсем другими глазами, я должен констатировать, что логика моих поступков была и остается безупречной. Молодые люди — не из наших мест, рассуждал я. Тот факт, что они прибыли на марсианской машине, свидетельствует о их скорее всего столичном происхождении. Более того, участие их в экзекуции господина Лаомедонта свидетельствует об их несомненной принадлежности к власти имущим: вряд ли против господина Лаомедонта послали бы каких-нибудь рядовых исполнителей. Таким образом, по логике вещей получалось, что молодые люди обязательно должны были быть хорошо осведомлены о новых обстоятельствах и могли сообщить мне многое из того, что меня интересует. Не в моем положении маленького человека, над которым издевается шофер господина Лаомедонта и которого отказывается информировать секретарь мэрии, можно пренебречь случаем получить правдивую информацию. С другой стороны, молодые люди отнюдь не вызывали во мне каких-либо опасений. Тот факт, что они несколько жестоко обошлись с господином Лаомедонтом и его телохранителями, нимало не настораживал меня. Это была их служба, и это был господин Лаомедонт, которому давно уже надлежало воздать по заслугам. Что же до инцидента с Паралом и Димантом, то, господа мои, Димант глуп и иметь с ним дело невозможно, а Парал кого угодно способен вывести из себя своими желчными остротами. Я не говорю уже о том, что и сам никому не позволил бы называть меня роботом и тем более прижигать мне руку сигаретой.

Поэтому, когда я, допив бренди, направлялся к молодым людям, я был совершенно уверен в успехе своего предприятия. План предстоящей беседы я продумал во всех деталях, приняв во внимание и род их деятельности, и их настроение в связи с только что имевшим место инцидентом, и их природные, видимо, молчаливость и сдержанность. Вначале я намеревался попросить у них извинения за бездарное поведение моих компатриотов. Далее я представился бы, выразил бы надежду, что не обременяю их своей беседой, посетовал бы на качество бренди, которое Япет частенько доликает дешевыми сортами, и предложил бы им угоститься из моей персональной бутылки. И только после этого, и после того, как мы обсудили погоду в Маратинах и в нашем городе, я рассчитывал мягко, деликатно перейти к основному вопросу. Направляясь к ним, я отметил, что один из них занят раскуриванием сигареты, а другой, отвернувшись от стойки, внимательно и, как мне показалось, с интересом следит за моим приближением. Поэтому я решил обратиться именно к нему. Подойдя, я приподнял шляпу и сказал: «Добрый вечер». И тогда этот молодчик сделал какое-то ленивое движение плечом, и тотчас в голове у меня словно разорвалась граната. Ничего не помню. Помню только, что я долгое время лежал за кулисами рядом с Паралом, глотал джин,

запивая содовой, и кто-то прикладывал мне к пораженному глазу мокрую холодную салфетку.

И вот теперь я спрашиваю себя: чего же ждать дальше? Никто не вступился за меня, никто не поднял голоса протеста. Все повторяется вновь. Опять молодчики, наводящие ужас, избивают граждан на улицах. А когда Полифем привез меня в своей инвалидной малолитражке, дочь моя, равнодушная, как и все остальные, целовалась в саду с господином секретарем. Нет, если бы даже я знал, чем все это кончится, я все равно должен был бы, обязан был бы попытаться завязать с ними беседу. Я был бы более осторожен, я не приближался бы к ним, но от кого еще я могу получить сведения? Я не желаю трястись над каждым медяком, я не способен больше давать уроки через силу, я не хочу продавать дом, в котором прожил столько лет. Я боюсь этого, и я хочу покоя.

8 ИЮНЯ. Температура плюс семнадцать, облачность восемь баллов, ветер южный, 3 метра в секунду. Сажу дома, никуда не выхожу, никого не вижу. Опухоль уменьшилась, и поврежденное место почти не болит, но общий вид все равно безобразен. Весь день рассматривал марки и смотрел телевизор. В городе все по-прежнему. Вчера ночью наша золотая молодежь осадила заведение мадам Персефоны, занятое солдатами. Говорят, было форменное сражение. Поле боя осталось за армией. (Это вам не марсиане). В газетах ничего особенного. Об эмбарго ни слова, такое впечатление, будто его отменили совсем. Есть странное выступление военного министра, набранное петитом, о том, что наше участие в Боевом Содружестве является бременем для страны и не так уж обоснованно, как это может показаться на первый взгляд. Слава богу, догадался через одиннадцать лет! Но главным образом пишут о фермере по имени Перифант, который замечателен тем, что способен давать до четырех литров желудочного сока в сутки без всякого вреда для своего организма. Сообщается его трудная биография со многими интимными подробностями, приводится интервью с ним, и несколько раз передавали сцены из его жизни по телевизору. Плотный грубоватый мужчина сорока пяти лет, без какого-нибудь интеллекта. Посмотришь на него и никак не подумаешь, что перед тобой такой удивительный феномен. Он все время упирал на свой обычай высасывать по утрам кусочек сахара. Надо будет попробовать.

Да! В нашей газете есть статья ветеринара Калаида о вреде наркотиков. Калаид там прямо пишет, что регулярное потребление наркотиков крупным рогатым скотом исключительно вредно в смысле отделения желудочного сока. Приводится даже диаграмма. Интересное наблюдение: вот ведь написано у Калаида все черным по белому, а читать невыносимо трудно. Все кажется, будто он пишет и заикается. Но в общем получается, что господина Лаомедонта истребили за то, что он препятствовал гражданам свободно выделять желудочный сок. Создается впечатление, будто желудочный сок является неким краеугольным камнем новой государственной политики. Такого еще не бывало. Но если подумать, то почему бы и нет?

Только что вернулась из гостей Гермiona. Сначала мы с ней поссорились из-за коньяка. Она считает, что от коньяка у меня усиливается экзема. Я ответил ей, что это вздор, что экзема усиливается у меня от нервных потрясений, от жары и от таких вот разговоров. Никак она не может понять, что мне необходим покой. Хорошо еще, что она не жена мне и что я имею хотя бы формальное право ей приказывать. За ужином она рассказала, что в бывшем особняке господина Лаомедонта оборудуется стационарный донорский пункт по приему желудочного сока. Если это правда, то я одобряю и поддерживаю. Я вообще за всякую стационарность и устойчивость.

Марочки мои, марочушечки! Одни вы меня никогда не раздражаете.

9 ИЮНЯ. Температура плюс шестнадцать, облачность пять баллов, небольшой дождь. Опухоль исчезла совершенно, однако, как и предсказывал Ахиллес, все пространство вокруг глаза приняло безобразный зеленый оттенок. На улице появиться невозможно: ничего, кроме глупых шуток, не услышишь. Утром позвонил в мэрию, но господин Никострат изволил пребывать в юмористическом настроении, и абсолютно ничего по поводу пенсии не сообщил. Конечно же, я разволновался, попробовал успокоиться марками, но даже марки меня не утешили. Тогда послал Гермioniу в аптеку за успокаивающим, но она вернулась с пустыми руками. Оказывается, Ахиллес получил специальный циркуляр выдавать успокаивающее исключительно по рецептам городского врача. Я разозлился и позвонил ему, затеял ссору, а сказать по правде — что с него взять? Все лекарства, содержащие наркотики, строжайше учитываются полицией и специальным уполномоченным от мэрии. Что ж, лес рубят — щепки летят. Взял и выпил коньяку, прямо при Гермione. Помогло. Даже лучше. А Гермiona и не пикнула.

Утром к Миртилу, который все еще живет в палатке, вернулось семейство. Честно говоря, я обрадовался. Это был верный признак того, что положение в стране стабилизируется. И вдруг после обеда я вижу, что Миртил снова сажает их всех в автобус. В чем дело? «Ладно, ладно, — отвечает мне Миртил в своей обычной манере. — Все вы здесь умники, а я дурак...» В общем он ходил на «пятачок» и узнал там, будто казначей и архитектора марсиане намерены привлечь к ответственности за растрату и махинации; якобы их даже куда-то уже вызывали. Я попытался объяснить Миртилу, что это хорошо, что это справедливо, но куда там! «Ладно, ладно, — отвечал он. — Справедливо... Сегодня казначей с архитектором, завтра мэра, а послезавтра я не знаю кого, может быть, и меня. Нечего тут. Тебе вот они в глаз подвесили, это что — тоже справедливо?» Не могу я с ним разговаривать. Ну его.

Звонил господин Корибант, он, оказывается, заменяет Харона в газете. Голос жалкий, дрожащий, какие-то у них там в газете неприятности с властями. Умолял сказать, скоро ли вернется Харон. Я говорил с ним, конечно, очень сочувственно, но не сказал ни слова о том, что Харон уже один раз возвращался. Интуитивно я чувствую, что не стоит об этом распространяться. Бог знает, где сейчас Харон и что он делает. Не хватает мне еще неприятностей из-за политики. Сач о нем никому не говорю и Артемиде с Гермioniой запретил. Гермiona сразу меня поняла, но Артемиду разыграла сцену.

11 ИЮНЯ. Только теперь я кое-как пришел в себя, хотя по-прежнему болен и измучен. Экзема разыгралась так, как еще не бывало. Весь покрылся волдырями, все время чешусь, хотя знаю, что нельзя. И неотвязно преследуют меня жуткие фантомы, от которых и хотел бы избавиться, но не могу. Я понимаю: идти убивать из-под палки, убивать, чтобы не убили тебя. Это тоже мерзко и скверно, но это по крайней мере естественно. А ведь их-то никто не заставляет. Партизаны! Я-то знаю, что это такое. Но мог ли я ожидать, что на склоне лет мне доведется снова увидеть это своими глазами?

Началось все с того, что вчера утром, вопреки всем ожиданиям, я получил очень дружелюбный ответ от генерала Алкима. Он писал, что хорошо помнит меня, очень меня любит и желает мне всяческого благополучия. Письмо это сильно взволновало меня. Я просто места себе не находил. Я посоветовался с Гермioniой, и она была вынуждена согласиться, что такой случай упускать нельзя. Нас обоих смущало только одно — беспокойные времена. И тут мы видим, что Мир-

тия сворачивает свой временный лагерь и начинает перетаскивать вещи обратно в дом. Это явилось последней каплей. Гермiona сделала мне очень элегантную черную повязку через пораженный глаз, я забрал папку с документами, сел в свой автомобиль и отправился в Марафины.

Погода мне благоприятствовала, я спокойно ехал по пустынному шоссе между синеющими полями и обдумывал возможные варианты своих действий в зависимости от различных обстоятельств. Однако как всегда очень скоро обнаружилось непредвиденное. Примерно в сорока километрах от города двигатель начал чихать, машина задержалась, стала плохо тянуть, а потом и совсем остановилась. Случилось это на вершине холма и, когда я вылез на дорогу, передо мною открылся мирный сельский пейзаж, выглядевший, правда, несколько непривычно из-за синевы зреющих злаков. Помню, что несмотря на задержку, я был совершенно спокоен и не удержался полюбоваться разбросанными в отдалении аккуратными белыми фермами. Синие хлеба стояли очень высоко, достигая местами человеческого роста. Никогда доселе в наших краях не урождались такие обильные хлеба. Шоссе, прямое, как стрела, просматривалось до самого горизонта.

Я открыл капот и некоторое время осматривал двигатель, надеясь найти неисправность. Но я слишком неважный механик, и довольно скоро, отчаявшись, я выпрямил усталую спину и огляделся, пытаясь сообразить, у кого можно получить помощь. Однако ближайшая ферма была все-таки слишком далеко, а на дороге виднелась только одна машина, которая приближалась со стороны Марафин, двигаясь



с довольно высокой скоростью. Сначала я обрадовался, но вскоре к своему большому сожалению, убедился, что это одна из черных марсианских машин. Впрочем, я не потерял надежды полностью, потому что помнил, что в марсианских машинах могут находиться и обыкновенные люди. Перспектива голосовать, этот мрачный черный механизм не слишком меня прельщала, боязно было, что там могут оказаться все-таки марсиане, к которым я испытывал инстинктивный страх. Но что мне оставалось делать? Я вытянул руку поперек шоссе и сделал несколько шагов навстречу машине, достигшей уже подножия холма. И тут началось ужасное.

Машина была в пятидесяти метрах от меня, когда сверкнула вдруг желтая вспышка, машина подпрыгнула и встала дыбом. Раздался громовой удар, шоссе заволокло облаком дыма. Затем я увидел, что машина словно бы пытается взлететь, она уже поднялась было над облаком, сильно кренясь набок, но тут рядом с нею одна за другой сверкнули еще две вспышки, двойной удар перевернул ее, и она всей тяжестью грянулась об асфальт, так что я ощутил содрогание почвы своими ослабевшими от неожиданности ногами. Страшная авария, подумалось мне в первый момент. Машина загоралась, и из нее стали выбираться какие-то охваченные огнем черные фигуры. В ту же минуту поднялась стрельба. Я не мог понять, кто стреляет, откуда стреляют, но я отчетливо видел, в кого стреляют. Черные фигуры метались в дыму и пламени и падали одна за другой. Сквозь треск выстрелов я услышал душераздирающие нечеловеческие крики, и вот уже все они лежали, распростертые возле опрокинутой машины, продолжая гореть, а стрельба все еще не прекращалась. Потом машина взорвалась с ужасающим треском, белый неземной свет ударил меня по глазам, и горячий плотный воздух хлестнул мне в лицо. Я невольно зажмурился, а когда вновь открыл глаза, то с ужасом увидел, как прямо ко мне вверх по шоссе бежит, раскорячившись, словно огромная обезьяна, черное существо, обьятое пламенем, и хвост черной копоти тянется следом за ним. В ту же секунду из синих хлебов слева от меня выскочил человек в военной форме с автоматом наперевес, остановился посередине дороги спиной ко мне, быстро присел на корточки и принялся расстреливать черную пылающую фигуру почти в упор. Ужас мой стал так велик, что первое ощущение покинуло меня, я нашел в себе силы повернуться и со всех ног бросился к своему автомобилю. Как безумный я нажимал на стартер, ничего не видя перед собою, забыв, что двигатель не работает, а потом силы вновь покинули меня, и я остался сидеть в машине, бессмысленно глядя перед собой, пассивный и оглушенный свидетель страшной трагедии. Безразличие овладело мною. Слово во сне я видел, как на шоссе выходят один за другим вооруженные люди, как они окружают место катастрофы, нагибаются над горящими телами, переворачивают их и обмениваются короткими возгласами, едва слышными за шумом крови, бьющейся у меня в висках. У подножия холма их собралось четверо, а человек в военной форме, судя по позе — офицер, стоял на прежнем месте, в нескольких шагах от последнего убитого, и перезаряжал свой автомат. Потом я увидел, как он неторопливо приблизился к лежащему, наклонил дуло автомата и дал короткую очередь. Лежащий отвратительно дернулся, и меня тут же вырвало прямо на руль и на брюки. А потом началось самое страшное.

Офицер быстро оглядел небо, затем повернулся ко мне, посмотрел — я никогда не забуду этого холодного беспощадного взгляда — и, держа автомат за рукоятку, направился к моей машине. Я слышал, как стоящие внизу что-то кричат ему, но он не обернулся. Он шел ко мне. Вероятно, на несколько секунд я впал в беспамятство, потому

него хлеба, когда словно с неба стали падать деньги за бесполезный до того желудочный сок и когда с другой стороны выяснилось, что бандиты устраивают засады против представителей администрации, везущих в деревню деньги, когда уполномоченный из Марафин ясно дал понять, что с этим безобразием надобно для всеобщей пользы скорее кончать, тогда отношение к инсургентам совершенно переменялось.

Несколько раз мы прерывали нашу беседу и прислушивались. С полей доносились редкие выстрелы, и каждый раз мы удовлетворенно кивали друг другу и перемигивались. Я уже совсем оправился и сел за руль, чтобы развернуть машину домой (у меня и в мыслях конечно, не осталось продолжать путь в Марафины: бог с ним, с Алкимом, раз на дорогах такое творится), когда облава возвратилась на шоссе. Сначала четверо фермеров притащили к грузовику два неподвижных тела. Одного убитого я узнал — это был человек в берете, которого офицер называл инженером. Другой, юноша, почти мальчик, был мне незнаком. С некоторым облегчением я заметил, что он, к счастью, не убит, а только тяжело ранен. Затем гурьбой, весело переговариваясь, вернулись и остальные участники облавы. Они привели пленного со связанными руками, которого я тоже узнал, хотя теперь он был без очков. Победа была полная, никто из фермеров не пострадал. Я испытал большое моральное удовлетворение, видя, как эти простые люди, еще, казалось бы, разгоряченные боем, выказывают тем не менее несомненное душевное благородство, обращаясь с поверженным противником почти по-рыцарски. Раненому перевязали раны и довольно бережно уложили в кузов. Пленному хотя и не развязали рук, но дали напиться и сунули в рот сигарету. «Ну вот и сделали дело, — сказал мой друг шофер. — Теперь в округе поспокойнее станет». Я счел своим долгом сообщить, что инсургентов было по крайней мере пятеро. «Ничего, — ответил он. — Значит двое ушли. Никуда они не денутся. Что в нашей округе, что в соседней — порядки одни. Перебьют или переловят». «А этих вы куда отправите?» — спросил я. «Отвезем. Тут километрах в сорока есть марсианский пост. Там их всех принимают, и живых, и мертвых, каких доставишь». Я еще раз поблагодарил его, пожал ему руку, и он отправился к своему грузовику, сказавши остальным: «Поехали, что ли?» И тут пленного привели мимо меня, он приостановился на секунду и взглянул мне прямо в лицо своими близорукими глазами. Может быть, мне это показалось. Теперь я надеюсь, что мне это показалось. Но в глазах его было нечто такое, от чего сердце мое упало. Бездарный мир! Нет, я не оправдываю этого человека. Он экстремист, он партизан, он убивает и должен быть наказан, но я же не слепой. Я отчетливо видел, что это благородный человек. Не чернорубашечник, не невежда, а человек с убеждениями. Впрочем, теперь я надеюсь, что я ошибся. Всю жизнь я страдаю от того, что думаю о людях хорошо.

Грузовик покати в одну сторону, я — в другую, и через час я был уже дома, разбитый до последней степени, измученный и больной. Замечу, кстати, что господин Никострат сидел в гостиной и Артемиды угощала его чаем. Однако мне было не до них. Гермiona принялась хлопотать вокруг меня, расстелила постель, положила мне лекарство на сердце, и скоро я уснул, а когда проснулся ночью, то понял, что экзема у меня вновь обостряется. Это была ужасная, мучительная ночь.

Температура плюс семнадцать градусов, облачность десять баллов, проливной дождь.

Да, они бунтовщики, люди вредные для всеобщего спокойствия. И все-таки я не могу не пожалеть их, насквозь промокших, грязных, загнанных, подобно диким зверям. И во имя чего? Что это — анар-

жизнь? Протест против несправедливости? Но против кого? Я их решительно не понимаю. Странно, сейчас я припоминаю, что при облаве не было ни автоматных очередей, ни разрывов гранат. Должно быть, у них кончились боеприпасы.

11 ИЮНЯ (ПОЛНОЧЬ). Гермiona хотела, чтобы я провел этот день в постели, но я не послушался ее и правильно сделал. В полдень я почувствовал себя достаточно хорошо и сразу после обеда решил выйти в город. Человек слаб. Не скрою, что мне не терпелось рассказать нашим о страшных и трагических происшествиях, свидетелем которых я имел несчастье быть вчера. Правда, к обеду эти события рисовались мне уже не столько в трагическом, сколько в романтическом свете. Рассказ мой на «пяточке» имел огромный успех, меня забросали вопросами, и мое маленькое тщеславие было полностью удовлетворено. Забавно было глядеть на Полифема. (Он, кстати, теперь единственный член антимарсианской дружины, который все еще таскается с дробовиком). Когда я передал нашим свою беседу с офицером-бунтовщиком, он немедленно возгордился, положив себя причастным к отчаянной и опасной деятельности инсургентов. Он дошел даже до того, что признал инсургентов смелыми ребятами, хотя и поступающими противозаконно. Что он этим хотел сказать — я не понял, да и никто не понял. Он заявил также, что на месте инсургентов показал бы «этому мужичью» почем фунт дыма, и тогда чуть не случилась драка, потому что брат Миртила был фермером и сам Миртил происходил из фермерской семьи. Я не люблю ссор, не выношу их, и пока драчунов растаскивали, я пошел в мэрию.

Господин Никострат был со мною отменно любезен, участливо интересовался здоровьем и с большим сочувствием выслушал мой рассказ о вчерашнем приключении. Да и не только он — все служащие бросили текущие дела и собрались вокруг меня, так что успех был полным и здесь. Все согласилось, что я действовал мужественно и мое поведение делает мне честь. Пришлось пожать множество рук, а красотка Тиона попросила даже разрешения поцеловать меня, каковое разрешение я дал, конечно, с удовольствием. (Черт возьми, меня давно не целовали молоденькие девушки! Признаться, я даже забыл, насколько это приятно). Насчет пенсии господин Никострат уверил меня, что все, вероятно, будет хорошо, и сообщил под большим секретом, будто вопрос о налогах теперь окончательно решен: начиная с июля, налоги будут взиматься желудочным соком.

Эта наша увлекательная беседа была, к сожалению, прервана форменным скандалом. Дверь кабинета мэра вдруг распахнулась, на пороге появился господин Корибант и, стоя спиной к нам, принялся кричать на господина мэра, что он этого так не оставит, что это нарушение свободы слова, что это коррупция, что господину мэру следует помнить о печальной судьбе господина Лаомедонта и так далее. Господин мэр тоже говорил в повышенном тоне, но голос у него был потише, чем у господина Корибанта, и я так и не понял, что именно он говорил. Господин Корибант в конце концов удалился, с силой хлопнув дверью, и тогда господин Никострат объяснил мне в чем дело. Оказывается, господин мэр оштрафовал и закрыл на неделю нашу газету за то, что господин Корибант в позавчерашнем номере опубликовал стихи, подписанные неким «икс-игрек-зет», в которых есть строчка: «А на далеком горизонте свирепый Марс горит пожаром». Господин Корибант отказывается подчиниться решению господина мэра, и вот уже второй день они ругаются то по телефону, то лично. Обсудив это происшествие, мы с господином Никостратом пришли к единому мнению, что обе стороны в этом споре по-своему правы и по-своему неправы. С одной стороны, взыскание, наложенное господином мэром на газету, чрезмерно жестоко, тем более что стихотворе-

ние в целом абсолютно безобидно, поскольку рассказывает лишь о неразделенной любви автора к ночной фее. Но с другой стороны, ситуация такова, что не следует дразнить гусей—у господина мэра и без того хватает неприятностей хотя бы с тем же самым Минотавром, который позавчера опять напился пьян и повредил своей вонючей цистерной марсианскую машину.

Вернувшись на «пятачок», я снова присоединился к нашим. Сосра Полифема с Миртилом была уже улажена, и беседа происходила в обычной атмосфере дружеской дискуссии. Не без удовольствия я отметил, что мой рассказ, по-видимому, направил умы собравшихся в определенное русло. Говорили об инсургентах, о боевых средствах, которыми располагают марсиане, и прочих подобных предметах.

Морфей рассказал, будто неподалеку от Милеса летательная машина марсиан, совершившая вынужденную посадку из-за непривычки пилота к повышенной силе тяжести, подверглась нападению группы злоумышленников, перестреляла всех до единого специальными электрическими снарядами, после чего сама собою взорвалась, оставив огромную яму со стеклянными стенками. Весь Милес якобы ходит теперь смотреть эту яму.

Миртил со слов своего брата-фермера поведал нам о жуткой банде амазонок, которые нападают на марсиан и похищают их в видах получения от них потомства. Одноногий Полифем со своей стороны рассказал следующее. Вчера ночью, когда он нес патрульную службу на Парковой улице, к нему бесшумно подкрались четыре марсианские машины. Незнакомый голос на ломаном языке и с неприятным шипением осведомился у него, как проехать к трактиру, и хотя трактир не является объектом государственной важности, Полифем просто из гордости и презрения к завоевателям отказался ответить, так что марсиане поехали дальше не солоно хлебавши. Полифем уверял нас, что жизнь его при этом висела на волоске, он даже заметил якобы длинные черные стволы, направленные прямо на него, но в упорстве своем не колебался ни секунды.

«А тебе что, жалко было сказать? — спросил Миртил, не забывший еще оскорбления, нанесенного ему и его брату. — Знаю я таких сволочей. Приедешь бывало в незнакомое место, захочется тебе выпить, так ничем не скажут, где трактир».

Дело опять чуть было не дошло до драки, но тут подошел Пандерей и, радостно улыбаясь, сообщил, что Минотавра, наконец, у нас из города забрали. Марсиане забрали. Подозревают Минотавра в связях с террористами и в саботаже. Мы все возмутились: оставлять в самое жаркое время года город без ассенизатора — да это же преступление!

«Хватит! — орал одноногий Полифем. — Довольно терпеть проклятое иго! Патриоты, слушай мою команду! Ста-ановись!» Мы уже начали строиться, когда Пандерей всех успокоил, сказавши, что марсиане намерены в ближайшую неделю начать работу по прокладке канализации, а пока вместо Минотавра будет младший полицейский. Все сказали, что это другое дело, и вновь перешли к разговорам о террористах. И о том, что это все-таки свинство — устраивать засады.

Димант рассказал, вращая глазами, жуткую историю, что по городу третий день ходят какие-то люди и угощают встречаемых конфетами. «Съешь такую конфету и — брык! — готов». Надеются таким образом отравить всех марсиан. Мы, конечно, в эту историю не поверили, но стало как-то жутко.

Тут Калаид, который давно уже дергался и брызгал, вдруг ляпнул: «А в-в-от у Аполлона у самого зять террорист». От меня сразу как-то отшатнулись, а Пандерей, выпятив челюсть, веско заявил: «Это точно. Есть такие сведения и у нас».

Я возмутился до последней степени и заявил им всем, что, во-первых, тесть за зятя не отвечает, во-вторых, у самого Пандерей племянник в прошлом году сел на пять лет за развратные действия, в-третьих, с Хароном я всегда был на ножах, это любой может подтвердить, и в-четвертых, ничего такого я за Хароном не знаю — уехал человек в командировку, и ни слуху от него, ни духу. Это были неприятные минуты, но вздорность обвинения была настолько очевидна, что все кончилось благополучно, и разговор пошел о желудочном соке.

Оказывается, все наши уже второй день сдают желудочный сок и получают за него наличными. Один я в стороне. Всегда я каким-то непонятным образом оказываюсь в стороне от того, что мне выгодно. Есть на свете такие неустroенные люди: в казармах они вечно чистят сортиры, на фронте они попадают в «котлы», все неприятности они получают первыми, все блага они получают последними. Так вот я один из таких. Ну ладно. Все наши хвастались, как они теперь довольны. Еще бы не быть довольным!

Тут через площадь проехала марсианская машина, и одноногий Полифем задумчиво произнес: «А как вы полагаете, старички, если садануть ее сейчас из дробовика, пробьет или не пробьет?» «Если, скажем, пуля, то, пожалуй, пробьет»,—сказал Силен. «Это куда попадешь»,—возразил Миртил. — Если в лоб или в корму, то нипочем не пробить». «А если в борт?»—спросил Полифем. «Если в борт, то, пожалуй, пробьешь»,—ответил Миртил. Я хотел было сказать, что граната — и та не пробивает, но Пандерей меня опередил, сказавши глупокомысленно: «Нет, старики, зря вы спорите. Непробиваемы они». «И в борт непробиваемы?» — ехидно спросил Морфей. «Полностью»,—сказал Пандерей. «Что, и пулей?» — спросил Миртил. «Да хоть из пушки стреляй»,—сказал Пандерей с большой важностью. Тут все стали качать головами и похлопывать его по спине. «Да, Пан,—говорили они. — Это ты, Пандерей, того. Тут ты, старина Пандор, махнул. Не подумал, старик, сболтнул», а желчный Парал немедленно подпустил шпильку, что вот ежели Пандерею пальнуть из пушки в корму, то вмятина может быть и останется, а вот если в лоб, то просто отскочит и все. Ну, Пандерей раздулся, застегнул китель на все пуговицы, выкатил свои рабы глаза и гаркнул: «Поговорили — все! Р-разойдись! Именем закона».

Не теряя времени, я отправился на донорский пункт. Конечно, тут меня опять ожидала неудача. Никакого сока у меня не взяли и никаких денег я не получил. У них, оказывается, такой порядок, что сок сдавать надо обязательно натошак, а я всего два часа как пообедал. Выдали мне донорскую карточку и пригласили приходить завтра с утра. Впрочем, должен сказать, что донорский пункт вообще произвел на меня самое благоприятное впечатление. Оборудование новейшее. Зонд смазывается самыми лучшими сортами вазелина. Прием желудочного сока производится автоматически, но под наблюдением опытного врача, а не какого-нибудь громилы. Персонал исключительно вежлив и обходителен, сразу видно, что платят им неплохо. Все вокруг блестяще чистотой, мебель новая. В ожидании очереди можно смотреть телевизор или читать свежие газеты. Да и какая очередь! Гораздо меньше и быстрее, чем в трактире. А деньги выдаются немедленно, прямо из автомата. Да, во всем чувствуется высокая культура, гуманность, забота о доноре. И подумать только, что каких-нибудь три дня назад этот дом был логовом такого человека, как господин Лаомедонт!

Однако мысль о зяте не оставляла меня, и я почувствовал необходимость обсудить эту новую досадную проблему с Ахиллесом. Я нашел его, как всегда, за кассой рассматривающим свой «космос».

Рассказ о моих приключениях произвел на него огромное впечатление, и я почувствовал, что он смотрит теперь на меня совсем другими глазами. Но когда речь зашла о Хароне, он только пожал плечами и сказал, что образ моих действий и опасности, которым я подвергался, полностью реабилитируют не только меня, но, возможно, и самого Харона. Кроме того, он вообще сомневался, что Харон способен принимать участие в чем-либо предосудительном. Харон, заявил он, скорее всего находится сейчас в Марафинах и принимает деятельное участие в восстановлении порядка, стремясь при этом сделать что-нибудь полезное для родного города, как это и приличествует всякому культурному гражданину, а местные завистники, все эти Пандереи и Калаиды, способные лишь на безответственную болтовню, просто клеветают на него.

У меня были свои сомнения на этот счет, но я, естественно, промолчал и только подивился про себя, насколько мы, жители небольшого в сущности городка, плохо знаем друг друга. Я понял, что напрасно заговорил с Ахиллесом на эту тему и, сделавши вид, будто его рассуждения меня вполне успокоили, перевел разговор на марки. И вот тут-то и случилось это удивительное происшествие.

Помнится, вначале я говорил несколько принужденно, потому что основной моей целью было все-таки отвлечь Ахиллеса от разговора о Хароне. Но получилось так, что речь пошла об этой сакраментальной перевернутой литографической надпечатке. В свое время я изложил Ахиллесу совершенно неопровержимые доводы в пользу того, что это фальшивка, и вопрос, казалось, был исчерпан. Однако накануне Ахиллес прочел какую-то книжонку и возомнил себя способным выдвигать свои собственные суждения. В наших отношениях это нечто небывалое. Естественно, я вышел из себя, рассердился и прямо сказал, что Ахиллес ничего не понимает в филателии, что еще год назад он не видел разницы между климташем и кляссером и не случайно коллекция его битком набита бракованными экземплярами. Ахиллес тоже вспылил, и у нас началась самозабвенная перебранка на которую я способен только с Ахиллесом и только по поводу марок.

Я словно бы в тумане сознавал тогда, что во время спора кто-то как-будто входил в аптеку, протягивал Ахиллесу через мое плечо какую-то бумагу и Ахиллес на секунду замолчал, чем я немедленно воспользовался, чтобы вклиниться в его некомпетентные рассуждения. Затем мне запомнилось досадное ощущение помехи, что-то постороннее все время назойливо вступало в сознание, мешая мне мыслить последовательно и логично. Однако потом это прошло, и следующим этапом этого любопытнейшего с психологической точки зрения происшествия был тот момент, когда спор наш закончился и мы замолчали, усталые и несколько обиженные друг на друга.

Помнится, что именно в этот момент я вдруг ощутил непреодолимую потребность оглядеть помещение и испытал смутное удивление, не обнаружив никаких особенных перемен. Между тем я отчетливо сознавал, что какое-то изменение за время нашего спора должно было произойти. Тут же я заметил, что Ахиллес тоже находится в состоянии некоторой душевной неудовлетворенности. Он то озирался, а потом прошелся вдоль прилавка, заглядывая под него. Наконец, он спросил: «Скажи, пожалуйста, Феб, сюда никто не приходил?» Определенно, его мучило то же самое, что меня. Его вопрос поставил все точки над «и»: я понял, к чему относилось мое недомогание.

«Синяя рука!» — воскликнул я, озаренный неожиданно ярким воспоминанием. Слово наяву я увидел перед своим лицом синие папки, сжимающие листок бумаги. «Нет, не рука! — горячо сказал Ахилл

лес.— Щупальце! Как у осьминога!» «Но я отчетливо помню пальцы...» «Щупальце, как у спрута!» — повторил Ахиллес, лихорадочно озираясь. Потом он схватил с прилавка книгу рецептов и торопливо перелистал ее. Все во мне зашло от томительного предчувствия. Держа в руке листок бумаги, он медленно поднял на меня широко раскрытые глаза, и я уже знал, что он сейчас скажет.

«Феб,— произнес он придушенным голосом. — Это был марсианин». Оба мы были потрясены, и Ахиллес, как человек, близкий к медицине, счел необходимым подкрепить меня и себя коньяком, бутылку которого он достал из большого картонного ящика с надписью «Норсульфазолум». Да, пока мы здесь спорили об этой злосчастной надпечатке, в аптеку зашел марсианин, вручил Ахиллесу письменное распоряжение сдать предъявителю сего все лекарственные препараты, содержащие наркотики, и Ахиллес, ничего не помня и не понимая, передал ему приготовленный пакет с этими лекарствами, после чего марсианин удалился, не оставив в нашей памяти ничего, кроме отрывочных воспоминаний и смутного образа, запечатленного краем глаза.

Я отчетливо помнил синюю руку, покрытую короткими редкими белесыми волосиками, и мясистые пальцы без ногтей, и я поражался, как подобное зрелище не вышибло мгновенно из моей головы всякую способность вести отвлеченные споры.

Ахиллес никакой руки не помнил, но зато он помнил длинное, непрерывно пульсирующее щупальце, протянувшееся к нему как бы из ничего. Кроме того, он помнил, что вид этого щупальца привел его в сильное раздражение, ибо оно показалось ему совершенно ни с чем не сообразной шуткой. Помнил он и то, как в сердцах швырнул на прилавок, не глядя, сверток с лекарствами, зато он абсолютно не помнил, читал ли он предписание и клал ли его в регистрационную книгу, хотя очевидно было, что читал (раз выдал лекарства) и клал (раз оно там оказалось).



Мы выпили еще по рюмке коньяку, и Ахиллес припомнил, что марсианин стоял слева от меня и что на нем был модный свитер с вырезами, а мне вспомнилось, что на одном из синих пальцев было блестящее кольцо белого металла с драгоценным камнем. Кроме того, я вспомнил шум автомобиля. Ахиллес потер лоб и заявил, что вид предписания напоминает ему ощущение недовольства, которое вызывалось у него как бы чьими-то попытками, до неприличия назойливыми, вторгнуться в наш с ним спор с какой-то совершенно нелепой точкой зрения на филателию вообще и на перевернутые надпечатки в особенности.

Тогда и я припомнил, что точно, марсианин говорил и голос у него был пронзительный и неприятный. «Скорее низкий и снисходительный», — возразил Ахиллес. Однако я настаивал на своем, и Ахиллес, вновь разгорячившись, вызвал из лаборатории своего младшего провизора и спросил его, какие звуки он слышал на протяжении последнего часа. Младший провизор, на редкость недалекий юнец, заморгал своими глупыми глазами и промямлил, что слышал все время только наши голоса, а один раз будто бы где-то включили радио, но он не обратил на это особого внимания. Мы отослали провизора и выпили еще по капельке коньяку. Память наша прояснилась окончательно, и хотя мы по-прежнему расходились в мнении относительно внешности марсианина, мы однако же полностью сошлись в воспроизведении последовательности имевших место фактов. Марсианин, несомненно, подъехал к аптеке на машине, не выключая двигателя вошел в помещение, остановился слева от меня, чуть сзади, и некоторое время стоял неподвижно, рассматривая нас и прислушиваясь к нашему разговору. (Мороз прошел по моей коже, когда я осознал свою полную беззащитность в этот страшный момент). Затем он сделал нам несколько замечаний, по-видимому, относительно филателии и, по-видимому, совершенно некомпетентных, а потом протянул Ахиллесу предписание, которое Ахиллес взял, бегло просмотрел и сунул в регистрационную книгу. Далее Ахиллес, все еще будучи вне себя от этой помехи, выдал сверток с лекарствами, и марсианин ушел, поняв, что мы не желаем принимать его в разговор. Таким образом, отвлекаясь от деталей, возникал образ существа, хотя и плохо разбирающегося в вопросах филателии, но в общем не лишённого правильного воспитания и определенной гуманности, если принять во внимание, что в то время он мог сделать с нами все, что ему было бы угодно. Мы выпили еще по рюмке коньяку и почувствовали себя не в силах более оставаться здесь и держать наших в неизвестности относительно этого происшествия. Ахиллес спрятал бутылку, передал дежурство младшему провизору, и мы быстрым шагом отправились в трактир.

Рассказ о визите марсианина был воспринят нашими по-разному. Одноногий Полифем откровенно счел его враньем. «Вы понюхайте, чем от них разит», — сказал он. — Нализались до синих чертей». Рассудительный Силен предположил, что это был все-таки не марсианин, а какой-нибудь негр — у негров иногда встречается синеваый оттенок кожи. Ну, а Парал остался Паралом. «Хорош аптекарь у нас, — желчно сказал он. — Приходит неизвестно кто, неизвестно откуда, подсовывает ему неизвестно какую бумажку, и тот отдает ему без звука. Нет, с такими аптекарями мы разумного общества не построим. Что это за аптекарь, который из-за своих паршивых марок не ведаёт, что творит?» Но зато все остальные были на нашей стороне, весь трактир собрался вокруг нас, даже золотая молодежь во главе с господином Никостратом отвалилась от бара послушать. Нас заставляли повторять снова и снова, где стоял я и где стоял марсианин, как он протягивал свою конечность и так далее. Очень скоро я заметил, что Ахиллес начинает украшать рассказ новыми деталями как правило

потрясающими. (Вроде того, что когда марсианин молчал, у него мигали только два глаза, как у нас, а когда открывал рот, открывались еще дополнительные глаза, один красный и другой белый). Я тут же сделал ему замечание, но он возразил, что коньяк и бренди удивительным образом действуют на человеческую память, это, дескать, медицинский факт. Я решил с ним не спорить, попросил Япета подать мне ужин и, внутренне усмехаясь, стал наблюдать, как Ахиллес уверенно компрометирует себя. Через каких-нибудь десять минут все поняли, что Ахиллес окончательно заврался, и перестали обращать на него внимание. Золотая молодежь вернулась к стойке бара, и скоро оттуда послышалось обычное: «Надоело... Скучища у нас тут. Марсиане? Ерунда, плешь... Чего бы нам отколоть, орлы?» За нашим столиком возобновился старый спор о желудочном соке. Что это такое, куда он годится, для чего он марсианам и для чего он нам самим. Ахиллес объяснил, что человеку желудочный сок нужен для переваривания пищи, пищу переваривать без него было бы невозможно. Но авторитет его был уже подорван, и никто ему не поверил. «Ты бы заткнулся, старая клизма,— сказал ему Полифем.— Чего там — невозможно. Третий день сдаю этот сок, и ничего, перевариваю. Тебе бы так переваривать».

С горя обратились за консультацией к Калаиду, но это, естественно, ничем не кончилось. Калаид после долгих судорог, за которыми в томительном ожидании следил весь трактир, выпалил только: «Ж-ж-жандарм в тридцать лет уже старик, если хочешь знать». Слова эти имели касательство к какому-то полузабытому разговору, происшедшему еще на «пяточке» и до обеда, и вообще предназначались не нам, а Пандерею, который уже давным-давно ушел на дежурство. Мы оставили Калаида рожать ответ на наш вопрос, а сами пустились в спекуляцию. Силен предположил, что цивилизация Марса зашла в тупик в физиологическом отношении, собственный сок они уже вырабатывать не могут и им приходится осваивать другие источники. Япет поддал голос из-за стойки, заявив, что марсиане используют желудочный сок в качестве бродила для производства особого вида энергии. «Вроде атомной»,— добавил он, подумав. А дурак Димант, никогда не отличавшийся смелым полетом фантазии, заявил, что человеческий желудочный сок для марсиан все равно что для нас коньяк или пиво, или, скажем, можжевельниковая водка, и этим заявлением испортил аппетит всем, кто в тот момент закусывал. Кто-то предположил, что марсиане добывают из желудочного сока золото или редкие металлы, и это явно безграмотное предположение натолкнуло Морфея на очень верную мысль. «Старички,— сказал он.— А ведь в самом деле, золото они из него добывают или энергию, а надо понимать, что наш желудочный сок для марсиан — вещь очень важная. Не одурачили бы нас, а?» Сначала его никто не понял, но потом до нас дошло, что настоящей цены на желудочный сок никто ведь не знает и что это за цена, которую назначили марсиане,— неизвестно. Вполне возможно, что марсиане, люди, надо думать, практичные, выгоняют из этого предприятия непропорционально большой доход, пользуясь нашим невежеством. «Скупают у нас по дешевке,— взбеленился одиозный Полифем,— а потом, стервецы, загоняют на какую-нибудь комету по настоящей цене!» Я рискнул поправить его, что не на комету все-таки, а на планету, на что он с присущей ему грубостью предложил мне сначала залечить глаз, а потом уже вступать в споры. Но дело не в этом.

Всех нас предположение Морфея встревожило, и могла бы получиться очень содержательная и полезная беседа, но тут в трактир ввалился Миртил со своим братом-фермером, оба пьяные до последней степени. Выяснилось, что брат Миртила вот уже несколько дней

проводил опыты по перегонке барды из синего хлеба и что сегодня эти опыты, наконец, увенчались успехом. На стол были водружены две порционные фляги синего первача. Все тут же отвлеклись и стали пробовать, и надо сказать, «синюховка» произвела на нас большое впечатление. Миртил себе на горе пригласил к столу Япета, чтобы тот тоже попробовал. Япет выпил два стаканчика, постоял, закрыв левый глаз, словно бы размышляя, а затем вдруг сказал: «А ну валите отсюда, чтобы я вас тут не видел». Сказано это было таким тоном, что Миртил, не говоря ни слова, подхватил опустевшие фляги и своего задремавшего братца и торопливо удалился. Япет оглядел нас тяжелым взглядом и, произнеся: «Взяли манеру — в мое заведение со своим пойлом приходите», вернулся за стойку. Чтобы сгладить неловкость, мы все заказали по выпивке, но прежняя непринужденность уже исчезла. Посидев еще полчаса, я отправился домой.

В гостиной господин Никострат, заняв кресло Харона, сидел напротив Артемиды и пил чай с вареньем. Я не стал вмешиваться в это дело. Во-первых, Харон все-таки, по-видимому, отрезанный ломоть, и неизвестно, вернется ли он вообще, а во-вторых, где-то неподалеку находилась Гермiona, а от меня так разило спиртным, что я даже сам это чувствовал. Поэтому я предпочел тихонько проскользнуть в свою комнату, не обращая на себя ничьего внимания. Я переоделся и просмотрел газеты. Просто удивительно! Шестнадцать полос, и ничего существенного. Словно вату жуешь. Опубликована пресс-конференция президента. Два раза ее прочитал и ничего не понял — сплошной желудочный сок.

Пойду посмотрю, как там Гермiona.

12 ИЮНЯ. Температура плюс двадцать градусов, облачность ноль баллов, ветра нет. От этой синюховки отвратительная отрыжка. Разыгралась мигрень, весь день сидел дома. Появилась гастрономическая новинка — синий хлеб. Гермiona хвалит, Артемиде тоже понравилось, а я вот ел без всякого аппетита. Хлеб как хлеб, только синий.

13 ИЮНЯ. Наконец-то летняя погода кажется установилась. Температура плюс двадцать два, облачно.

Ну и дела! Не знаю даже, с чего и начинать. Насчет пенсии ничего неизвестно, но в конце концов речь сейчас не об этом. Только это я начал сегодняшнюю запись, как вдруг слышу — подъезжает машина. Я было подумал, что это Миртил привез с фермы обещанную четверть синюховки, и выглянул посмотреть. И как раз вовремя выглянул. Сначала я увидел, что под фонарем стоит незнакомый легковой автомобиль, очень роскошный, а потом заметил, что по саду, прямо к скамеечке, где устроились с вечера Артемиды с господином Никостратом, решительным шагом направляется Харон. Я глазом моргнуть не успел, как господин Никострат кубарем вылетел за ограду. Вслед ему Харон с силою сверхчеловеческой запустил тросточку и шляпу, но господин Никострат не остановился, чтобы подобрать их, а только ускорил бег. Затем Харон занялся Артемидой. Мне было плохо видно, что между ними происходило, но у меня такое впечатление, что вначале Артемиды попыталась упасть в обморок, однако, когда Харон залепил ей оплеуху, отказалась от своего намерения и решила показать свой знаменитый характер. Она испустила протяжный, неприятный для слуха визг и полоснула Харона ногтями по физиономии. Повторяю, всего я не видел. Но, когда спустя несколько минут я выглянул в гостиную, Харон, как тигр в клетке, расхаживал из угла в угол, заложив руки за спину, и на носу у него багровела свежая царапина. Артемиды же деловито собирала на стол, и я заметил, что лицо ее выглядит несколько асимметрично. Я не выношу семейных сцен, у меня от них все слабеет внутри, и хочется уйти куда-нибудь и ничего не видеть и не слышать. Однако Харон заметил меня, прежде чем

я успел скрыться, и против всяких ожиданий поздоровался со мною так приветливо и тепло, что я счел необходимым войти в гостиную и завязать с ним беседу.

Прежде всего я был приятно поражен тем обстоятельством, что Харон выглядел совсем не так, как я ожидал. Это был совсем не тот заросший и ободранный бродяга, который бряцал здесь оружием и бранился неделю назад. Собственно, я ожидал, что он будет еще более ободран и грязен. Однако передо мною сидел прежний Харон мирного времени, гладко выбритый, хорошо причесанный, элегантно и со вкусом одетый. Только багровая царапина на носу несколько портила общее впечатление, да цвет лица, непривычно смуглый, свидетельствовал о том, что последние дни этому кабинетному работнику пришлось много бывать под открытым небом.

Пришла Гермiona в бигуди, извинилась за свой вид и тоже присела за стол, и вот мы сидим, как встарь, вчетвером, единой мирной семьей. До тех пор, пока женщины не удалились, убрав со стола посуду, разговор вертелся вокруг общих тем: о погоде, о здоровье, о том, кто как выглядит. Но когда мы остались одни, Харон закурил сигару и сказал, странно глядя на меня: «Ну что, отец, проиграно наше дело?» В ответ я только пожал плечами, хотя мне очень хотелось сказать, что если чье-нибудь дело и проиграно, то во всяком случае не наше. Впрочем, Харон, по-моему, и не ожидал ответа. При женщинах он сдерживался, и только сейчас я заметил, что он находится в состоянии почти болезненного возбуждения, в том самом состоянии, когда человек способен резко переходить от нервного смеха к нервному плачу, когда внутри у него все кипит и он испытывает неодолимую потребность излить это кипение в словах и поэтому говорит, говорит, говорит. И Харон говорил.

У людей больше нет будущего, говорил он. Человек перестал быть венцом природы. Отныне и присно и во веки веков человек будет рядовым явлением натуры, как дерево или лошадь, и не больше. Культура и вообще весь прогресс потеряли всяческий смысл. Человечество больше не нуждается в саморазвитии, его будут развивать извне, а для этого не нужны школы, не нужны институты и лаборатории, не нужна общественная мысль, философия, литература, словом, не нужно все то, что отличало человека от скота и что называлось до сих пор цивилизацией. Как фабрика желудочного сока, сказал он, Альберт Эйнштейн ничем не лучше Пандерея и даже наверняка хуже, потому что Пандерей отличается редкостной прожорливостью. Не в громе космической катастрофы, не в пламени атомной войны и даже не в тисках перенаселения, а в сытой спокойной тишине кончается, видите ли, история человечества. «Подумать только,— с надрывом проговорил он, уронив голову на руки,— не баллистические ракеты, а всего-навсего горсть медажков за стакан желудочного сока погубили цивилизацию...»

Он говорил, конечно, гораздо больше и гораздо эффективнее, но я плохо воспринимаю абстрактные рассуждения и запомнил только то, что запомнил. Признаться, вначале ему удалось нагнать на меня тоску. Однако я довольно быстро поняв, что все это попросту исторические словоизлияния образованного человека, пережившего крушение своих личных идеалов. И я ощутил потребность возразить ему. Не потому, конечно, что надеялся переубедить его, а потому, что его рассуждения глубоко задели меня, показались мне выпранными и нескромными, и кроме того, мне хотелось отделаться от того тягостного впечатления, которое произвели на меня его lamentации.

«У вас была слишком легкая жизнь, сын мой,— сказал я прямо.— Вы заелись. Вы ничего не знаете о жизни. Сразу видно, что вас никогда не били по зубам, что вы не мерзли в окопах и не грузили брев-

на в плену. У вас всегда было что кушать и чем платить. Вот вы и привыкли смотреть на мир глазами небожителя, такого сверхчеловека. Экая жалость — цивилизацию продали за горсть медяков! Да скажите спасибо, что вам за нее дают эти медяки! Вам они, конечно, ни к чему. А вдове, которая одна поднимает троих детей, которая должна их выкормить, вырастить, выучить? А Полифему, калеке, получающему грошевую пенсию? А фермеру? Что вы предложили фермеру? Сомнительные социальные идейки? Книжечки-брошюрокки? Эстетскую вашу философию? Да и фермер плевал на все это! Ему нужна одежда, машины, нужна уверенность в завтрашнем дне! Ему нужно иметь постоянную возможность взрастить урожай и получить за него хорошую цену! Вы смогли ему это дать? Вы, со всей вашей цивилизацией! Да никто за десять тысяч лет не смог ему это дать, а марсиане дали! Что же теперь удивляться, что фермеры травят вас как диких зверей? Вы никому не нужны с вашими разговорами, с вашим снобизмом, с вашими абстрактными проповедями, легко переходящими в автоматную стрельбу. Вы не нужны фермеру, вы не нужны горожанину, вы не нужны марсианам. Я уверен даже, что вы не нужны большинству разумных образованных людей. Вы воображаете себя цветом цивилизации, а на самом-то деле вы плесень, взросшая на соках ее. Вы возомнили о себе и теперь воображаете будто ваша гибель — это гибель всего человечества».

Мне показалось, что я буквально убил его своей речью. Он сидел, закрыв лицо руками, он весь трясся, он был так жалок, что сердце мое облилось кровью.

«Харон, — сказал я по возможности мягко, — мальчик мой! Постарайтесь хоть на минуту спуститься из облачных сфер на грешную землю. Постарайтесь понять, что человеку больше всего на свете нужны покой и уверенность в завтрашнем дне. Ведь ничего же страшного не случилось. Вот вы говорите, что человек превратился теперь в фабрику желудочного сока. Это громкие слова, Харон. На самом-то деле произошло нечто обратное. Человек, попавши в новые условия существования, нашел превосходный способ использования своих физиологических ресурсов для упрочения своего положения в этом мире. Вы называете это рабством, а всякий разумный человек полагает это обыкновенной торговой сделкой, которая должна быть взаимовыгодной. О каком рабстве может идти речь, если разумный человек уже сейчас прикидывает, не обманывают ли его, и если его действительно обманывают, то уверяю вас, он сумеет добиться справедливости. Вы говорите о конце культуры и цивилизации, но это уж вовсе неправда! Непонятно даже, что вы имеете в виду. Газеты выходят ежедневно, выпускаются новые книги, сочиняются новые телеспектакли, работает промышленность... Харон! Ну чего вам недостает? Вам оставили все, что у вас было: свободу слова, самоуправление, конституцию. Мало того, вас защитили от господина Лаомедонта! И вам, наконец, дали постоянный и верный источник доходов, который совершенно не зависит ни от какой конъюнктуры».

На этом я остановился, потому что обнаружил, что Харон вовсе не убит и не рыдает, как мне показалось, а хихикает самым неприличным образом. Я почувствовал себя в высшей степени оскорбленным, но тут Харон сказал:

«Извините меня, ради бога, я не хотел вас обидеть. Мне просто вспомнилась одна забавная история». Оказывается, два дня назад Харон во главе группы инсургентов из пяти человек захватил марсианскую машину. Каково же было их изумление, когда из машины вышел им навстречу совершенно трезвый Минотавр с портативным аппаратом для отсасывания желудочного сока. «Что, ребята, выпить захотелось? — спросил он. — Давайте, это я вам сейчас устрою. Кн

первый?» Инсургенты даже растерялись. Придя в себя, они без всякого удовольствия накомтыляли Минотавру по шее за предательство и отпустили его вместе с машиной. Они-то собирались захватить машину, освоиться с управлением, затем проникнуть в ней на марсианский пост и устроить там побоище, но этот эпизод так на них подействовал, что им стало на все наплевать. Вечером того же дня двое из них ушли по домам, а на другое утро остальных захватили фермеры. Я не совсем понял, какое отношение имеет эта история к предмету нашей беседы, но меня поразила мысль о том, что Харон, следовательно, побывал в плену у марсиан.

«Да,— ответил он на мой вопрос,— поэтому я и смеялся. Марсиане мне говорили точь-в-точь то же самое, что и вы. Правда, несколько более связно. И особенно они напирали на то, что я — элита общества, что они испытывают ко мне глубокое уважение и не понимают, почему это я и мне подобные занимаются террористическими актами вместо того, чтобы создать разумную оппозицию. Они предлагают нам бороться с ними легальными средствами, гарантируя полную свободу печати и собраний. Славные ребята — марсиане, верно?»

Что я мог ему ответить? Особенно когда выяснилось, что общались с ним превосходно, умыли его, одели, подлечили, дали ему автомобиль, конфискованный у какого-то содержателя опиумокурильни, и отпустили с миром.

«У меня нет слов», — сказал я, разведя руки. «У меня тоже, — отозвался Харон, снова помрачнев. — У меня, к сожалению, тоже пока нет слов, а их надо найти. Грош нам всем цена, если мы их не найдем».

После этого он вдруг совершенно неожиданно пожелал мне спокойной ночи и ушел к себе, а я остался сидеть, как дурак, охваченный неприятными предчувствиями. Ох, будут у нас еще хлопоты с Хароном! Ох, будут. И что за отвратительная манера уходить, не окончив спора? Уже первый час ночи, а сна ни в одном глазу.

Кстати, сегодня в первый раз сдавал желудочный сок. Ничего страшного, только глотать неприятно, но говорят, что к этому быстро привыкаешь. Если сдавать ежедневно по двести граммов, то это составит сто пятьдесят в месяц. Однако!

14 ИЮНЯ. Температура плюс двадцать два, облачность ноль баллов, ветра нет. Вышли, наконец, новые марки. Боже мой, какая прелесть! Я купил весь выпуск в квартблоках, а потом не удержался и купил полные листы. Хватит экономить. Теперь я могу кое-что себе позволить. Ходили с Гермией сдавать желудочный сок, в дальнейшем буду ходить один. Есть слух, будто пришел циркуляр министерства образования, подтверждающий прежнее положение о пенсиях, однако подробностей узнать мне не удалось. Господин Никострат не вышел на службу — прислал младшего брата сказать, что простудился и гриппует. Поговаривают, однако, что вовсе не гриппует, а неосторожно где-то упал и получил внутренние повреждения. Ай да Харон! Артемида ходит тише воды, ниже травы.

Да, совсем забыл. Заглянул я сегодня в гостиную и вижу: сидит Харон, а с ним какой-то приятный господин в больших очках. Я узнал его и буквально окаменел. Это был тот самый инсургент, которого на моих глазах захватили фермеры. Он тоже меня узнал и тоже окаменел. Некоторое время мы смотрели друг на друга, потом я опомнился и, поклонившись, вышел. Не знаю, что он там обо мне говорил Харону. Впрочем, он скоро удалился. Я прямо утверждаю: мне это не нравится. Если они будут заниматься легальной борьбой, как им официально предложили, всякими там митингами, брошюрками, газетами, — тогда пожалуйста. Но если я еще хоть раз увижу в своем доме автоматы и прочее железо, тогда уж прошу прощения, дорогой зять. Здесь наши дорожки разойдутся. Хватит с меня.

Чтобы успокоиться, перечитал сейчас вчерашнюю запись своей беседы с Хароном. По-моему, логика моя безукоризненна. Он так ничего и не сумел возразить. Жалко только, что записал я гораздо более связно и убедительно, чем говорил. Говорить я совершенно не умею, это мое слабое место.

В утренних газетах было интересное сообщение о всеобщей демобилизации и полной демилитаризации страны. Слава богу, наконец-то додумались! Надо понимать, что марсиане взяли дело обороны целиком в свои руки, и нам теперь эта оборона не будет стоить ни гроша, если не считать, конечно, желудочного сока. В речи президента об этом прямо ничего не сказано, но это читается между строк. Бывшие военные расходы, сказал он, направляются на повышение благосостояния и на развитие судостроения, предстоят определенные трудности, связанные с сокращением военной промышленности, однако это явление чисто временное. И еще он подчеркнул несколько раз, что никто от реорганизации не пострадает. Я понимаю это так, что военные промышленники и генералы получат хороший куш. Богатый народ, эти марсиане! А демобилизация уже началась. Парал распространяет слухи, что и полиция также будет упразднена. Пандерей хотел его засадить, но мы не позволили. Слухи, конечно, это только слухи, но на месте Пандерея я бы вел себя сейчас осторожнее.

Нет, не хочется мне сегодня ничего записывать. Возьму-ка я сейчас свою вчерашнюю речь перед Хароном и перепишу ее начисто. Хорошая речь.

15 ИЮНЯ. Утро выдалось на редкость чистое и ясное. (Температура плюс двадцать один, облачность ноль баллов, ветра нет). Как приятно встать рано утром, когда солнце уже разогнало утренний туман, но воздух еще свеж и прохладен и хранит в себе ночные ароматы. Мельчайшие капли росы мириадами радуг дрожат и переливаются подобно драгоценным камням на каждой травинке, на каждом листочке, на каждой паутинке, которую хлопотливый паучок протянул за ночь от своего домика к колышащейся веточке. Нет, с художественной прозой у меня получается не так хорошо. С одной стороны, вроде бы все правильно, на месте, красиво, но все-таки как-то... не знаю, что-то не то. Ну, ладно.

Второй день подряд мы все отличаемся отменным аппетитом. Говорят, все дело в синем хлебе. Действительно, это удивительный продукт. Прежде я никогда не ел хлеба вне бутербродов и вообще мало ел хлеба, теперь же я буквально им объедаюсь. Он тает во рту, как пирожное, и совершенно не обременяет желудка. Даже Артемиды, которая всегда заботилась о сохранении фигуры гораздо больше, чем о сохранении семьи, не может теперь удержаться и ест так, как надлежит есть молодой здоровой женщине ее возраста. Харон тоже ест и похваливает. На мои не лишние язвительности намеки он отвечает только: «Одно другому не мешает, отец. Одно другому не мешает».

После завтрака я направился в мэрию и пришел как раз к началу присутствия. Наших на «пяточке» еще не было. Господин Никострат выглядит неважно. При каждом движении он морщится, хватается за бок и время от времени тихонько постанывает. Разговаривает он болезненным шепотом, на ногти же свои не обращает никакого внимания. За все время нашей беседы он ни разу не посмотрел на меня, но разговаривал вежливо, учтиво и без малейшей примеси обычной своей иронии. Действительно, получен циркуляр, подтверждающий прежнее положение о пенсионном обеспечении. Мои бумаги, вероятно, уже у министра. Надо думать, все обойдется благополучно и я получу первый разряд, однако не помешало бы попросить господина мэра направить министру особое письмо, в котором подтверждалось бы мое личное участие в вооруженной борьбе против инсургентов. Эта мысль

мне очень понравилась, и мы с господином Никостратом договорились, что черновик такого донесения составляю я, а он его отредактирует и представит господину мэру на рассмотрение.

А тем временем на «пятакче» уже собрались наши. Последним подошел Морфей, и мы его оштрафовали. Довольно либерализма, мы последнее время совсем запустили клубные дела. Всех страшно интересовал один вопрос: кончилось ли дело между Хароном и господином Никостратом. Меня заставили самым подробным образом описать все, что я видел, и некоторое время одноногий Полифем с Силеном спорили, что именно может быть повреждено у господина Никострата. Как человек бывалый и унтер-офицер, Полифем утверждал, что при такой схватке у господина секретаря должен быть поврежден копчик, потому что только точно нацеленный удар носком сапога в соответствующее место мог вызвать описанный мною способ оставления господином Никостратом поля боя.

Меня расспрашивали также, продолжает ли Артемида питать благосклонность к господину Никострату, и когда я решительно отказался отвечать на этот бестактный вопрос, заключили почти единогласно, что, конечно же, да, продолжает. «Женщина есть женщина, — сказал желчный Парал. — Женщине всегда мало одного мужчины, это лежит в ее биологической природе». Я окончательно рассердился и заметил, что такое свойство женщин лежит скорее в биологической природе некоторых мужчин, вроде Парала, и все нашли мою шутку очень остроумной, поскольку все недолюбливали Парала за его желчность, а во-вторых, вспомнили, что в свое время, еще до войны, от него убежала с коммивояжером молодая жена. Возникла весьма благоприятная ситуация, чтобы поставить, наконец, Парала с его вечными квази-философскими сентенциями на место.

Уже Морфей, придумавший новую остроту, заранее давась от смеха, хватал всех за руки и кричал: «Нет, вы послушайте, что я скажу!», но тут как всегда не ко времени приперся этот старый осел Пандерей и, не разобравшись в предмете разговора, объявил своим громовым голосом, что нынче к нам из-за границы пришла такая мода — жить втроем, вчетвером с одной женщиной, как это водится между кошками. Ну что тут будешь делать! Остается только руками развести. Парал немедленно ухватился за это высказывание и моментально перевел разговор на личность Пандерея. «Да, Пан, — сказал он. — Ты сегодня в ударе, старик, такого я не слыхивал даже от своего младшего зятя-майора». Второго зятя Парала знали далеко за пределами города, удержаться было невозможно, и все мы так и покатались со смеху, а Парал еще добавил со скорбным видом: «Нет, старички, зря мы все-таки демилитаризуемся. Нам, старички, надо было бы лучше деполицироваться или, на худой конец, депандерейзироваться». Пандерей немедленно раздулся, как рыба-шар, застегнул китель на все пуговицы и гаркнул: «Поговорили — все!..»

Идти на донорский пункт было еще рано, и я направился к Ахилесу. Я прочел ему свою переписанную начисто речь перед Хароном. Он слушал меня, раскрыв рот. Успех был полный. Вот его точные слова, когда я закончил чтение: «Это написал настоящий трибун, Феб! Где ты это взял?» Я немножко поломался для пушного эффекта, а потом объяснил, как было дело. Но он не поверил! Он объявил, что отставному учителю астрономии просто не под силу столь точно сформулировать мысли и чаяния просто народа. Это под силу только великим писателям, говорил он, или великим политическим деятелям. А я что-то не вижу у нас в стране, говорил он, ни великих писателей ни великих политических деятелей.

«Феб, ты украл это у марсиан, — сказал он. — Признайся, старина, я никому не скажу». Я был в растерянности. Его недоверие одно-

временно и льстило мне, и вызвало во мне досаду. А тут еще он вдруг покачивает мне запечатанный конверт из плотной черной бумаги. «Что это?» — спрашиваю я с нарочитой небрежностью, в то время как сердце мое уже почуяло беду и заняло от дурных предчувствий. «Марки, — говорит этот гордец. — Настоящие. Оттуда!» Не помню, как я справился с собой. Словно в тумане слушал я его восторги, выражаемые деланно-сочувственным тоном. А он вертел конверт перед моим носом и все рассказывал мне, какая это редкость, до какой степени невозможно их нигде достать, какие баснословные суммы предлагал ему уже за них сам Хтоний и как ловко поступил он, Ахиллес, потребовав компенсации за изъятые лекарства не деньгами, а марками. Суммы, которые он небрежно называл, привели меня в полнейшее смятение. Оказывается, рыночные цены на марсианские марки так высоки, что никакая пенсия первого класса и никакой желудочный сок не способны что-либо изменить в моем положении. Но в конце концов я опомнился, меня осенило, и я попросил Ахиллеса показать мне эти марки. И все стало ясно. Этот хитрец замылся, растерялся и принялся лепетать что-то о том, будто эти марки, будучи марсианскими, боятся света подобно фотографической бумаге, что рассматривать их можно только при специальном освещении, а здесь, в аптеке, соответствующего оборудования у него нет. Я приободрился и попросил разрешения заглянуть к нему вечером домой. Без всякой живости он пригласил меня, сказавши, что, честно говоря, дома у него пока тоже нет специального оборудования, но к завтрашнему вечеру он постарается что-нибудь придумать. Вот в это я верю. Он наверняка что-нибудь придумает. Наверняка окажется, что эти марки растворяются в воздухе или что вообще смотреть на них нельзя, и можно только щупать руками.

В разгар нашей беседы я вдруг услышал чье-то дыхание над своим левым ухом и краем глаза уловил некое движение рядом с собой. Я сразу вспомнил таинственное посещение и резко обернулся, но это оказалась прислуга мадам Персефоны, которая пришла попросить чего-нибудь повернее. В поисках препарата, который удовлетворил бы мадам Персефону, Ахиллес удалился в лабораторию и, по-видимому, вознамерился не возвращаться до тех пор, пока я не уйду. Я ушел, не скрывая иронии.

На донорском пункте меня ожидал приятный сюрприз: соответствующие анализы выявили, что в силу имеющихся у меня внутренних хронических заболеваний желудочный сок мой надлежит относить к первому сорту, так что за сто граммов сока мне будут теперь выплачивать на сорок процентов больше, нежели всем прочим. Мато того, дежурный фельдшер намекнул мне, что употребляя в умеренных, но достаточных количествах «синюховку», я смогу добиться перехода в сорт экстра и получать за сто граммов на семьдесят-восемьдесят процентов больше. Я боюсь сглазить, но, кажется, наконец впервые в жизни мне немножечко повезло.

В самом радужном настроении я отправился в трактир и пробыл там до позднего вечера. Было очень весело. Во-первых, Япет теперь всю торговлю синюховкой, которую поставляют ему оптом от местных фермеры. От синюховки неприятная отрыжка, но она дешева, пьется очень легко и дает приятное веселое опьянение. Очень по развлек один из молодых людей в узком пальто. Я так и не научился различать их и до сегодняшнего вечера испытывал к обоим естественную неприязнь, которую разделяли со мною большинство наших. Обычно эти грозные победители господина Лаомедонта, вместе с их порознь, проводили в трактире все время от обеда и до закрытия сидели у стойки, пили и упорно молчали, словно бы никого не замечая вокруг. Однако сегодня этот молодой человек вдруг оторвался

стойки, подошел к нашему столу и, когда все настороженно замолчали, в наступившей тишине прежде всего заказал выпивку на всю компанию. Затем он уселся между Полифемом и Силеном и громко произнес: «Эак». Сначала все мы решили, что у него отрыжка, и Полифем по-своему обыкновению сказал ему: «С приветом». Однако молодой человек несколько обиженно пояснил, что Эак — это его имя и что называли его так в честь сына Зевса и Эгины, отца Теламона и Пелея, деда Эанта Большого. Полифем немедленно принес свои извинения и предложил выпить за здоровье Эака, так что инцидент был полностью исчерпан. Мы все тоже представились, и очень скоро Эак стал среди нас как дома. Он оказался прекрасным рассказчиком, мы просто животы надорвали, слушая его.

Особенно нам понравилось, как они намыливали пол в гостиной, раздевали барышень и устраивали за ними погони. Это у них называлось «играть в пятнашки», и рассказывал он об этом уморительнейшим образом. Должен признаться, что мы все ощущали все-таки некоторый стыд за наше захоlustье, где ни о чем подобном слыхом не слыхали, и поэтому очень уместной оказалась остроумная эскапада наших молодых шелопаев из компании господина Никострата.

Они появились на площади, ведя за собой на веревке крупного рыжевато-красного петуха. Господи, до чего же смешно это было! Распевая «Ниобу-Ниобею», они последовали через всю площадь прямо в трактир. Здесь они обступили стойку и потребовали для себя бренди, а для петуха — синюховку. При этом они во всеуслышание объявили, что празднуют наступление у петуха половой зрелости и приглашают участвовать всех желающих. Мы чуть не лопнули. Эак тоже хохотал вместе с нами, так что город наш, как некий центр остроумных развлечений, был несколько реабилитирован в глазах этого столичного жителя.

Еще интересно было, когда пришел Ахиллес и сообщил, что из зала заседаний мэрии похищено шесть стульев полумягких. Пандерей уже обследовал место преступления и утверждает, что напал на след. Он говорит, что похитителей было двое, причем у одного была велюровая шляпа, а у другого шесть пальцев на правой ноге, но вообще-то все уверены, что стулья украл городской казначей. Желчный Парал так прямо и заявил: «Ну вот он и опять выкрутился. Теперь все будут говорить об этих дурацких стульях и начисто позабудут про последнюю растрату».

Когда я вернулся домой, Харон еще сидел в редакции, и мы поужинали втроем.

Сейчас я выглянул в окно. Дивная летняя ночь распахнула над городом бездонное небо, усеянное мириадами мерцающих звезд. Теплый ветерок струит волшебные ароматы и ласкает ветви уснувших деревьев. Чу! — слышится легкое жужжание заблудившегося в траве светлячка, спешащего на свидание к своей изумрудной возлюбленной. Сон и благодать опустились на уставший от дневных трудов городок. Нет, как-то не так все-таки. Ну ладно. Я это к тому, что красиво было, когда над городом символом мира и безопасности бесшумно прошли в вышине сияющие волшебным светом огромные летающие корабли, сразу видно, что не наши.

Свою речь я назову «Покой и уверенность» и отдам Харону в газету. Пусть только попробует не напечатать. Как это так, весь город за, а один, видите ли, против! Не выйдет, дорогой зятек, не выйдет!

Схожу, посмотрю, как там Гермiona.

К о н е ц



Владимир МУТИН.
Амир ХАЗИН

ТОРЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ

Выстрел на рассвете

— Кто стрелял?

Островский остервенело рванул маузер из кобуры.

— Я спрашиваю: кто стрелял? Приготовить винтовки к осмотру!

1. Последнее преступление Лютера

— Будешь говорить?—волосатый, униженный перстнями кулак прапорщика Лютера снова взмыл над Куприяном Бекетовым. И снова—в который раз!—на Бекетова посыпались удары нагайки.

Третий день Лютер бился над упрямым, безуспешно пытаясь вырвать признание, куда ушел отряд Каландаришвили.

А Бекетов молчал. Дважды его отливали водой. И на этот раз его со связанными за спиной руками снова втокнули в избу нарынского кулака, предавшего Бекетова и группу красногвардейцев Каландаришвили.

В избе, кроме хозяина и прапорщика Лютера, было еще несколько человек из свиты семеновского карателя. Стол заставлен бутылками и снедью.

Связанные руки затекли. Мокрая, избитая в клочья рубаха липла к избитому саднящему телу. По плечам, по рукам по лицу вдоль и поперек пролегли кровавые рубцы.

— Ну, большевик, говорить будем или молчать?—Лютер поднялся над столом. Бекетов молчал, стиснув зубы.

— Ну, большевистская сволочь, куда делись партизаны?—Лютер закрутил переметом Бекетова волосаной нагайкой.

Молчание.

— Власти захотели?—Лицо семеновского карателя нервно дергалось.—На колени, комиссар!

Два дюжих казака надели на плечи Бекетова. Рослый, широкоплечий Бекетов резко повел плечом, казаки отлепились. Но в следующую минуту уже шесть человек снова надели на председателя Нарынского Совета солдатских, крестьянских и рабочих депутатов. Кто-то сделал подножку. Бекетов повалился на пол, увлекая за собой карателей.

А через несколько дней, как только забрезжил мутный зимний рассвет, его вместе с группой красногвардейцев вывели на улицу Кяхты.

Окруженные плотной стеной коновязей, заков, под плач женщин и детей, шли они полуголые, измученные. Казаки на лошадях отгоняли женщин, наступая хлыстами на лошадей и пленников. Впереди ехал Лютер.

На площади усатый сотник пересчитал арестованных и развалистой походкой пошел к Лютеру. Чуть поодаль скорбно стояли женщины, прижав к себе ребятишек. Бекетов в последний раз обвел взглядом друзей.

— Прощайте, товарищи!

— Прощай и ты, Куприян!

— Разговорились!—наезжая на Бекетова, закричал Лютер. — На том свете наговоритесь... Товсь!—повернул коня прапорщик к казакам.

Последние слова Куприяна Бекетова: «Вам отомстит трудовой народ! Вы, предатели, предстанете перед народным судом за свои...»—оборвал залп.

2. Подполье действует

Эта глава написана Трофимом Григорьевичем Гармаевым и была опубликована в книге «Партизаны Прибайкалья», вышедшей в Улан-Удэ в 1957 году.

«Совет был избран из 17 человек, в который входили от бурят-казачков Чагдуржапов Николай Цыренович и Галсанов Ринчин, а я был избран председателем Совета.

Волревком и Совет рабочих и крестьянских депутатов просуществовали всего один месяц и 17 дней.

После этого Совет ушел в подполье. Работу проводили по селам Джиды. В селе Цакир действовала большевистская группа, которой руководил Ловцев Александр, в селе Хамней—Компанец Яков и Попов Иннокентий, в селе Михайловка—Бессонов Александр. В Нарыне группу возглавляли Бекетов Куприян Павлович; Васильев Илья Агарович, Десятов Анемпоис Фёдорович и другие.

В августе восемнадцатого года по сёлам Джиды проходил партизанский отряд Лядушки Каландаришвили, следовавший на запад на соединение с Красной Армией.

За его отрядом гнались три эскадрона белогвардейских банд из Верхнеудинска и два из Троицкосавска. Банды белых хотели уничтожить отряд Каландаришвили и уничтожить его. Два эскадрона белых зашли в село Копчеранку, взяли партизана Аверина проводником, который всю ночь

путал их по острову Торейского дуга и на рассвете подвёл к селу Шартыкей, откуда он сбежал и поднял тревогу в отряде партизан. Это спасло отряд Каландаришвили, который половину банды белогвардейцев уничтожил.

После ухода из Джиды партизан Каландаришвили в сёлах бесчинствовал карательный отряд белых под командой прапорщика Лютера. Кулачество сел занялось предательством актива бедноты и партизан. Начались зверские расправы с партизанами и их семьями.

В ноябре-декабре 1919 года карательный отряд Лютера по команде из Кяхты, где стоял отряд белых, под видом самообороны провёл мобилизацию казаков джидинских сёл в количестве пятисот сабель для подавления Бичурского восстания партизан.

3. Приказ: „В банду!“

На большом дощатом столе, уже изрядно изъеденном временем, чадит плошка. Огонёк — только для того, чтобы высветить бороздчатые лица руководителей партизанского подполья. Обжигаясь, пьют вкрутую заваренный чай, выхаживают самокрутками. Молчат. Думают. Долго молчат.

— Так что, товарищи, будем делать?—спрашивает, обводя глазами сгрудившихся за столом людей, командир отряда Абрам Корнилович Злыгостев.

И снова молчат. Думают. Степша Лыков — отрядный связной, всё ещё не может отогреться чаем. Бездорожьём, сугробами, тайгой, тридцать верст, которые черт кочергой мерял, пробирался он на этот заброшенный хутор. И то, что он рассказал, и заставило собраться всех за этим столом:

— В Желтуре арестовал Лютер тридцать активистов. Избиты в улусе Улукчин, Тогочеев, Улзутуев, Собахаев. Кулак Борисов выдал приезжих крестьян. В Торее послезавтра будут расстреляны. Казаки Лютера по сёлам хватают молодых парней, отбирают лошадей, насильничают, грабят...

— Может, в Бичуру податься? И с бичурскими партизанами на выручку товарищам?—сказал кто-то.

— Не успеть... Да и силёнок маловато—в Бичуру не прорваться.

— Дедушку бы сюда!

— Дедушка далеко. Поди, с красными поговори.

Жёлтое пламя боязливо заметалось по пням, тревожно зашевелились большие локматые тени на стенах—распахнулась дверь.

— Трофим Григорьевич, тебя спрашивают. Брат, говорит, твой. Впускать али нет?

— Пропусти!

Через несколько минут прибывший распутывал заиндевший башлык.

— Ты как к нам, Федор? — здороваясь с братом, спросил Трофим.

— От Лютера убег, ядрёна корень! Приказал быть при сабле и при лошади. Подчистую всех мобилизовал. На Бичуру, говорят, силищу собирает.— Фёдор, обжигаясь, пил кем-то поданный чай.— Слышали, в Желтуре наших арестовали?

— Слышали,—раздался угрюмый голос.

— Намедни приехали казаки ихние с есаулом,—продолжал рассказывать Фёдор. — Собрали мужиков и которых помоложе—и айда в свой отряд. Вот и я попал.

— А где сейчас Лютер?

— В Хулдате на ночёвке. Я на баз за нуждой, а сам на Серко—и до вас.

— А сколько их там, в Хулдате?—спросил командир отряда.

— Сабель с двести будет.

— Э-эх, силёнок маловато,—роняет сидящий за столом бородатый казак.

— Да, сорок против двести не попрёшь.

— А всё-таки надо наших выручать.

Трофим Григорьевич поднялся со стула и медленно проговорил:

— Однако, братуха, придётся тебе назад вертаться, в банду.

— Ты что, своих рубать отправляешь?

— погоди, Федя, не беленись!

— Нет, ни в какую не поеду! Что хошь делайте со мной—не поеду!

— Дело здесь вот в чём,—Трофим наклонился над столом, обвёл всех взглядом и глухо проронил:

— Убрать надо Лютера! Всё на нем держится... На боязни...

4. Осечка

Эта фраза: «Убрать надо Лютера»—всё тревожнее билась в голове Федора, пока он добирался глубокой ночью обратно в

Хулдат. На совете в партизанском отряде было обговорено, что сегодня же ночью Фёдор должен застрелить ставленника атамана Семёнова. Пока будет идти разбирательство, попытаться освободить в Торее и в Желтуре арестованных красногвардейцев и крестьян...

Об этом же думал Фёдор, лежа на сеновале в душистом сене. Взвездя затвор винтовки, он смотрел на лучики света из дома, где пьянствовал Лютер, и ждал. У прапорщика была привычка выходить на крыльцо и любоваться звездами...

В эту ночь прапорщик или перепил или просто боялся мороза, но приказа Фёдор не выполнил...

5. В логове

Утром банда и мобилизованные выехали в Торей. И снова почти весь день Лютер самолично допрашивал и пытал арестованных.

Фёдор всё время был у дома, где оставился прапорщик. Большой пятистенник торейского попа стоял на пригорке возле самой церкви. В ограду, сплошь заставленную возами и лошадьми, постоянно въезжали и выезжали из нее верховые. Заборы, словно воробьи, обживали ребятишки. Так много людей ещё никогда не наезжало в их деревню, и поэтому все это представляло для них жуткий интерес.

Провели во двор новую партию новобранцев.

— Баб не пущать!—крикнул сотник казачьему, рябому казаку.

— Чу, нашему полку прибыло!—скручивая сигарку, ухмыльнулся казак и тут же выставив винтовку наперевес, прикрикнул на плачущих женщин:

— Цыц вы, коровы! Куды прете?

Среди этого говора и шума Фёдора всё время мучила мысль: «А что, если погнаться сейчас?» И тут же вспоминался приказ Злыгостева: «Без нужды не рисковать и стрелять только наверняка. Другой возможности уже не будет...»

Из дома двое казаков волоком вытащили красногвардейца. Следом вышел Лютер. Казаки бросили человека под навес на припорошенную снегом солому. Телодержатель подвёл Лютеру коня. Привычно бросив своё коротконогое тучное тело в

седло, прапорщик резко потянул поводья. Жеребец присел и, в тот же миг, прищипленный, галопом выскочил на прицерковную площадь. Следом ускакали телохранители Лютера и начальник белой милиции Островский.

Мысленно Фёдор уже видел Лютера через мушку, рука невольно потянула ремень винтовки, и он уже перехватил другой рукой цевьё...

— Ты чо, приказа не слышал?!—отрезвил его грубый голос.— По коням! Разучились, рас-туды...

Новобранцы с явной неохотой садились в сёдла. Что их может ждать? Призванные под дулами винтовок, они, не успевшие ещё во многом разобраться, всё же подспудно понимали, на чьей стороне правда. И потому то, что произойдёт дальше, будет логическим завершением этой маленькой истории.

6. Бессонная ночь

Всех мобилизованных к ночи расквартировали во дворе складов общества потребителей. Волнения предыдущей ночи и нервный сегодняшний день сделали своё дело—Фёдор снова не сомкнул глаз. Он лежал на соломе в полухолодной сараюшке, где всю ночь мирно жевали сено и фыркали лошади.

Завтра утром семнадцать торейских краснопвардейцев будут расстреляны на крутом яру. А он, Фёдор, ничем не смог помешать этому. Он не выполнил приказ, и выйти со двора ночью незаметно не удалось. Да он и не знает, где ночует Лютер...

7. Через много-много лет

— Фёдор Григорьевич, вспомните, пожалуйста, подробнее, как всё происходило. Мы задаем этот вопрос бывшему крас-

ному партизану, ныне пенсионеру Фёдору Григорьевичу Гармаеву. Он приехал в Ангарск из Забайкалья к своей дочери, внукам и сыновьям. В селе Тохой Селенгинского района, где Федор Григорьевич живет, в клубе висит его портрет и пионерская дружина носит его имя. Дома он бережно хранит треугольный кумач—пионерский галстук, старик—почетный пионер...

— А все как происходило?—Гармаев последний раз затянулся глубоко дымом, придавил пальцем в берёзовой самодельной трубке огонек.—Значит так было. Утром мы седлали лошадей. Лютер верхом въехал во двор и закричал: «По коням!», а сам встал на стремяна—этим временем подогнуть шинелку.—Ну тут чо делать было? Думаю—была не была: кладу винтовку на седло своего Серка, ловлю на мушку и нажимаю курок. А рассвет мутный был: только забрезжило. И разобрать-то не смогли, кто и откуда стрелил... Лютер как стоял в седле, так и повалился на правый бок. И повис на стремях. Тут бандюги и закричали: кто стрелял? Начальник милиции Островский выскочил на крыльцо амбара, в руках маузер—и орёт: «Винтовки к осмотру!» Тут я маленько трухнул. Телохранители пошли проверять уже с двух сторон. Вздвонный наш был—Щелкунов Фёдор Иванович—в ответ и закричал: «В винтовке-то пять патронов. Один улетел, а остальные четыре кому?» Новобранцы затворы взвели—и стволы на карателей. Островский прыгнул в седло и ускакал, а за ним и бандюги. А мобилизованные арестованных освободили и все по домам разехались. Я первым делом в отряд, так, мол, и так: Лютера порешил, арестованные на свободе.

Отчаянное было время... Много крови за нашу власть пролили! Били Уигерна, атамана Семёнова. У нас в селе эскадрон был, командовал им Константин Константинович Рокоссовский, тот, что маршалом теперь. В одном из боёв под ним была лошадь убита, а он, хоть ранен был, командовал боем...

И снова старик задумчиво повторяет:

— Много было за нашу власть голов сложено...



Байкальские этюды

Валерий Харахинов три года назад окончил Иркутский университет имени Жданова. Поработав в редакции газеты «Восточно-Сибирская правда», он уехал на Байкал. Работал лаборантом в Лимнологическом институте, судосборщиком на Листвянской судовой верфи имени Ярославского, плавал матросом на пассажирском пароходе «Комсомолец», был рабочим на киносъемках в Максимихе, рыбачил на Ольхоне, работал лесником в Баргузинском заповеднике, горнопроходчиком Чайской геологоразведочной партии Северо-Байкальской экспедиции, жил среди эвенков-охотников и оленеводов.

Интересные впечатления, встречи, знакомства, наблюдения вылились в большое очерковое полотно, на котором молодой журналист пытается изобразить священный Байкал, людей сибирского Подлеморья.

Байкальские этюды Валерия Харахинова звучат как бы творческой заявкой, предисловием ко всему его творчеству в будущем.

Предисловие к морю

Предисловие обычно пишется к книге. Оно — как напутствие к знакомству с добрым, большим человеком. Предисловие — это начало. А где начало у моря? Где берет начало Байкал? Там, где сверкает Баргузинская пойма? Или где омывает север Кичера? А может, причиной тому Селенга? И то, и другое, и все это вместе: пятьсот сорок рек и ручьев несут свои воды в Байкал.

А может, он начинается здесь — у отвесного яра, над которым па-

рят облака? С его высоты открывается море, слышны крики чаши, рокот мощной синеволной реки. Здесь — исток Ангары: колыбель легенд и сказаний. Может, здесь и начало Байкала?

Скальный прижим у Шаманского камня зовется Рогаткой. В старину здесь была таможня; странники хватали политкаторжан, искали у бродяг золотишко, приносились к «пачпортам» заморских гостей. Сейчас на Рогатке — дом отдыха, судовой верфь и единст-

венный в мире институт лимнологии.

Окна его трехэтажного здания устремились к солнцу и сини, к морю, для которого рожден институт. Солнце скользит над опрокинутым небом. Ветер несет шум загадочных волн. Бай-гал — «Огненное море» — называют буряты. Бай-коль — «Богатое озеро» — зовется он по-якутски. Байхай — «Золотое озеро» — говорят алтайцы.

Сюда приезжает мать с детьми, чтобы привить им любовь к родному краю; старый учитель, собравшийся рассказать ученикам о Байкале; молодой инженер; по этим солнцепроизанным залам музея ходил восхищенный Фидель Кастро; здесь можно увидеть самых различных людей — нет в мире озера, которое привлекало бы к себе столько внимания. В его «паспорте» — на высоком плексигласовом стенде в музее института — все «самое-самое»:

самое чистое;
самое глубокое;
самое емкое;
самое редкое.

Солнечный луч, как указка, скользит по дюралевой окантовке стендов. Удивительные экспонаты собраны в этом музее. Сотни маленьких и больших экспонатов олицетворяют собой внутренний мир моря. Здесь нерпа — животное редкое и загадочное, здесь голомянка — живородящая рыбка, десятки подвидов рачков — «бормашей». Большинство представителей этого своеобразного мира обитает только в Байкале.

Это трудно — о сложном рассказать очень просто. Но экскурсовод Валентина Ивановна Галкина — человек природной способности открывать поэзию в будничном, видеть за синей гладью Байкала его многообразие и беспрельстность. Каждый, посетивший музей, пишет признательные слова о ее получасовой лекции-импровизации. В книге записей — ежедневные строчки. Арабская вязь меняется еще неуверенным по-

черком школьника, круглые буквы девичьего почерка — острой готикой немецкого шрифта. Люди благодарны Валентине Ивановне за талант, с которым она знакомит с Байкалом.

И первый накал впечатлений, первое знакомство с его покоряющим миром, эхо первого восторга, вызвавшее жажду служить ему, — это будет предисловие к морю. А море? Море будет еще впереди.

Оно во встречах с людьми, предвиденных и неожиданных, веселых и грустных, мимолетных и долгих, но неизменно остающихся в памяти. Оно — во встречах с учеными и рыбаками Ольхона, в заботах судостроителей и нелегких буднях матросов. Оно — в поединках охотников и работе геологов, во встречах на баргузинской земле и оленьих тропах Гашана.

Глубок былинный Байкал. Глубоки души у людей, живущих на его берегах. Они вроде ничем не выражают своей любви к морю. Они привыкли его чувствовать рядом. Они предвидят и знают каждый прилив и отлив. О нем байкальцы могут говорить буднично, просто, отмахиваясь от лишнего слова. Но они никак не смогут представить себя без Байкала, без его моторных фелюг, без его таежного запаха, без нескончаемой сини, что шершаво подкатывает к берегу.

Байкал высвечивает каждого человека. Он рано или поздно произведет его невидимый спектральный анализ. Байкал это может. Он сделает это на размытой дождями ночной тропе в Баргузинской тайге или в снежных гольцах Огиенды, в море — на одной из бесчисленных рыбацких моторок или на спуске со скалы Ижмиея. Он может напрочь слить разных людей или развести навсегда их дороги и судьбы. Байкал по большому счету прописывает на своих берегах. Он открывается сильным и бескорыстным, пытливым и мужественным.

Здесь жили и работали польские

ссылыные, участники восстания тысяча восемьсот шестьдесят третьего года. Дыбовский и Годлевский исследовали глубину и температуру воды. Они открыли необычайное богатство и своеобразие фауны. Их товарищ по науке и оружию Черский дал геологию побережий Байкала. Вознесенский, впервые описавший климат Байкала, основал первые метеостанции. Исследования их и других ученых — это главы еще не написанной книги. Они работали в невыносимых условиях. Нужно учиться мужеству у этих людей.

Листая страницы изучения озера, листаешь страницы покоряющих судеб. В тысяча девятьсот двадцать первом году сюда приехал профессор Глеб Юрьевич Верещагин. Он возглавил Байкальскую экспедицию, которая должна была еще более проникнуть в глубины Байкала. Глеб Юрьевич был ученым с удивительным складом. Его энергии покорялась даже фантазия. Вести комплексные работы на каком-либо озере не более нескольких километров в окружности — это было еще как-то понятно. Но комплекс на колоссе, каким являлся Байкал, — это было захватывающе и грандиозно. Это стало возможным только после дней Октября.

Верещагин выявлял самые тайные связи в животном мире Байкала. Он старался проникнуть в глубинный мир его и при этом наталкивался на неизвестные виды, роды и даже семейства животных, растений.

Продолжение биографии Глеба Юрьевича — в Лимнологическом институте, который он основал, в открытиях ученых, сотнях больших и маленьких дел, связанных с именем Верещагина. Книга о жизни его и открытиях стала настольной для тех, кто решил познакомиться с славным морю.

МОРЕ привязывает всем своим обликом, своей песенной силой и былинной загадочностью. Оно наделяет своими чертами людей, живущих на его берегах.

Живет человек на Ольхоне. Улыбчивый. Добрый. О нем мало сказать «человек удивительный». О нем больше скажут слова «наш учитель». Тот, кто знает Николая Михайловича, убежден, что именно эти слова — самые верные и самые точные. Ревякина видят всегда с ребятней. Он идет с ними в походы по острову. В ичихах, познавших камни и топи; в рубашке, знающей солнечный зной и хлесткость дождей. Он водит ребят по распадкам, пахнущим груздями и голубицей, заводит в пещеры с древними живописными знаками. И нет такой силы, которая оторвала бы ребят от этого невысокого, голубоглазого человека. Он дает им уроки любви к родимому краю, жажду познать и служить ему.

У наскоро разведенного домовитого костра на Узуре он расскажет о Чингис-хане, по преданию варившем здесь конское мясо. На горе Ижимей поведаст о богатыре Нагре-Бо и лунолицей красавице Загре-Хатан, об орле, подаренном им в сыновья.

Таких людей — а на Байкале их много! — хорошо слушать где-нибудь на Будуне или Халгае, раскинув палатку в ночной тишине. Слушать легенды об Ольхонских воротах, о семи байкальских ветрах, о чутком Ташкае и белом камне Еленки. Вглядываясь в звездное небо в откинutom пологe, нельзя не подумать о русских землепроходцах — о Курбате Иванове, вышедшем первым к Байкалу; о его казаке Семене Скороходе, обогнувшем Байкал, о несмирившемся Аввакуме, оставившем на Руси первые строчки об Огненном море. В такие минуты каждый чувствует себя первооткрывателем и землепроходцем.

В этом нет ничего удивительного. Байкал как бы сам говорит «Ты здесь впервые». Об этом поведают древняя юность тайги, краем глаза увиденный полет кабарги, сложный дурманищий запах ромашки, ромашки, бадана и богородской травы, нетронутые заросли грушанки и мятлика, неуходящий

прохлада долин, где можно привстать на колени у какой-нибудь сосны-ветровалины, припасть губами к замшелому ручью-безымянке и — грудь о грудь — слышать нестареющий пульс родимой земли.

Такие бивуачные ночи с их раздумьями и жаждой к непроясненному навсегда оставляют след в сердце.

Растет в Баргузинской долине гибкий колючий кустарник. Он невысок и неказист. Его называют золотопарником за золотистого цвета кору. Но все-таки лучше бы называть его золотокорнем. У него — корни-символы: начнешь их выкапывать — никогда не дойдешь до конца. Есть что-то вечное, незабвенное в этом неброском растении. О нем вспоминаешь, когда происходит знакомство с такими людьми, как Затеев. Нет в Баргузинской долине людей, кто не знал бы этого высокого, чуть усталого человека. Нет в долине школы, в которой не преподавали бы его ученики.

Вокруг дома Затеева сад. На небольшом песчаном кусочке земли растут стелющиеся низкие яблони. Здесь цветут ранет и антоновка, пепин шафранный и белый налив, алый анис и песчаная вишня, славянка и антоновка белая. Всюду — кусты облепихи, крыжовника и смородины. Не год и не два растил Затеев свой сад. Сад его давно вырос, и в первую рань листопада он дарит плоды ребятишкам.

Он всю свою жизнь прожил в долине. Ему близок каждый уголок. Но есть место, куда Затеев приходит с особенной радостью. Оно находится у самой кромки подгребтовой тайги; в народе это место зовут просто и ласково: «Карлычево поле». «Карлычево поле» — это несколько десятин земли, вспаханных когда-то самим Михельбекером. В последние августовские дни здесь неумолчно шумит пшеничный прибой. Не было года, чтобы с поля снимали плохой урожай. Наверное, есть своя символика в том, что земля, ко-

торую вспахал поэт-декабрист, неистощимо дарит свой урожай людям. Наверное, будет и символика в том, что постоянен в цвету неоскудевающий затеевский сад, полный щедрости и доброты.

О байкальцах можно говорить много и коротко, мало и долго. О Байкале можно писать бесконечно. Нельзя только быть многословным. Вспоминается теплый вечер в Давше — с легким дыханием «сиверка», закатным сиреневым солнцем, с тишиной, наполненной словно из-под земли идущими звуками: далеким гулом прибоя, гуденьем комаров, запоздалым криком кедровок; вечер, когда ощущаешь себя частицей этого большого подвластного мира, один из таких вечеров, который можно пережить в самых различных уголках моря — на скале Улан-Нур или в глубине бухты Ая, в устье Сармы или на Толстом мысу, на острове Беленьком или горе Хада-Хан.

Несколько туристов стояли на жесткой сыпучей кромке песка, по одну сторону которой далеко к горизонту разливалась вечерняя синь, по другую — стояла зеленая, чуть тронутая осенним багрянцем тайга.

Петр Тошев, гость из далекой Болгарии, был молчалив. Байкал тоже станет его откровением, потому что всполохи закатного солнца были сейчас как трепет огней Софии, где он родился, сиреневая дымка с белыми отводами над стройным прибрежным хребтом напоминала ему белые ночи и симфоническую архитектуру великого города, где он учился. Только потом, когда нельзя было не сказать о броской и мужественной силе Байкала, Петр сказал, слегка перефразировав слова знаменитого римского императора Гая Юлия Цезаря:

— «Пришел, увидел... побежден».

Это было сказано точно, лаконично, без пафоса. Старые, тысячекратно повторенные слова обрели первозданную свежесть и силу. Чувствуешь особый накал в про-

стоте, лаконичности и афоризмах.

Есть у одного замечательного прозаика вдохновенные и простые слова: «У слов есть душа. Нужно найти эту душу». Эта мысль — компас каждому, кто собрался пи-

сать о Байкале. Надо помнить об этих программных словах, когда хочешь людям дарить сокровение, когда стараешься выбрать из сетей лексикона самое верное, самое точное слово.

Ты позволишь мне написать о тебе, Байкал!..

Прощание с Маняевым

Байкальская роза распускает свои лепестки лишь поздней весной. Даже в конце мая «шелонник» или «култук» собирают невидимым неводом истонченный пористый лед и то медленно надвигают его на галечный берег, то вдруг с ревом выбрасывают последние льдины на прибрежный песок. Не скупится на непогоду байкальская роза ветров...

— Самый страшный сейчас ветер — «култук», — закуривая, сказал Антюхин.

— Но-о, — протянул Борис Иванович, — «горного» бойся. Ты — в море, подул «горняшка» — считай: хана.

— Нет, я говорю применительно к нам, — поправился, прокашлявшись Антюхин, — «култук» дунет: перевернет баржу ей-ей.

— А-а, — кивнул Борис Иванович, — ну туда ей и дорога.

Антюхин с Мартыновым отдыхали на рундучках, густо дымили и поругивали старую речную посудину. Простояла целую зиму, теперь надо спускать на воду, а —

не готова. Бросили на прорыв лучших сварщиков Протасова и Александра — застопорились работы на стапелях теплохода.

— Штурмовщина, дери ее черт, — бубнил Антюхин, — Нет, чтобы вовремя сплавить ее — затянули.

Вина начальства была очевидна. Но сетованиями не оправдаешься. Баржу требовали. Она должна была доставлять горючее вверх по реке. Баржу ждал Баргузин.

В который раз прибежал Павел Шишов, начальник их цеха, молодой, совсем еще парень. Он не выдержал, глядя на отсыревшие переборки:

— Не «Кая», а Каин проклятый.

Хотя было совсем не до смеха, все рассмеялись. Всем вспомнился тот восемнадцатый Каин, что в одноименной комедии.

— Кто так словчил? — мелькала смешинка в голубых глазах Павла Протасова.

— Есть мудрецы, — уклончиво ответил Павел Шишов. Понималось, чья была эта словесная меткость. Борис Иванович хмыкнул, но ничего не сказал.

С того дня «Каю» звали не иначе, как «Каин». Она уже давно стала средоточием злословия и шуток всех судосборщиков, имеющих касательство к ней. Капитан наставник с порта весело охал, смеясь своей шутке:

— Корпус бы ей сменить. Каин новенькая была бы.

А корпус баржи — это и есть сама «Кая». Слесари, вылезая на



трюма на палубу «Каина», деловито осматривали сбитые клинкеты и ржавые дыры, в который раз предрекали:

— До первого камешка.

— Ха-ха,— свирепел вдруг Павел Протасов. — Ишь ты! Другой «камешек» своротит и новое днище. А этот... — тут Павел вставлял какое-нибудь, отнюдь не малосольное слово,— этот смердит уже на берегу!

Лязгнул проржавевший люк. Гоша, цепляясь брезентовой робой за круглый проем, забирается в трюм. Рядом, за переборкой, уже стучали Мартынов с Антюхиным. Недаром раньше чеканщики звались «стукачами». Сидят двое-трое, пятеро-десять человек за переборками и клепают себе молотками: «Тук-тук!» А эхо по нутру парохода или баржи: «Ух-ух-х!» К концу рабочего дня чеканщики, хотя и часто враз отдыхали, вылезали из паровой прорвы совсем обалдевшими. Потому звали их еще «глухарями». Оттого-то и туги на ухо Мартынов с Антюхиным.

А сейчас что — малина! Р-раз! — сварил. Приварил намертво. Гоша подлаживается к заклепке, и голубой огонек засверкал на стальной переборке. На барже — шестнадцать отсеков. В каждом — по три стенки и борт. И это все — на заклепках. Заваришь одну, а вторая, рядом, нагревшись, пускает «слезу»; соседний, запрессованный водой отсек, тотчас давал знать о себе — на стыках выступала мокреть. Начнешь подбивать в этом месте — «слеза» лезет в другом. С непривычки быстро приходит усталость. На лбу выступала не менее злая мокреть. Было от чего ходить хмурым.

— Ну как? — прибежал каждый день Мэлс Уненов, заместитель Шишова. Если Павла побаивались, то Мэлса любили. Веселый, простой в обращении, он был товарищем каждому сварщику. И каждый сварщик был ему другом. Но ребята молчали. Дела зависели в основном от Антюхина и Бориса

Ивановича. Они чеканщики, они — «стукачи», и они, в сущности, двое теперь будут доклепывать «Каинов» подстаметовое тело. Гоша и Павел стучат молотками лишь из приличия. Сварка, где они были всеильны, теперь ни к чему. Они все чаще и чаще устало идут на «каргу» — длинную отмель, усыпанную галечником и серым байкальским песком.

— А что в нем хорошего? Вода да скалы,— машет рукой Павел. Но в голосе его притаилась хитринка.

— А тайга? — делает простоватое лицо Гоша.

— Что тайга? — «Просто лес здоровеннейший. Комары да болота».

— Ну и отчаливай на Шанхай,— незлобиво бросает Георгий.

— Чего я там не видел? — вдруг обиделся Павел. — Поболе тебя на Байкале живу.

— Да я же здесь родился и вырос,— простодушно улыбается Гоша. Но это не обескураживает Протасова. И, закуривая, он тоже смеется.

Байкал — тихая гордость листвянцев. Сельчане вроде ничем не выражают своей любви к морю. Они привыкли его чувствовать рядом. Они предвидят и знают каждый прилив его и отлив. О нем листвянцы могут говорить буднично, просто, отмахиваясь от лишнего слова. Но они никак не смогут представить себя без Байкала, без моторных фелог, без омулевого жарева, без этой вот сини, которая шершаво подкатывает к берегу, и даже без многочисленных делегаций, туристов, чьей Меккой стало славное море. К ним привыкли, как привык к гостям Гоша.

— К нам опять иностранцы,— прибегали к нему из дирекции. — Хотят пожить в семье простого рабочего. Возьмешь на постой?

К Гоше обращались потому, что дом его стоит у березовой рощи, по-над самым обрывом. Все четыре окна устремились к Байкалу, к сини и солнцу. Чисто, тихо, тепло в Гошином доме. И он еще никому не отказывал в гостеприимстве.

Только однажды осенью он заупрямился.

— Картошку надо копать. Грязь будет, пыль. А они — деликатные люди.

— Прояви сознательность, Гоша,—просили его. — Ну, хотя бы дия на три—на четыре.

— На три—на четыре? Это можно,—«проявлял сознательность» Гоша. Теплыми осенними сумерками он гулял среди листопадных берез с поляками, чехами, англичанами. Он рассказывал им о тайге, о Байкале. Вместе с ними уходил в море рыбачить. В коренастом, с обветренным крупным лицом, сероглазом Георгии виделся тип прибайкальца. И хотя Павел Протасов сам был не обижен природой, на руки и плечи Георгия он смотрел с уважением.

— Вечеровать надо будет, ребята,—подошел Мэлс Уненов. И в его черных глазах была озабоченность. — Указание есть: «баржу — в эти дни».

Вечеровать — значит, остаться после гудка еще на три-четыре часа. Это, значит, в трюме стучать до потемок.

— Повечеруем, — сказали Протасов и Александров, разминая нывшие пальцы.

— Надо, так надо,—утвердили Мартынов с Антюхиным, хотя порывались что-то сказать.

Вечер. Другой. Вечеровали. Просто работали. Пятый день вечерует бригада. Даже привередливый, грозный, невозмутимый Стасюк, начальник ОТК, в ярости хватался за крутые бока, уже не замечая мелких деталей, мимо которых при других обстоятельствах он не прошел бы. Но начальство давило: «любой ценой». Сегодня надо было кончать. Завтра комиссия принимает баржу.

Пятый день вечерует бригада. На территории верфи, еще недавно наполненной гудением станков, шепотом электросварки, веселыми вскриками, после отбоя было тихо, пустынно. Где-нибудь в дальнем углу покажется дежурный пожарник и снова безлюдье. Слышно

только мерное перестукивание Антюхина с Борисом Ивановичем, что-то особенно молчаливым сегодня.

Солнце быстро катилось за горизонт. Оно еще не утратило своей полуденной силы. На море — сплошные блики: легко дул «баргузин». Надсаживаясь, вспучиваясь парами, пропыхтел невзрачный буксир, прокопченный, с облупившейся краской. Несмотря на аршинные, на корме золоченые буквы «Байкал», в округе его зовут только «Байкальчиком», старательно подчеркивая все несоответствие между настоящим Байкалом и названием малосильного судна. «Байкальчик» с натугой гуднул раз, второй, но вдруг его паровой сип потонул в мощном гудке судовой верфи.

Это был не тот призывной гудок, что поднимал по утрам на работу, не тот, словно усталый, что провожал их с нее. Это был протяжный, надрывный гудок. Давно такого не слышала верфь. Тревожный и сильный, он рвал тишину, катился в распадах Черемшанки, Крестовой и долго-долго разносилось эхо над синью Байкала.

— Маняева хоронят, — сняли шапки Мартынов с Антюхиным, — Василия понесли.

Они стояли с сухими глазами, с молотками в руках. Ветер перебирал их волосы с проседью, сдувал пылинки с морщин, приносил обрывки прощального эха. Смуглое, южного типа лицо Бориса Ивановича окаменело. Антюхин покашливал, о чем-то вдруг пожалев. Все-таки надо было бросить хоть горсть в могилу Маняева, потом выпить, смахнув сухую слезу. Конечно, можно было пойти на поминки. И попробуй бы, кто возражи. Но Борис Иванович с Антюхиным почему-то решили остаться. Совсем не потому, что завтра комиссия принимает баржу. Не потому. Лысов будет там. Пухов, Зувев, Чаплинский. Все свои будут там. А они будут здесь. Здесь будут.

Пять минут заходился криком гудок. Пять минут прощалась Листьянка с Маняевым. Гудок стих так же внезапно, как смерть того, кому отдавала прощальную честь судоверфь. Последний пар, вырвавшись из узкой трубы, невозмутимо ушел в поднебесье. И снова тишина, только теперь очень тягостная. Все молчали. В такие минуты обычно молчат. Потом Павел Протасов как-то обреченно вздохнул:

— Вот так: работаешь-работаешь. А потом — раз! И нет тебя. И дыма даже не будет.

— Тебе ли об этом... — посмотрел на Павла Мартынов, но голос его слегка дрогнул: пожилой, он не мог не подумать в эти минуты о своем завершающем дне. Василий Маняев, тот самый Васька, с которым они приехали с Волги в тридцатых годах, уже никогда не придет постучать молотком. Теперь осталось их двое, саратовских, Антюхин и он. А, казалось, давно ли они появились в Листьянке, молодые и сильные. Совсем ведь недавно, даже та вон проплешина на крутосклоне еще не заросла чепурой. Давно ли они клепали с Семенычем — умельцем и шутником — борта «Коммуниста», потом «Комсомольца» — самых крупных судов на Байкале... Нет, давно. Давно уже ходят «Коммунист» с «Комсомольцем». Так давно, что министерство на капремонт их уже не определяет. Отжили, мол, свое, пусть дотягивают.

Борис Иванович думает. Печалится Борис Иванович, переживает. Придет день — поставят эти суда на прикол, как стоит сейчас ледокол «Ангара». Вырежут из них лучшую сталь и только голые остовы будут потом чернеть на бесконечно синей воде. И «Кая» вот: чеканишь — надсаживаешься, глотишь, а она возьмет да утонет где-нибудь на реке Баргузин. Вот тебе и след на земле.

Думает Борис Иванович, думает. Были бы еще сыновья. Туда-сюда ладно. Главное — фамилия бы осталась: Мартынов. Гордая ведь фа-

милія, рабочая. Аи нет — пять дочерей, куча внуков, а фамилия, фамилия нет. Борис Иванович сплевывает сразу ставший горьким окурок и — вздрагивает: зычный гудок снова разорвал тишину, он опять наполнил ее тревогой, болью утраты и еще чем-то острым, от чего схватило дыхание и пружинилось тело.

Где-то вдали откликнулся катер, другой. Подала сирену «Ракета», построенная здесь же, на верфи. Вдруг донесся мощный бас «Коммуниста», знакомого до последней заклепки. «Коммунист» пошел в рейс. Его бас, растаявший было во мгле, порывисто приносил «баргузин» — то с Маняевым прощался Байкал.

— Стало быть, два раза реши-ли, — сказал тихо Мартынов. — Правильно. Человек ушел ведь. Совсем ушел друг Маняев.

Борис Иванович, Антюхин и Павел снова накинули шапки. Гоши не было. Гоша два дня назад уехал в Иркутск, в областную больницу. В последние дни он ходил с подпухшим слезящимся глазом: во время чеканки в глаз попала окалина. Но — нахмуренность Павла Шишова, красноречивые трюмные «слезы», надежды на «авось да пройдет» — и Гоша работал. Но потом боль в глазу то и дело заставляла поднимать защитный козырек. Гоша, не снимая верхонки, нещадно тер глаз.

— Давай завтра к врачу! Без глаза останешься! — кричал Павел Протасов на друга. — Потерпит этот «девятнадцатый Каин»!

И Гоша — забюллетенил. Пришел с перевязанным глазом, довольный, что вовремя обратился к врачам. Еще немного — окалина вошла бы в стекловидное тело и начала бы гноиться. А там — до свидания, глаз!

Борис Иванович выслушал Гошу, осуждающе покачал головой, и полез в трюм. Через минуту-другую оттуда донеслось погромыхивание. Гоша с Павлом ушли: в тесном кормовом ахтерпике четверым делать нечего.

— Самый страшный сейчас ветер — «горняк», — сказал через три гулких часа полуоглохший Антюхин. — Как бы не снес «Каю» с колодок. Поту-то спущено.

— Года два еще выдюжит. А там — новую спустим, — говорит тихо Мартынов.

Как и в первый тот вечер, они сидят на барже. От зубил ныли пальцы. От шума ломило в ушах. Но на душе было спокойно. Только что подбита последняя заклепка в последнем отсеке. Завтра его останется лишь заполнить водой. Но мокрети не будет. Мартынов с Ан-

тюхиным в этом уверены... Комиссия завтра примет баржу.

Отдохнув, они спустились по сходням на землю и, не снимая брезентовых роб, медленно, валко пошли к проходной. В синих сумерках недвижно плыл теплоход. Казалось, он занимал полтерритории верфи. Баржа рядом с ним была жалким обрубышем. То будет головной теплоход. Такого типа — первый в Союзе. Будущий флагман Байкальского флота, он словно звал их сейчас к себе, на свои стапеля. И они придут туда. Придут туда завтра.

Завтра тоже будет работа.

Еще один с „Кап Аркона“

Кафе стоит на пригорке. И каждое утро, когда он идет на работу, солнце держит пригорок на своей широкой ладони. И тогда кажется, что кафе висит в воздухе.



У архитектора, бросившего первые штрихи на ватман, был хороший вкус. Иначе, зачем бы в кафе приходило столько людей. Он также не отказывал себе в удовольствии посидеть в кафе. «Но почему именно в этом? — задавал он себе вопрос. — Не потому ли, что близко от дома?»

Однажды он догадался. Поняв, долго себе улыбался. Кафе было молодежным. Но не по названию, по самой атмосфере.

Сегодня он опять пришел сюда.

У Галины работа в вечернюю смену. Дочурки — в пионерском лагере. В такие часы даже в родном доме почувствуешь себя одиноким.

— Занято? — перед ним стояли два парня. И, не дожидаясь ответа, тот, что пониже, бледный, уже уселся на стуле. Второй, темноглазый, молча сел рядом.

— И ведь до чего дошлые. То кажи, другое кажи. Умотался совсем. Ну и сбор был! «Здравствуй, лето пионерское». Знаешь, о чем спросили? «Кап Аркона» их интересуется.

Бледный не заметил, как изменился в лице сидящий напротив человек. Но не укрылось неловкое движение соседа от темноглазого. Он встретил пристальный взгляд, седые волосы и руки, большие, рабочие. Но что это, может, он ослышался?

— Может быть, я чем-нибудь помогу твоим пионерам?

— А? — во вскинута белесом безбровье застывшее удивление.

— Я тоже тонул на «Кап Аркона»...

Темноглазый скосил глаза на пивные бутылки, отыскивая, видимо, белую наклейку.

— Да, я был на «Кап Аркона», — повторил человек. — И я бы очень хотел помочь тебе.

— Это не шуточки? — опустилась одна бровь у белявого.

— Александр Владимирович Роговой, плотник СМУ-5.

— Виталий Ткачук, студент.

— Алексей Панфилов, рабочий.

Двое не отрывались от лица соседа. Двое отметили его неброское мужество. Двое сразу почувствовали доверие к нему. Может, потому, что они были молоды, и их никогда еще не обманывало сердце.

— А вы бы смогли сейчас рассказать о себе, о «Кап Аркона», вот так — сейчас? — тихо спросил Алексей.

— Так сразу? Это трудно, ребята. И я даже не знаю — с чего?

— Вы были в плену? — сказал белявый.

— Да, конечно, если я был на «Кап Аркона».

— Тогда лучше с первого дня войны, — сказал темноглазый.

— А вы не торопитесь?

— Даже, если бы мы торопились...

— Трудно это, ребята. Но все же лучше начать с двадцать второго июня сорок первого... Тогда мне было меньше, чем вам. Мне было семнадцать. В ту ночь бомбили Киев. Я работал тогда на шестьдесят восьмом катере Днепровской флотилии. Пришлось переживать, что ко мне тогда не относились слова «лица призывного возраста». Но в комсомольский отряд Предместной слободки Александровского райвоенкомата меня приняли без возражений.

Я тогда был молод и неопытен. В одной из немецких облав на хуторе, где я находился в партизанской разведке, меня схватили.

Избитый, оборванный, я был брошен в колонну военнопленных, угоняемых в Житомир. Оттуда, в товарняке, нас отправили в Германию.

Здесь нас встретил Дахау... Не приходится объяснять, что это та-

кое. Но ведь и над Дахау было синее небо, и мы жили... Говорю «мы» потому, что едва ли кто здесь думал о своем «я». «Я» здесь вытравливалось. Здесь были номера. Мой — 40441. Те, кто быстро распознавал лицо лагерной жизни, стремились сразу найти друзей, потому что одиночество в тех условиях — это уже смерть. И я не помню таких, кто бы выжил в концлагере, надеясь лишь на самого себя...

Нас гоняли на работу в Гамбург. Там наша тройка — Москвинов, Сучок и я — бежали... Но нас задержали.

После побоев — пересыльная тюрьма Гюстров. Отсюда в болотный лагерь Нойенгамме — «Новый молоток». Он находился в двадцати девяти километрах от Гамбурга. Гамбург часто бомбила английская авиация... Лагерь Нойенгамме никогда не бомбили... О нем тогда еще никто не знал... по той причине, что отсюда никто не уходил живым. Это была...

— Что заказываете? — Руки у официантки были белые-белые.

— После, после, — Виталька не поднял даже глаз. «Загорала бы хоть, что ли».

Белорукая, фыркнув, отошла. Потом она не подходила весь вечер. Принципиальная, видно. Ах, если бы не было этой принципиальности, она так много могла бы услышать!..

— Так Нойенгамме — это была сама преисподняя. Здесь не ходили. Здесь все — бегом.

— Халыт! Раздевайся!

Ползем голые. Кругом — шлак. Руки — шлак. Грудь — шлак. Ноги... Легкие... Подними голову — и овчарка Беккера порвет горло. А в глаза — луна. Пышнотелая, немецкая. Высвечивает в глазах ненависть. «Как тяжело, что он схож с Беккером. Глаза... Нос... Волосы... Но он — немец. Ариец. А я — «рус». Плебей. Скотина».

Но мы выживали... Гамбург снова бомбили — мы снова бежали. Из центральной тюрьмы Гамбург-

га — Фосбутель — снова в Нойенгамме. Третий раз — Нойенгамме.

— Удивляетесь, почему не в крематорий? Я и сам удивляюсь...

Впрочем, теперь уже нет. Шел сорок четвертый год. И у немцев было уже другое настроение. Зачем жечь людей, когда им нужна рабочая сила?

Весной сорок четвертого нас отправили на границу Голландии, к городу Меппен, на торфоразработки. Рыли противотанковые рвы. Нас пригнали несколько тысяч — осталось пятьсот. Из Меппена — пятнадцать суток до Бремена. Теперь нас насчитывалось двести.

На третьи сутки — под проливным дождем — в эшелон. Опять Нойенгамме...

— Ну, как? Не устали от такой скороговорки?.. И все-таки это, ребята, прелюд.

Александр быстро отпил пива. Медленно посмотрел в зал. Было много улыбок. Кто-то что-то говорил. Двигались люди. Но все — как в немом кино. Он посмотрел на ребят...

— Ну, а потом?

— Откуда нам было знать потом, что Гиммлер, видя конец рейха, отдал приказ уничтожить всех заключенных концлагерей...

В конце апреля сорок пятого нас вывезли в Нейштадт. Здесь, в Любекской бухте, на рейде стояли суда. Пароход «Тильбек» я узнал сразу. Мне приходилось разгружать его в Гамбурге. Мористее «Тильбека» — была «Кап Аркона». Что это такое, вы знаете из «Огонька». Какой это номер?

— Второй за шестьдесят четвертый год...

— Да, нас загнали в фешенебельные номера, отделанные редкими породами дерева. Все это казалось странным. «Куда нас?» Откуда нам было знать, что в считанные часы пароходы снимутся с якоря, выйдут в море. Затем откроют кингстоны. И тысячи людей должны были скрыться в пучинах Балтики.

Здесь, в бухте, на плаву было много барж... В одну из темных но-

чей немецкие подлодки торпедировали баржи, переполненные женщинами и детьми...

...Ты знаешь, Алеша, даже сквозь толстую обшивку корабля, в самых дальних закоулках трюма, мы слышали материнские крики... И нам казалось, что с той стороны стальную обшивку царапали детские руки...

А утром третьего мая, часов в одиннадцать появился английский истребитель. Он сбросил вымпел, где предлагалась капитуляция. Эсэсовцы в ответ открыли огонь. Около часа дня появился второй английский самолет. Последнее предупреждение. Но снова в ответ — пулеметные очереди.

У англичан создалось впечатление, что суда пытаются выйти из бухты. Они не знали, что охрана покинула корабли. Через несколько часов началась бомбардировка.

...Трудно винить, ребята, обезумевших людей...

Я с Борисом — знаю, что он Ленинградец — бросился по трапу наверх. За стеклянной стеной рубки капитан «Кап Арконы» кричал на эсэсовца. На наших глазах он выхватил браунинг и разрядил обойму в эсэсовца. Последнюю пулю он пустил себе в висок.

Мы бросились в сторону. Крен корабля продолжал увеличиваться. В первой же подвернувшейся каюте мы вырвали трубу из санузла и разбили иллюминатор. Обдирая тело стеклом, мы выбросились в море.

Когда я вынырнул, Бориса не было рядом. Кругом искаженные лица людей, слышался только один хрип. Леденела кровь... Люди уходили под воду группами.

Уцепившись за какой-то обломок, я продержался около двух часов. Старался повернуть к берегу, но не было сил. Когда все стало безразличным, послышался стрекот английского катера.

Дня через два мне снова пришлось побывать на лежавшей на боку «Кап Арконе». Во многих иллюминаторах еще оставались трупы обгоревших, покореженных

людей. Море долго потом выбрасывало обугленные трупы.

— В эти дни я стал седым...

— Давайте пить пиво. Хорошее, верно? Даже в горле першит. Ты смотри, крепкое: слезу прошибает.

— Крепкое пиво, — согласился белявый. — А потом?

После капитуляции Германии советское командование договорилось с англичанами о передаче советских подданных. Нас привезли в Ростов, где долго шла проверка. Некоторых увозили куда-то сразу. Меня направили в одну из частей Советской Армии.

За эти годы утратились связи с друзьями, знакомыми. Восстановить их было невозможно...

— И вот совсем недавно в «Огоньке» появились материалы о «Кап Арконе». Я написал письмо в редакцию. На днях получил ответ Генриха Гуркова. Хотите прочесть?

— Спрашиваете еще...

«БАЙКАЛЬСК, пос. 4-а, д. 4, кв. 3, РОГОВОМУ Александру Владимировичу.

Дорогой друг!

Извините меня за долгое молчание. Я получил около четырехсот писем после опубликования очерков «Человек с «Кап Аркона» и «По следам «Кап Аркона». Ответить всем товарищам своевременно просто не успел.

Спасибо за Ваше письмо. Я готовлю новую публикацию в «Огоньке», и то, что Вы сообщили, чрезвычайно интересно.

Наша молодежь должна знать о том, в каких нечеловеческих условиях довелось бороться за жизнь узникам нацистских концлагерей, сколько мужества нужно было, чтобы оставаться патриотами, солдатами, людьми.

Желаю Вам счастья, успехов в работе. Если Вы напишете мне о лагерной жизни, о друзьях, о совместной антифашистской борьбе — буду очень благодарен.

С уважением **Генрих ГУРКОВ,**
специальный корреспондент
«Огонька».

— Это же здорово, Александр

Владимирович! Будете писать, а? Напишите, а? Алеша поможет — он стихи пишет.

— Такой молчаливый, и — стихи?..

— Хе, они все, молчаливые, себе на уме. Ай, отпусти ногу.

Александр улыбнулся.

— Мне хорошо с вами, ребята. Я забываю здесь, что у меня были Дахау, Нойенгамме, «Кап Аркона».

Конечно же, я напишу письмо. Если оно окажется полезным, я буду считать, что сделал большое дело. Пусть оно станет «Кап Аркона» для тех, кто снова помышляет о войне...

Трое сидели за столиком и молчали. Потом вдруг удивились наступившей тишине.

Они вышли из кафе. Пока они сидели за столиком, прошел теплый грибной дождь. Умытый город улыбался неоновыми огнями. Шуршали блестящие зеленые плащи тополей. Где-то в стороне проворчал гром. Легкие всполохи молний уставали соперничать со вспышками электросварки. Байкальск строился даже ночью. И улица, на которой находилось кафе, еще даже не успела получить имени. Она была просто безымянной.

— Мне здесь, — сказал Василий. — Спокойной ночи и прочие реверансы. Ай, ну и руки у вас, Александр Владимирович. Алеха, завтра зайду.

Шагать еще пришлось совсем немного. Было уже очень поздно, когда они стали прощаться.

— Ну и руки у тебя. Железо. Кем ты работаешь?

— Токарем. На заводе.

— А сколько тебе лет, Алеша?

— Девятнадцать.

— С такими руками хорошо. Надежда хорошая. Чего улыбаешься?

— Спасибо за веру...

Самый памятный сувенир

Над Байкалом еще не успели погаснуть звезды. Синяя предрассветная темнота плотно окутывала копры, экскаваторы, мощные краны, шагнувшие далеко за шахтерский поселок. Потом она неуловимо уходила на запад, вдоль заснеженного Московского тракта. Как ни старался уловить это время Авдеич — не удавалось: то его окликали шагавшие на работу шахтеры, то сам он заглядывался, любуясь работой друзей.

Ему, бывшему проходчику «Объединенной», было несвучно и тяжело сидеть поутру в комнатенках. И шахтеры привыкли видеть его спозаранку.

— Ай скачаешь, Кузьма?

Всмотрелся — Парфентий, сосед его. Где-то далеко от Слюдянки работал Парфентий. Плохой память становится: так и не смог вспомнить Авдеич — где и по сколько работал Парфентий.

— Кран обещали мужики показать. Стою вот — смотрю,—зашагал Авдеич.

Парфентий не отставал.

— А мне вот тоже не спится... бессонница одолела,— подслеповато щурился он. — Приехал сюды вот, доживать...

Авдеич не ответил. После обхода он направился чаевать. Шел каждый раз не один — с кем-либо из той же «братвы пенсионерии».

Дома у Авдеича чисто и сухо. «Натали уже нет?»—заглянул он в светелку. — «На занятия убежала».

Всех своих гостей Авдеич, как бы ненароком, проводил мимо комода, и тогда любому из них бросались в глаза строгие, изящные поделки из дерева и металла. Это ее — Наталины. Она любила делать деду подарки. Только не покупные, не магазинные, а свои, самодельные — «всамделишные», — отзывался о них дед, и Наташа не знала, что им имелось в виду — добротность вещи или ее безыскусственность.



— Вишь, ты, статуэт? Подарки мне, сувениры то есть. Ласковая. В меня внучка-то,—не удержался он. — Клавдия-то, она тоже мастерица была рукодельничать.

— А дальше-то — самое развитие будет,—подумав, добавил Авдеич.

— А-а, дальше, — скривился Парфентий,—девка, она что ломоть отрезанный: выйдет замуж и тютю-тютю — ищи ветра в поле. Фамилии твоей и той не останется.

Парфентий ведал, что говорил: то слабое место Авдеича. Не было в свое время у него ничего сильнее желания иметь горластого внука. Девчонка принесла только горе: при родах скончалась Клавдия, единственная дочь его.

Авдеич яростно сплюнул.

— Брысь, чертяка! — смахнул он с лавки котенка. Парфентий, прощаясь, выскользнул за порог. «Будь ты неладный», — поникший Авдеич не находил себе места.

— Брысь! — срывал он печаль на Бублике.

Взгляд расстроено скользил по нехитрой домашней утвари, по внучкиным самоделкам, по книжкам, по фотокарточкам, отороченным по стародавнему обычаю широкими деревянными рамками. Они каждый раз заставляли задуматься.

Нет, не приходилось Авдеичу краснеть за себя. И Колчака-то был он. И Пепеляева. И Семенову не давал. И самураям на Халхин-Годе

И к белофиннам в тыл заходил. Без добычи не приходил, без «языка» то есть. Но однажды — как отрубило. После одной из атак не поднялся Авдеич. По ногам полоснуло, а в глазах — краснота. «Отвоевался, эх-х»... Боль притупила тяжелые мысли, но ненадолго. «Куда теперь он с искалеченными ногами?».

Спустя месяц Авдеич сидел на подножке вагона и, когда накатывалось бередившее душу, ему хотелось кинуться под колеса.

Не успел поправиться — снова война. Ходил к военкому. Шумел. Топал, доказывая целостность ног и зоркость очей.

— Ты, батя, не шуми,— тихо, но неотвратимо надвигался на него саженьный шахтер.

— Уголек на-гора — тоже фронт,— неумолимо печатал он ладонницей напружинившуюся спину Авдеича.

Неспроста осерчал он сегодня. Уж давно примечал он изменения с Наткой. Веселость ее нет-нет да прорвется показными оттенками. «В оба смотри, Авдеич».

— Вы чего шебуршите?— заглядывал он в светелку. Натальины подружки, только что оживленно шептавшиеся, тотчас умолкали. «Неужто твоя правда, Парфентий?» И Авдеичу представлялась ухмылка соседа. И Авдеичу было тяжело.

От Наташиных глаз не укрылось настроение деда, и она не решалась заговорить с ним о своем, потаенном. Но слух у Авдеича был не из слабых.

— Куда едешь и когда едешь?— сказал однажды внезапно Авдеич. Он был иногда слишком прям, он не любил лукавить, ее дед.

Наташа испуганно посмотрела на деда и сбивчиво выпалила, что она с девочками мечтает об Усть-Лиме, и что они через месяц заканчивают учиться, и что их, бетонщиц, выпускниц горнопромышленного училища, приглашают в орком комсомола.

— Я не могла отказаться, дед,— выпалила она. — Потому что это мое предложение.

Авдеичу это было — как гром с потолка. Неужто одному век вековать? Неужто старость бобылем доживать? И ему захотелось осерчать, прикрикнуть на Натку.

Но Авдеич смолчал.

Авдеич знал, от чего он стал пасмурным. Он боялся одиночества. Мыслей о нем.

Вот ведь оказия. Учил Авдеич уму-разуму внучку, учил широте и понятливости. А поди ж ты — все против него оборачивается. Укрепил крылья, а теперь — лети птичка... А разве не тому учил он ее? Глядеть широко, хватко. «Плещень, она душу разъедает», — разве не это любил говорить он Наталье?

Как это у них там? «Потому что нам нельзя иначе, потому, что мы народ горячий»... Ишь ты, а какво ему, Авдеичу, будет одному в таких хоромах? Об этом она подумала?

И у него опять задрожали реденькие усы.

И все же он еще надеялся. Знал, что у Натальи — дело решенное, что и ему, Авдеичу, не по праву будет ее отказ, знал и... надеялся.

И такой день пришел.

— Ну, дед, едем через неделю. Заказывай подарок. Привезу — какой хочешь,— едва войдя, закружилась по комнате Натка. — Шишек хочешь?

— Я те дам, шишек.

— Да нет же, дедка, кедровых!

— Я те дам шишек, березовых дам! — притворно скособочился Авдеич. Любо ему было смотреть на такую Наталью. Добрую, ласковую.

Он усмехнулся, погладив Бублика, и вспомнил историю его появления. Мелочь-мелочью, а запомнилась.

Пришла как-то осенью, при дожде — мокрая, грязная.

— Ты чегой-то? — изумился Авдеич.

— Вот принесла. Собаки чуть не порвали.

— Кофта-то новая,— проворчал Авдеич. Но Наташа уже не слышала. Она намыливала яростно отбивавшегося котенка.

— Ишь ты, побрыкайся у меня. — А про себя подумал: «Доброй выросла Наталья. И к людям добрая».

— Деда, назовем его Бубликом?

— Ай и впрямь — калачом, — удивился Авдеич, глядя на спящего желтобрюхого. А сам подумал: «Остра на глаз».

И на язык тоже. Сколь она воевала, защищая одного парнишку. Отбила-таки. Не выгнали из училища. А парнишка-то стал — тот или не этот? И не узнать «фулигана». А способности-то какие у рыжего оказались. Боксер, паря. В него, Авдеича, нравом.

— Тот-то парнишка тоже поедет?

— Едет, — опустила голову Наташа.

— Уезжаете, значит, — вздохнул Авдеич.

Но теперь уже он пообвык, теперь он спокойно внимал пенью Натальи. Слова у песни были не новы Авдеичу. Он часто слышал ее по радио. Но если раньше Авдеич внимал им, подчиняясь чистой, душевной мелодии, то теперь он старался проникнуть в ее содержание. Сейчас она обретала

особый интерес — туда уезжала Наталья Хлопотина. Что она за земля такая — Усть-Илим?

Имя-то звучное. Все равно — Бугуруслан или Халхин-Гол. Трудное имя, дерзкое. Но в Наталье он был уверен — выстоит. И костью широкая, и умом не обижена, да и его, авдеичевой закалки, племня. Ай не на огне сталь проверяется? Ай не на себе испытал он стужу и лихоимство? Аль сам он согнулся? Нет, шалишь, Авдеич, ты еще жилистый. Им-то, молодым, нельзя без дорог. Без ветра.

И Авдеич уже твердо знал, что он скажет Наталье.

— Вот построишь ГЭС — она и будет мне памятным сувениром, — сказал он вечером внучке, возвращая путевку. — Говорю на полном серьезе. Слышишь меня, Наталья? И друзьям своим передай: «Нам, старикам, такие сувениры любви».

Наташа крепко, может быть, даже слишком крепко, сжала альбом четырехугольник.

— Деда, я буду писать тебе каждый день, — тихо сказала она.

— Ладно уж, — сказал Авдеич.



Капли солнца



Дом его прислонился к самой Добочине Баргузинского тракта, на некрутом, но высоком изгорке. Отсюда видна вся Максимиха — зеленокудрая, голубоволная. Чудесное место! Определение, конечно, из ряда вон стертное, но зато по отношению к Максимихе самое верное и самое точное.

В один из знойных июльских дней к дому Жигжитова подошел высокий парень. В проеме открытой двери он увидел черноволосого человека, склонившегося над столом и пишущего со слов старой женщины-односельчанки заявление в аймсобес. Парню подумалось о том, как много в этой согбенной позе от старого доброго деревенского писаря, живущего грамотой своей и сознанием нужности односельчанам, пришельцам окружающих деревень.

Жигжитов оставил ручку, кивнул старушке и вышел парню навстречу. Высокий, просто одетый, сдержанный и приветливый, он сразу вызвал к себе расположение. Почти вся семья Жигжитова в сборе. В трехкомнатном доме — очень скромная, самая необходимая обстановка. Зинаида Давыдовна чинила порванные «култук» сети. Старший сын Костя, недавно демобилизовавшийся, соби-

рался на киносъемку.

— По профессии-то я шофер, но просят ведь — как не выручить.

Мать смотрит на сына и улыбается. В комедии нужны, конечно, колоритные лица, ничего не напишешь. Настоящих аборигенов не создаст ни один грим. А Костина «фактура» — могутность, своеобразное лицо, знание рыбацкого ремесла и жизни делают из него статиста первого плана.

Младшие сыновья Петя и Мишка, дочь Алла прибирались по дому. Во всем чувствовалась сноровка и привычность заниматься хозяйством. Наверно, так и должно быть в семье человека, прошедшего трудные уроки жизненной школы, сизмальства познавшего тяжесть и радость труда.

Закончив письмо довольной старушке, Михаил Ильич вышел во двор, взял связку тяпок и направился в огород. Окучивая картошку, говорили о разном: о его новой повести, о недавнем визите в их дом писателя Владимира Тендрякова, о киностудии Мосфильма и нехватке времени.

Эдуарду хорошо было с Жигжитовым. Хорошо было чувствовать силу его жизненного опыта, не назойливое упоминание о сборе его по крупцам. Долгое время проручительствовавший в Давше и Сосновке, Жигжитов не мог не откликнуться на зов тайги — он стал медвежатником. Вся его жизнь, память трудных минут — на страницах его повестей и рассказов, написанных пристрастно к себе, с боязнью фальши и самолюбования.

Теплыми, мерцающими вечерами они подолгу сидят на берегу реки и говорят о заветном — признании человека, о том, что привело Жигжитова в литературу.

— У каждого человека есть тяга к прекрасному, пусть она будет даже подсознательной, где-то неосознанной. И когда человек приходит к нему, путь его кажется естественным и прямым, хотя дорога была с перевалами и чащобой...

Эдуард понимал Жигжитова, анал, что ему уже за полвека. Вот она вырвавшаяся подспудная наблюдательность, талант живописца, вот она — тяга к прекрасному, нашедшая свое выражение в рассказах и повестях, хорошо известных в Бурятии. Вряд ли есть необходимость проводить скрупулезный анализ, сбиваться на простую штриховую рецензию. Его книги говорят за себя. И хотя писать он начал около десяти лет назад, его творческий почерк — тверд и уверен. Манере Жигжитова характерна лаконичная мужественность, бьющаяся в строчках рассказов непреходящая любовь к Подлеморью. Может, и потому у него временем выкованный, сердцем закаленный, сдержанный слог?

Эти черты его творчества и отметил будущий сценарист, а пока студент-дипломник Всесоюзного государственного института кинематографии Эдуард Билик, находившийся в киногруппе Мосфильма. Высокий, застенчивый парень долго не решался заговорить с Жигжитовым, и, так и не решившись, написал ему шестилистное взволнованное письмо, в котором делился мыслями об экранизации повести Жигжитова «Парень из Ириндакана».

— На Байкале надо снимать не комедию, как мы сейчас делаем, а фильм, полный драматических чувств и переживаний...

Такое резкое категоричное заявление было понятно Жигжитову. Он часто приходил на съемочную площадку киноэкспедиции, благо она была совсем рядом.

Съемочная площадка — это маленький Содом и Гоморра. Расход нервной энергии — неопишущий. Главреж свирепо кричал на актеров. Нервозность его удивляла, ведь у актеров и без того не комедийный вид: напряженные, потные, — вид, одним словом, не игрового. Однако, то были всего лишь «цветочки». «Ягодки» тяжелой актерской работы созревают для постороннего глаза не сразу. Достаточно было посмотреть, как отра-

батывают небольшой эпизод Иван Рыжов и Любовь Земляникина.

У местных жителей вся эта круговерть вызывала раньше вполне объяснимый интерес. Но потом только приезжие да туристы, сначала с деланным равнодушием, потом с любопытством, потом снова уныло взирали на весьма рассредоточенную работу съемщиков.

Михаил Ильич смотрел на актеров, на беспорядочный городок лихтвагенов, тонвагенов, автокранов, видел спешную работу режиссеров, операторов, художников, гримеров и думал о невероятных трудностях создания настоящего фильма.

Сценарист Борис Медовой более десяти лет назад побывал на Байкале, жил в рыболовецкой бригаде Стулева. Его покорили не только удивительно чистый облик этих людей, но и их характерная насмешливость, любовь к шуткам. К таким парням и девушкам было боязно попасть на зубок. Уловить этот дух лукавства и доброжелательности, оптимизм и непримиримость к плохому, дух, свойственный байкальским рыбакам, и стал задачей Медового во время работы над сценарием фильма «Приезжайте на Байкал».

— Но почему именно комедия? Разве нельзя это раскрыть в другом жанре? — поинтересовался Жигжитов.

— Драма, конечно, больше подходит к Байкалу, — признался тогда Медовой и, словно извиняясь, добавил: — Но, думаю, что Байкал будет беспроектным фоном и для комедии.

Жигжитов, нахмурясь, смолчал. «Так вот оно что, Байкал — просто фон». Он знал, что специальный оператор — так называемая «блуждающая камера» — бороздит воды озера в поисках тех сокровенных кадров, которые запечатлели бы неповторимый облик Байкала. Тот, кто побывал на Байкале, знает, что в них недостатка не будет. Жигжитову было грустно, хотелось верить в удачу этих людей, приехавших за шесть тысяч

верст, чтобы подарить людям фильм о Байкале. Может, эта вера исходила от лирических песен Никиты Богословского, которые, действительно, были подарком байкальцам?

Скоро причалы туманом
укроются.

Вот уж рыбачий костер
засверкал.

Что ж ты не можешь никак
успокоиться?

Что ж ты не спишь, мой
дружище, Байкал?

Сколько я раз уходил с этой пристани.

Сколько я волн штормовых
рассекал.

Будь же, любовь моя, светлой
и чистой.

Точно такой, как красавец
Байкал.

Как я люблю эту ширь
бесграничную.

Как я люблю седину этих скал,
Видно, недаром тебя

Славное море, священный

Слушая эту песню Жигмунда

Слушая эту песню, Жигжитов вспоминал о своей жизни, нелегко прожитой на берегах моря, о днях отданных погоне за баргузинским соболем, о постоянном, ненарочитом всматривании в удивительный мир тайги. Вспомнились сотни историй, веселых и грустных, слушавшиеся с ним и его товарищами-оленевниками.

Жигжитов давно понял, что приятельность его рассказов будет только тогда, когда он станет писать о том, что видел, услышал, что пришлось испытать самому. Важная жизнь, полная тревог и опасностей, дала ему этот дар — умение видеть, запечатлять.

Он вспомнил своего старого дру-
— охотника и лесника Савелия
Лстихина. Маленький и подбо-
стый, Савелий был неутомим на
ужной тропе, хладнокровен в
единках с медведями.

Кигжитов был изумлен, когда
ал, как однажды Савелий увер-
ся от гибели. Ружье ли подве-
его, внезапный ли прыжок зве-

ря (и то и другое — смерти!), но Савелий остался безоружный один на один с медведем. Поднявшись на дыбы, огромный медведь из последних сил бросился на охотника. Савелий мгновенно оказался под зверем. Весь сжавшись от боли, теряя сознание, он выхватил из-за пояса нож и, извиваясь под разъяренной тушей, вспорол живот медведю. Больше он ничего не помнил. Медведь агонизировал от него неподалеку. То был сороковой медведь Савелия Толстихина. Но — не последний.

Жигжитов удивлялся находчивости и самообладанию своего старого друга. В такие минуты он не думал о себе, о своем мужестве. Об этом могла только напомнить исковерканная сухая рука, дающая знать о себе в непогоду, когда болят старые раны.

Жигжитов немногословен, когда рассказывает о своем самом памятном случае.

Была тропа. Была встреча с медведем. Выстрел, второй — медведь по-прежнему шел на него. Перезарядить ружье не успел, смрадное дыхание раненого шатуна охватило его. Видел разъяренные беспощадные глаза, ощерившуюся пасть, огромный мокрый язык и — вдруг — единственное, что тогда могло спасти его: он сунул руку в раскрытую пасть зверя. Вторая рука лихорадочно рыскала возле пояса. Они упали вместе. Но нож был направлен точно под грудину медведя...

— Вот и все,— сказал Жигжитов. — Потом я выполз из-под него и пополз домой по тропе.

Эдуард невольно воскликнул:

— Вот об этом и надо писать!

— У других истории лучше, — улыбнулся охотник.

Жигжитов любит писать спозаранку, встав далеко до восхода солнца. И когда солнце положит свои лучистые ладони на исписанные страницы, овеет своим дыханием, на лбу его выступают капельки пота. Жигжитов напоминает в эти минуты жилистое сильное дерево, на коре которого от солнечно-

го зноя выступили капли смолы. Это солнце, даря земле свою плазму, наполняло ее тугим березовым шелестом, смолистым запахом сосен и лиственниц, синими теплыми ветрами. Капли солнца — самая животворная сила.

Эдуарду подумалось, что солнечные капельки пота на лбу Жигжитова — это своеобразная метка чудесного дара — таланта художника. А талант — это труд, труд помноженный на неисчислимые поиски слова, верного, трепетного, впечатляющего.

Жигжитов оставляет перо. Тихо выходит во двор и, стараясь не бренчать лейкой, поливает цветы. Гладиолусы, георгины и кашки тянутся к рукам человека, му-

жественного и доброго, восприимчивого к красоте и могущего передать ее силу. Жигжитов идет к реке за водой. Он думает об оставленных образах, ищет верное, точное слово.

Сразу, за излучиной, начинается тайга. Скоро он снова уйдет в ее дебри. Только теперь к поиску серебристого соболя, полусонных медведей, прикипает еще один поиск — поиск ярких картин, негасимого слова. Написано еще очень мало. Еще так много надо рассказать людям! Но, как у артиста, самая лучшая, самая вдохновенная роль всегда впереди, так и у писателя самая лучшая, самая искренняя книга — та, которая еще будет написана...



В ноябре 1966 года в Улан-Удэ проходила Научно-практическая конференция по вопросам преодоления пережитков прошлого в быту и сознании людей и становления новых обычаев, обрядов и традиций у народов Сибири.

Общественность Бурятии с интересом отнеслась к этой конференции, в которой участвовали виднейшие ученые Сибири и Дальнего Востока и гости из Москвы и Ленинграда.

Полвека советского образа жизни несомненно наложили неизгладимый отпечаток на весь облик советского человека, на его психику, на его привычки. Выработались новые обычаи, многие из которых имеют важное значение в жизни всего нашего общества. Обычаи и нравы бывают разные. По-разному они воздействуют на формирование и духовное созревание человека. Глубоко изучить их, отобрать и развить наиболее полезные из них — такова задача.

Для литературной общественности имеет особое значение вопрос о национальных традициях и современности. Что составляет сущность в определении национального в художественном произведении? Что остается национального в произведении, когда при переводах на иные языки они лишаются главного выразителя национального — языка?

Нашим читателям будет интересно ознакомиться поподробнее с трудами конференции. В меру возможностей мы постараемся отобразить на страницах «Байкала» наиболее важное и интересное из докладов и выступлений участников конференции.

Наша сила — в дружбе и братстве

Область национальных взаимоотношений — это сложный вопрос общественной жизни, ибо люди ни при каком его укладе долгое время не могли вскрыть истинные причины межнациональных антагонизмов и противоречий. Но из этого не следует, что невозможно установить дружбу и братские отношения между народами, нациями. Все дело в том, что трудность и сложность межнациональных отношений вызвана длительным господством эксплуататорских классов. Они разжигали вражду между нациями для того, чтобы продлить свое господство.

Великая Октябрьская социалистическая революция, ликвидировавшая эксплуататорский строй в России и открывшая новую эру общественного развития, внесла сокрушительный удар и по системе национального и колониального гнета.

А общественная же собственность, общая идеология социалистических наций, утверждение братских взаимоотношений между ними, качественное изменение классовой структуры, духовного облика их.

Процесс формирования социалистических наций в основном закончился в СССР ко времени завершения строительства социализма в стране. И характеризовалось последнее ликвидацией фактического неравенства в области развития экономики и культуры социалистических наций благодаря неопределимой помощи развитых, крупных социалистических наций малым.

Социализм обеспечил подлинный всесторонний расцвет всех социалистических наций и объединения в нерушимый, равноправный добровольный союз всех свыше ста советских наций, народностей и этнических групп.

Расцвет всех советских наций, их союз немалым без все усиливающегося сближения между ними по всем сферам общественной жизни.

Это обстоятельство свидетельствует о том, что в условиях социализма и строительства коммунизма продолжают действовать две прогрессивные исторические тенденции, которые открыл В. И. Ленин в 1913 году в своей работе «Критические заметки по национальному вопросу». К ним мы и хотим обратить ваше внимание в этих коротких заметках.

В. И. Ленин писал: «Развивающийся капитализм знает две исторические тенденции в национальном вопросе. Первая: пробуждение национальной жизни и национальных движений, борьба против всякого национального гнета, создание национальных государств. Вторая: развитие и учащение всяких сношений между нациями, ломка национальных перегородок, создание интернационального единства капитала, экономической жизни вообще, политики, науки и т. д.

Обе тенденции суть мировой закон капитализма. Первая преобладает в начале его развития, вторая характеризует зрелый и идущий к своему превращению в социалистическое общество капитализм»¹.

По вопросу о том, действуют ли эти тенденции в условиях социализма и строительства коммунизма точного ответа не давалось и были разные толкования. Дилектика их действия в социалистических нациях и в отношениях между ними не раскрывалась. Вплоть до XXII съезда об этих двух тенденциях говорить по известным причинам не было принято. Некоторые считали, что тенденции эти присущи лишь капитализму, а в социализме отсутствуют.

Признавая существование и действие обеих тенденций при социализме и строительстве коммунизма, наши авторы придерживаются трех различных мнений по вопросу соотношения двух тенденций на различных этапах развития нашего общества. Одни считают, что тенденция сближения при социализме и строительстве коммунизма всегда преобладает. Вторые считают, что тенденция расцвета наций преобладает в период становления социализма, а в период строительства коммунизма на первый план выдвигается тенденция сближения наций. Третьи же вообще считают, что ставить вопрос о том, которая из тенденций преобладает на разных этапах развития общества, будет неправильно, так как они проявляются всегда одинаково.

Нам кажется, что в разное время и на разных этапах развития общества по-разному проявляются действия этих тенденций. Нельзя рассматривать обе тенденции как статичные в своих действиях. Наоборот, они весьма динамичны и находятся в тесной диалектической связи с социальным, классовым строем общества, уровнем раз-

вития производительных сил и зависят от них.

Расцвет наций невозможен без их сближения, а сближение не может быть достигнуто без всестороннего развития наций. Значит, обе тенденции охватывают две стороны одного целого процесса развития социалистических наций.

В период строительства коммунизма усиливается, получает свое дальнейшее ускорение процесс сближения наций. Но это, конечно, не означает, что расцвет социалистических наций теперь прекращается. Наоборот, убыстрение процесса сближения наций невозможно без расцвета их.

Расцвет наций иногда представляют как развитие, выпячивание только национальных особенностей, и огромные успехи нации в развитии своей экономики и культуры рассматривают изолированно от общих достижений в целом по стране или в других нациях. Такое представление глубоко ошибочное. Дело в том, что никогда нация, изолированной от других, не бывало и быть не может. В каждом национальном есть (определенная) доля интернационального, заимствованного.

Поэтому расцвет той или иной социалистической нации есть не что иное, как результат действия двух сторон единого процесса: развитие наций за счет своих собственных потенций и участие в этом других социалистических наций.

В период развернутого строительства коммунизма наряду с бурным расцветом наций происходит все ускоряющийся процесс их сближения. И правомерным будет сказать, что в настоящее время процесс сближения занимает ведущее положение в национальных отношениях.

Но сближение наций возможно только через дальнейший расцвет их. В этом и неразрывное единство двух тенденций в национальных отношениях.

Процесс сближения нельзя считать как голое отрицание национальных особенностей. При строительстве коммунизма нельзя не считаться с национальными особенностями, традициями. Это не значит, что нужно поддерживать любые особенности только на том основании, что они являются национальными.

В данном случае не нужно допускать ошибки в оценке национальных традиций.

Но нам важно не то, что отличает одну национальную (культура, быт, традиции), от другой, а то, что сближает советские нации.

Отсюда нужно развивать новые, полезные традиции и прививать их обществу. А эти новые традиции имеются и сложились в каждой нации. Дни животноводов, механизаторов, шахтеров, строителей, встреча трудовыми подарками революционных праздников и многое другое прочно вошло в жизнь всех социалистических наций.

Всемерная поддержка общих, прогрессивных традиций, нового, коммунистиче-

¹ В. И. Ленин. Соч., т. 20, стр. 11.

ского в культуре социалистических наций — закономерность нашего поступательного развития.

Решающей основой дальнейшего успешного развития двух тенденций в национальных отношениях является создание материально-технической базы коммунизма.

Следует особо заметить, что в настоящее время экономика ранее отсталых наций достигла больших успехов в своем развитии и экономические связи между нациями носят равномерный характер, то есть односторонняя помощь более развитых наций слабо развитым сменяется взаимопомощью.

Все возрастающая взаимопомощь в свою очередь усиливает кооперирование и специализацию национальных республик и областей, способствует появлению новых экономических связей.

Так, например, Бурятия, как составная часть Советского Союза, твердо закрепила свои экономические связи многими республиками, областями и краями.

Бурятия поставляет в другие советские республики, области и края молибденовый и вольфрамовый концентраты, деревообрабатывающие станки, жаротрубные котлы, цемент, лес, стальное литье, штамповки, пиломатериалы, стандартные дома, стекло, шифер, автокраны, электродвигатели, теплоизмерительные приборы, шерстяные ткани, трикотажные изделия, стиральные машины, мясные и рыбные консервы, озерные и речные суда, баржи, доломит, перлит и т. д., и т. п.

Таким образом, Бурятия в общесоюзном разделении труда представлена самыми различными современными отраслями промышленности. Причем по производству многих продукции Бурятия занимает очень высокий удельный вес.

В прямой связи с созданием материально-технической базы находится усиливающаяся динамика передвижения населения. Она приводит к некоторым изменениям социальной, национальной и профессиональной структуры населения Бурятии, усиливает процесс всестороннего сближения наций.

Изменение национальной структуры автономных и союзных республик выражается в снижении удельного веса численности коренного населения. Этот процесс изменения национальной структуры советских республик, включая и снижение удельного веса численности коренного населения, отвечает духу прогрессивного развития двух тенденций в национальных отношениях, ничего страшного не представляет. Более того, повторяем, оно — явление прогрессивное и отвечает конечным целям вообще общественного развития.

В Бурятской АССР⁵ численность бурят составляла всего 20 проц. в 1959 году, вместо 22 проц. в 1939 году, хотя за это время число бурятского населения увеличилось на 15 тысяч человек.

Другим важным проявлением двух тенденций является расцвет и сближение национальных культур.

Бурятская социалистическая культура в

своем развитии имеет большие успехи. Они выражаются в создании национальной профессиональной литературы, искусства, в широком развитии народного образования, здравоохранения и т. д.

О больших успехах бурятского искусства и литературы свидетельствуют результаты двух декад бурятской литературы в Москве, о них написано много книг и статей.

Важно отметить, что без связи и помощи с культурой других наций, в первую очередь с русской, советской культурой, эти достижения были бы невозможны. Отсюда — великое значение беспрепятственного действия двух прогрессивных тенденций в развитии и сближении наций.

Социалистические преобразования и развернувшееся строительство коммунизма объективно способствуют определенному изменению специфических особенностей культуры социалистических наций. Социалистическое содержание культуры классово и является общим для всех социалистических наций. Изменение классовой структуры общества, в данном случае утверждение социализма, влияет на изменение и формы национальной культуры.

В развитии культуры Бурятии наблюдается два важных момента, характерных и для других автономных республик. Лучшие черты нашей национальной культуры становятся достоянием других наций — с одной стороны, а с другой стороны — бурятская литература обогащается достоянием культуры других социалистических наций.

Расширение интернациональных черт бурятской культуры и рост ее значения проявляются и в том, что отдельные писатели Бурятии пишут на русском языке, произведения бурятских литераторов переводятся на другие языки.

Теперь уже несколько писателей в национальных республиках пишут на русском языке свои произведения. Есть такие товарищи и у нас. Известные писатели Бурятии А. А. Бальбуров и Д. Д. Хятухин все свои произведения пишут на русском языке. Их романы, повести и сборники стихов издавались в Москве и в других крупных городах Советского Союза. А роман А. А. Бальбура «Поющие стрелы» издается за рубежом, в странах народной демократии.

Объективный процесс сближения социалистических наций выражается в развитии и взаимообогащении национальных языков, в формировании в них определенных черт общности, имеющих место главным образом в лексике.

Далее, в настоящее время усиливается и другой процесс — процесс перерастания наций одноязычных в нации двуязычные. Вторым родным языком становится русский язык.

Выступая против принудительного изучения русского языка другими нациями, В. И. Ленин в своей статье «Нужен ли обязательный государственный язык» писал: «Те, кто по условиям своей жизни и

работы нуждаются в знании русского языка, научатся и без палки».

По данным переписи населения 1959 года более 20% жителей Улан-Удэ — буряты по национальности родным языком признали русский язык. А в таких нациях как армяне, евреи, башкиры, мордва этот процент еще выше.

В процессе дальнейшего развития советского общества наряду с признанием объективного действия двух тенденций: развития и сближения, нужен, в интересах всех социалистических наций, и субъективный фактор, выражающийся в усилении интернационального воспитания трудящихся, в борьбе со всякого рода пережитками прошлого, с национальной ограниченностью. При этом необходимо разъяснение трудящимся того важного закономерного процесса — известного сужения национальных сторон, расширение и развитие общих, интернациональных черт.

Наиболее высшим проявлением последнего является образование впервые такой исторической общности людей, как советский народ, который имеет общую территорию, общее хозяйство, общую идеологию и общую цель — коммунизм.

Наконец, характерной чертой перерастания социализма в коммунизм, бурного действия двух прогрессивных тенденций является процесс влияния малых народностей и этнических групп с близкими им социалистическими нациями. Это имеет место на Северном Кавказе, Таджикистане, Молдавии, Якутии и т. д. В Бурятии такие малые народности как эвенки, этнические группы как сойоты постепенно сливаются с бурятской социалистической нацией. И это вполне закономерный процесс, свидетельствующий о дальнейшем развитии национальных отношений.

Сближение наций является процессом, предшествующим слиянию их. Однако, это не следует понимать так, что сближение и слияние наций являются взаимоисключающими явлениями. Хотя они представляют собой два процесса, но тесно связаны друг с другом, диалектически взаимопроникают. Это значит, что в процессе сближения имеются элементы слия-

ния наций, ассимиляции их. С другой стороны, слияние невозможно без предварительного сближения наций.

Полное слияние наций — это вопрос отдаленного будущего и произойдет в результате победы коммунизма во всемирном масштабе и расцвета мировой коммунистической цивилизации.

Сближение наций влияет также на изменение семейно-бытовых отношений в социалистических нациях. Происходит определенное нарушение национальной эндогамии и в малых, ранее отсталых социалистических нациях, которые отличались раньше именно строгой эндогамностью.

Межнациональные браки в своем новом, современном виде являются прогрессивным явлением и представляют собой известное проявление установившихся социалистических общественных отношений, коммунистического мировоззрения. Вместе с тем эти браки являются одной из форм сближения социалистических наций, способствующей успешному развитию этого процесса. Так, по данным трех районных отделений ЗАГСа города Улан-Удэ за 1963 год и половину 1964 года было зарегистрировано 4236 браков, из них смешанных браков было 656. Лиц бурятской национальности (и мужчин и женщин), вступивших в браки с представителями других национальностей насчитывалось 135 чел.

Дальнейшее, все полнее раскрывающееся действие двух тенденций в национальных отношениях требует усиления интернационального воспитания трудящихся. Утверждения социалистических производственных отношений ликвидировало все социальные, классовые корни национализма и шовинизма, и последние не могут найти в наших условиях питательную среду и не типичны. Поэтому тактичная, последовательная борьба с тенденцией национальной ограниченности, нигилизма, с преувеличением национальной особенности, с идеализацией прошлого и другими проявлениями — долг каждого представителя всех советских наций.

Г. ХИЛТУХИН.

кандидат философских наук.



НАШ СТАРШИЙ БРАТ

(К 60-летию проф. В. М. Сидельникова)



В конце прошлого года исполнилось шестьдесят лет со дня рождения виднейшего фольклориста и литературоведа страны, доктора филологических наук, профессора Виктора Михайловича Сидельникова. Виктор Михайлович сделал большой вклад в дело изучения традиционного и советского фольклора народов СССР. Как ученый филолог он начал свою трудовую деятельность в тот самый нелегкий период становления нашей советской фольклористики, когда ученым приходилось с котомкой за плечами ходить из деревни в деревню и собирать по крупянам жемчужины народной поэзии.

Начиная с тридцатых годов Виктор Михайлович почти ежегодно

ездит по районам страны в поисках фольклорного материала, помогает на местах организации фольклорной работы. Он объездил почти всю Европейскую часть Российской Федерации, неоднократно бывал в Прибалтийских республиках, много сделал для развития фольклористики в Сибири. Куда бы не приезжал ученый он оставлял заметный след и самый важный из них это он заражал энтузиазмом своих коллег.

В результате своей многолетней собирательской и исследовательской деятельности профессор Сидельников написал десятки работ по фольклору, ввел в науку сотни новых фольклорных текстов, которые ранее не были известны ученым. Особая заслуга В. М. Сидельникова состоит в том, что он один из видных советских фольклористов нашей страны, который последовательно отстаивает роль и значение фольклора, возникшего после Великой Октябрьской социалистической революции. Его многочисленные книги и статьи, написанные на основе оригинального материала всегда находят живой отклик в среде общественности, они раскрывают многие явления и факты истории развития культуры, они учат молодое поколение исследователей методике анализа и обобщения различных источников. Книга Виктора Михайловича «Красноармейский фольклор» заслуженно теперь считается классической работой, а его библиографии по русской народной песне, вышедшая еще совсем недавно, уже ста-

ла библиографической редкостью.

Профессор В. М. Сидельников относится к той выдающейся плеяде советских ученых-фольклористов—в лице Ю. М. Соколова, М. К. Азадовского, Н. П. Андреева, Н. И. Чичерова, которые стояли у истоков марксистско-ленинской науки об устном народном творчестве. Благодаря этих ученых, заложивших основу советской фольклористики и создавших целый ряд капитальных работ, наша советская наука об устной поэзии оказала благотворное влияние на мировую фольклористику. Наше современное поколение молодых фольклористов во многом обязано своим старшим коллегам по профессии.

Виктор Михайлович по примеру своего учителя академика Ю. М. Соколова уделяет огромное внимание делу роста научной квалификации молодых фольклористов, делу подготовки кадров. Ученики профессора Сидельникова, а их так много, что трудно в этой небольшой статье перечислить все имена, всегда с благодарностью вспоминают его и при любом случае продолжают обращаться к нему за помощью и советом. Не один десяток предисловий написано им к фольклорным сборникам молодых фольклористов. Эти «предисловия» по-существу представляют собой путевку в жизнь не только книгам, но и открывают дорогу в науку начинающим ученым.

Много сделал профессор В. М. Сидельников для развития советского литературоведения. Он поднял нетронутые пласты истории, касающиеся поэтического творчества представителей русской классической и советской литературы. Его исследования «Пушкин и народная поэзия», «Фольклоризация произведений Пушкина», «Песенное творчество Кольцова и народная поэзия», «Лирические новеллы И. С. Никитина», «Народная песня

и творчество Дрожжина» и ряд других работ вошли в золотой фонд достижений научных исследований по литературоведению. Немало сделано ученым и в области изучения проблемы современной поэзии и поэтического творчества народа. Здесь прежде всего необходимо назвать его такие исследования как «Песни Михаила Исаковского», «Устная поэзия и «Василий Теркин» Александра Твардовского», «Лирика Николая Рыленкова». Творческие интересы ученого весьма обширны. Наряду с изучением поэзии Демьяна Бедного, он много отдает времени исследованию творчества красноярской сказительницы Е. И. Чичаевой. Если так можно сказать, исследованию поэтического наследства «народных самородков» он уделяет особое внимание.

В заключение мне хочется сказать о личных качествах В. М. Сидельникова. Этот обаятельный человек большой души, прекрасный товарищ, трудолоб с неиссякаемой энергией, большой энтузиаст в любом новом полезном начинании, великолепный полемист, принципиальный и последовательный в своих суждениях. Недаром, те кому приходилось с ним сталкиваться, называют его чудесным человеком. И в самом деле—то человек, отдавший всего себя делу науки, делу процветания нашей любимой Родины. Пожелаем нашему юбиляру много лет жизни и плодотворной работы. Сибирские фольклористы, воспитанию которых ученый отдал много лет жизни, горячо приветствуют своего старшего брата. Молодому поколению ученых есть с кого брать пример.

Л. ЭЛИАСОВ,

доктор филологических наук.

Точность художественной детали

В выступлениях некоторых участников дискуссии проскальзывала мысль о том, что переводчик должен и обязан точно передавать все, что имеется в оригинале. Верно ли это?

Художественный перевод — это не простое копирование или буквальная передача текста с одного языка на другой, а художественное творчество. Процесс перевода — творческий процесс, переводчик такой же художник, как и писатель или поэт, он обладает талантом, индивидуальной манерой, вкусом. Задача переводчика — передать дух произведения, донести до читателя все богатство его идейно-эмоционального содержания.

«Близость к подлиннику, — говорил Белинский, — состоит в передаче не буквы, а духа создания. Каждый язык имеет свои, одному ему принадлежащие средства, особенности и свойства, до такой степени, что для того, чтобы передать верно иной образ или фразу, в переводе иногда их должно совершенно изменить. Соответствующий образ, так же как и соответствующая фраза, состоит не всегда в видимой соответственности слов: надо чтобы внутренняя жизнь переводимого выражения соответствовала внутренней жизни оригинала»¹.

Сочетание стиля, языка, образов, размера и рифм, движения стиха, игры слогов и звуков и т. д. образует внешность лирического стиха, его форму. Живая, неповторимая целостность этих элементов и воплощает поэтическую идею художника. Передать эту целостность при переводе точно невозможно. Обычно переводчики стремятся передать что-то одно, в основном, образы и размер. Стиль, движение стиха,

рифмы, звуки слов изменяются. Переводчик должен, исходя из специфики национальной интонации и национального своеобразия, выбрать наиболее важные элементы, то есть выбрать способ, метод перевода. При этом должны учитываться такие моменты, как своеобразие видения поэтом мира, отвечающий ему стиль, его индивидуальная манера. Разумеется, все это явление весьма сложное и творческое, ибо стиль писателя, национальная особенность используемого им материала обуславливаются самой жизнью, которая выступает как обстоятельство, формирующее личность писателя, и как объект изображения. С другой стороны, стиль писателя не существует вне таких понятий, как особенности родного языка, национальные художественные традиции, своеобразие таланта писателя, его мировоззрение и творческая индивидуальность. Все это должно быть изучено переводчиком. Не зная материала, которым пользовался писатель, его индивидуальных особенностей, стиля, национального своеобразия мышления и языка, переводчик не может передать живой дух подлинника.

В поэзии национальное своеобразие в значительной мере выражается национальной интонацией. Она может быть передана и воспроизведена на другом языке со всей полнотой в том случае, если перевод сделан исходя из художественных особенностей произведения, а не из грамматических закономерностей языка подлинника. Естественно, знание обоих языков — одно из основных условий успешного перевода. Но нельзя забывать и то, что язык выступает, как и в творческом процессе, одним из основных компонентов художественной

¹ Русские писатели о переводе. Л., 1960, стр. 199.

— наряду с сюжетом, конфликтом, ственной деталью и т. д.

желанию, в выступлениях участни-
кусии мало внимания уделено дру-
инопонентам формы, кроме языка. А,
юрил Белинский: «Талант перевод-
сть талант формы, разумеется, при
ости вникать в дух чужих произ-
и и чувствовать их красоты».

иленно правильно пишет В. Пето-
иы знаем, что русская современная
очень высоко ценит искусство по-
ой детали. Поэты Бурятии, облада-
тим редким искусством, выигрывают
том переводе. Лучшие поэты-пере-
и бурятской поэзии Вас. Журавлев,
юв, Евг. Евтушенко и др. в первую
передают эту сущность, а там, где
мелости поэтической детали, пере-
отходят, переводят вольнее».

кажется, главная задача перевод-
суметь передать словами другого
художественные детали, через ко-
писатель и воплощает особенности
льной жизни, колоритные нацио-
характеры и нравы. Как неповто-
национальный уклад жизни того
го народа, его история, культура,
неповторимы и образные детали его
уры. Они, пожалуй, больше всех
ов формы проникнуты националь-
ком.

имся к примеру. В описании
богача Бадмы Хоца Намсараев
одал несколько деталей. Но их до-
о, чтобы создать не только внеш-
становку усадьбы, но и охарактери-
внутренний мир богача: «Добые
э дун сагаан хонид», «Нарьмай
и, модо тулаһан, хүл нисэгэн хүн»,
няар болоһон даар-дархи нэгэ ехэ
», «хара торюун шэнги олон мал».
ь не обрисовывает предмет или яв-
о всем многообразии подробностей.
лишь о человеке в нагальной дохе
. Но нам сразу же ясно, что этот
-батрак, ясно, какого «нутро» его

хозяина, хотя об этом писатель не упоми-
нает. Все детали описания усадьбы созвуч-
ны, взаимно связаны и дополняют друг
друга. Используя деталь-сравнение «добые
бурхөөмэ дун сагаан хонид, хара торюун
шэнги олон мал», писатель создает ощу-
щение огромного размера не только усадь-
бы Бадмы, но и его богатства. Это ощу-
щение усиливается добавлением завер-
шающего штриха — ежедневно к летнику
то верхом, то пешком подъезжают и под-
ходят многочисленные люди. Этих несколь-
ких штрихов достаточно, чтобы ясно пред-
ставить, кто такой Бадма.

Дав несколькими мазками характери-
стику масштабности богатства Бадмы и ос-
новную черту его характера, писатель вво-
дит нас внутрь летника. Но прежде чем
начать описание внутреннего вида, он соз-
дает портрет Бадмы: «Шэрэлдэнги шэрүүн
хара буржагар үһэтэй, хирэ тоһон хоерһоо
зузааршаһан хүхэ даалин гэргэн дэгэлтэй,
хилэн малгай хойто духа дээрээ һагнай-
тар үмдэһэн, һахалтай хара һамган». Это
вполне оправданно. Во-первых, этим под-
черкивается мысль, что в летнике хозяй-
ка жена Бадмы, а какая хозяйка, таковы и
вещи. Во-вторых, описание внутренней об-
становки важно писателю для выражения
характера жены Бадмы. Далее писатель
переходит к описанию: «...Хара эһэн боло-
һон ехэ-ехэ хүрхигэрнүүд ханза хоорбо,
баһа хара эһэн болоһон хуушан дарьягар
бурханай шэрээ, тэрээнэй табсан дээгүүр
дааян улаан зэд сүгсэнүүд; гунгарбаа до-
торнь алта шараһан гурбан ехэнүүд сэргэ
бурхан» и т. д. Основную смысловую на-
грузку несет «халат, ставший толстым от
грязи и сала». Остальные штрихи играют
вспомогательную роль, как бы уточняя и
расширяя мысль, выраженную в основной
детали.

Совокупность подробностей портрета
жены богача и описание интерьера летни-
ка воссоздают типический национальный
характер. Художественная значимость де-
тали велика. Она выступает как средство

философского обобщения и типизации. Отрасть к наживе, к обогащению приводит эксплуататоров к потере ими человеческого облика, к деградации человеческой личности, к утрате подлинных радостей жизни. Они становятся, по сути дела, рабами своего богатства.

Писатель использует детали целенаправленно, давая им определенную художественную нагрузку. Они не свободны в своем действии, тщательно обдуманы и сознательно подобраны. В этом смысле следует говорить о сознательном акте творчества в отборе жизненных деталей. Писатель берет из жизни деталь, которая ему кажется наиболее убедительной, отвечает изображаемому явлению, строю мыслей и художественным вкусам автора.

Все детали создаются на основе жизненного опыта писателя, его практических наблюдений. Они существуют в жизни независимо от него и в силу определенных условий становятся художественными, эмоционально воздействующими на нас. В самом деле, картина действительности, нравы, психология людей, их язык, образ действия, внешний облик, даже черты эпохи воссоздаются правдивой образной деталью. Тем самым деталь служит не только средством воспроизведения объективной действительности в художественных образах, но и средством познания ее. Специфика детали в том, что она обладает глубиной обобщения, позволяет увидеть нам целое. Это такое частное, которое несет весомое целостное. Назначение детали — вызвать у читателя яркое чувственное представление изображаемых явлений, определенным образом эмоционально воздействовать на него, дать сразу, мгновенно образное обобщение.

Но точность передачи детали не надо понимать как ее обязательное повторение в переводе. Переводчик, конечно, должен стремиться к сохранению деталей подлинника, но не все детали, взятые из жизни бурятского народа, будут понятны, а главное, выразительны, например, для

русского читателя. Поэтому задача переводчика — найти другие детали, которые не копировали бы детали оригинала, но несли бы ту же содержательность, выполняли ту же идейно-эмоциональную функцию. Успех перевода и зависит от того, насколько верно и точно передана выразительная нагрузка детали, воссоздающей правду жизни. Ведь точность передачи художественной детали способствует или, наоборот, препятствует передаче мысли и национального колорита подлинника. Те же самые детали «Нарьмай дагал», «бурханай шэрээ», «зэд сүгсгэнүүд», «сүргэ бурхан» и т. д. в переводе А. Ференчука и В. Авдеева переданы неточно и потому не воссоздают того сугубо национального, что имеется в оригинале. «Нарьмай дагал» передан как «рванный халат», тогда как более близкий адекват — «нагольная деха». Этнографические детали, выражающие предметы божественного ритуала, переданы одной деталью — фигурки богов...

Но зато в передаче деталей «добые бурхэмэ сагаан хонид» и «хирэ тоһон хоёрһоо зузааршаһан хүхэ даалин гэргэн дагал» переводчики нашли удачное соответствие, внешне не совсем схожее, но несущее ту же выразительную функцию: «Издали казалось, что овцы перекатываются с места на место, как большие белые валуны» и «на ней был синий халат из далембы, такой грязный и засаленный, что он уже не сгибался, лишь корбился, словно берестяной». Для русского читателя детали в своем буквальном переводе не звучат. Но точно найденный адекват позволил передать эстетическую значимость, силу, смысловую наполненность и выразительность детали оригинала. Деталь «овцы, как большие валуны» выражает, как и в подлиннике, масштабность размера богатства Бадмы, а «халат грязный и засаленный», который потерял способность сгибаться, а лишь корбился, словно берестяной», выражает скупость и неряшливость жены Бадмы. Мысль и идея, вложенные автором в деталь, ясно выражены в переводе.

Подобные примеры достаточно ясно говорят о том, как много в переводе зависит от точности передачи образной детали.

С. БАЛДАНОВ,
аспирант.

Акт самой высокой дружбы...

Трудно найти бурятского писателя, который бы не переводился на русский язык. Так, например, произведения Х. Намсараева, Ж. Тумунова, Ч. Цыдендамбаева, Д. Баттожабая, Н. Дамдинова и других почти полностью увидели свет на русском языке. Это солидная литература. На фоне этого несколько неожиданны утверждения С. Чагдурова о том, что «наша поэзия в целом звучит по-русски совсем не так, как она звучит на родной почве». Мы хорошо понимаем тревогу С. Чагдурова о качестве переводов с бурятского, но вряд ли правомерно, опираясь на образцы некоторых неудач, очеркнуть всю гигантскую во многих случаях по-настоящему талантливую работу елого коллектива переводчиков.

Второй всесоюзный съезд писателей мет-од охарактеризовал художественный перевод, как «акт самой высокой дружбы между писателями». Исследовать и обобщать наиболее конкретные проблемы переводов с урянского именно с этих позиций было бы весьма ценно и полезно для практиков-переводчиков. К сожалению, пока разговор о асто организационной стороне перевода вылетает над художественным аналитическим моментом. А ведь проблема художественного перевода весьма и весьма обширна. на, конечно, же не исчерпывается решением вопроса — растить своих переводчиков и приглашать со стороны, — как это полагает В. Петонов. Или же выяснением то — опускает ли переводчик из оригинала целые абзацы или нет — как это пы-тается делать С. Забадаев. Также глубоко избыточна и вредна мысль о неразработанности теории перевода. Нам не нужно за-вать о том, что критика перевода далеко на от тех времен, когда она складыва-сь по преимуществу из указаний на курь-е и глубокие ошибки, и игнорировать тот кт, что по размеру и по интенсивности юты советская теория перевода не имеет иче равных в мире... В своей статье С. ддуров приводит пример якобы неудач-ю перевода И. Френкелем стихотворения Намсараева «Золотая осень» и цитирует это четверостишие:

алай габъяа байгуулхаа
ель хабаяа харуулба,
ни түсэбөө дүүргэхээ
агад хубүүд уряалба.

В переводе И. Френкеля звучит так:

бляу осеннюю страду,
бляу задор соревнования,
ля колхозному труду
тем, кто выполнил задания!

Звучно, здесь слышно искажение бу-ного текста. Но дает ли этот оригинал ание автору статьи для таких, напри-мосторгов: «Я не удивлюсь, если мне

скажут, что эти строки Намсараева уже распеваются улусной молодежью на празд-ничном ёхоре: настолько они по-бурятски музыкальны и полны бесхитростной поэти-ческой прелести». О какой прелести идет речь? Мы глубоко ценим талантливое творчество Х. Намсараева и других писателей старшего поколения и никоим в голову не придет как-то умалчивать их значение. Но не для кого не секрет и тот факт, что в их произведениях мы встречаем часто налет декларативности, литературного штампа, вы-званный обстановкой времени. Примером тому — цитируемая строфа. И в данном, конкретном случае вряд ли «переводчик на-вязал ему свой штампованный стиль». Так-же неудачно, на наш взгляд, упоминается С. Чагдуровым сборник Ц. Галсанова «Заря над Азией». Стоит ли здесь упрекать пе-реводчиков? С тех пор бурятская поэзия далеко шагнула вперед. Кстати, весь тер-нистый путь нашей поэзии, и ее невдачи, и достижения любопытно было бы проследить на творчестве одного из самых ярких ее представителей, именно на творчестве Ц. Галсанова. Его песни были обнародова-ны, когда поэту было всего лишь четырнад-цать лет. Однако, опираясь на худшее прошлое и не на лучшее настоящее, вряд ли возможно представить истинную карти-ну развития нашей поэзии. Другое дело, ко-гда речь идет о таких труднопереводимых шедеврах, как, например, «Благословение матери» Х. Намсараева или же «Луна, све-тящаяся в окне» Б. Абидуева. А как пере-вести их, как довести всю прелесть оригина-ла? Н. Дамдинов, например, считает, что «хорошо поддаются переводу стихи с вы-пуклыми образами, броскими сравнения-ми»¹. Далее он пишет: «Случается, что сти-хотворение, отлично написанное на родном языке, ставшее хрестоматичным, приобре-тает в самом добросовестном подстрочнике вид избитого и штампованного стихотворе-ния. Вот вам подстрочник одного из сти-хотворений Бавасана Абидуева:

В зимнюю длинную ночь
Я лежу и гляжу в окно.
На груди холодного и ясного неба
Блещет лучами луна.
Появляется прозрачное облако
И задевает краешек луны.
Налетает откуда-то ветер свистящий
И вершины деревьев качаются.

Не думаю, что переводчик увидел в этих строках что-то захватывающее, а между тем перед вами одно из лучших стихотворений бурятской поэзии, с первого чтения запечатлевающееся в памяти, звучное, гармонич-ное».

Действительно, это так: самый добросо-вестный подстрочник утерять всю прелесть

¹ Н. Дамдинов. Границы поэзии. Улан-Удэ, 1962, стр. 42.

«Луны, светящейся в окне». Тут-то появляется желание разобраться с подстрочниками. Несомненно, подстрочник подстрочнику рознь. Одни могут быть выполнены лучше, другие хуже, но ценность их одинакова, нам кажется, если они вот такие, буква в букву «добросовестные». В самом деле, переводчик в них ничего захватывающего не найдет. Совсем другое дело, когда подстрочник объясняет, комментирует каждую деталь, интонацию и ритм. Также очень важно указывать количество строк и строф, логические ударения и т. д. Естественно, совершенно необходимо порою переводчику знать абсолютно все о поэте, весь пафос творчества, его тяготение к определенным образам, словом, даже то, при каких обстоятельствах создавалось произведение. Выше сказанное, вероятно, больше относится к переводам поэзии. И прежде, чем выносить приговор художественному переводу, следует быть детально знакомым и с подстрочником. А дело с ним — хлопотное. Нам известны случаи, когда подстрочники выполняются не самими поэтами, а поручаются третьим лицам, которые «добросовестно» и сухо перекалывают с родного языка на русский весь текст, что влечет за собой вот такого типа ремесленничество:

Вы, конечно, правы оба,
То есть воляк бесспорно прав.
Но и все ж хотелось, чтобы (?)
Сущность дела разобрав, (?)
Мог понять первопричину, (??)
Подоплеку, так сказать, (??)
И распутать паутину.
И конец с концом связать!

Действительно, тут не сразу «распутать паутину». Самому Ширабу Нимбуеву наверняка и во сне не снились эти «подоплеку» и «первопричины». Шираб Нимбуев относится к числу трудно переводимых поэтов. Его некоторые стихи составляют удивительный сплав искренности и какого-то неуловимо тонкого настроения. И порою трудно определить, чем достигают этого поэты. Ясно лишь одно — в переводе все это улетучивается. Вот почему мы за подстрочники-объяснения, подстрочники-комментарии и за самую высокую дружбу между поэтами и переводчиками. Мы глубоко убеждены в том, что лучшие переводы бурятской поэзии — результат привлечения подстрочников-объяснений, подстрочников-комментариев и плюс тесное сотрудничество поэтов и переводчиков (Н. Дамдинов — Ю. Левитанский, Р. Казакова, Д. Улзытуев — Е. Евтушенко, С. Куняев; А. Бадаев — Ю. Рышленцев; С. Ангабаев — В. Журавлев; В. Петонов — О. Дмитриев).

В седьмом номере журнала «Дружба народов» за 1966 год опубликованы главы из первой книги «Гэсэра» в переводе С. Липкина. Первое впечатление от них самое приятное. В кратком предисловии к ним С. Липкин пишет: «Национальный характер не раскрывается так полно, как в народном эпосе. Воссоздать этот характер по-

русски — задача для переводчика не только увлекательная, но только трудная, но и решающая, главная». Не в этом ли тонком замечании опытейшего переводчика таится сущность, первооснова при переводах с другого языка. Воссоздать национальный характер на другом языке не так-то просто, но, видимо, здесь-то и ждет удачи переводчика. Но для этого нужно очень много знать о том народе, чье произведение переводить. Чего греха таить, зачастую получается ведь и так, что переводчик кроме подстрочника ничего и не видел, даже не знаком и с автором переводимого произведения. Здесь и наши подстрочники-объяснения дела не спасут. По нашим подсчетам число переводчиков с бурятского перевалило далеко за сотню. Хорошо это или плохо? Так, например Д. Жалсараева переводит более десяти поэтов. Среди них мы встретим имена М. Львова, А. Коренева, Д. Смирнова, В. Виноградова, М. Светловой, Ю. Разумовского, Т. Стрешневой, В. Мартынова, Л. Шипахиной, В. Сикорского, И. Грудева, С. Шервинского. Не «отстаёт» от него и Ц. Бадмаев. Его книги увидели свет на русском языке в переводах З. Миркиной, А. Балабаева, Б. Окуджавы, Н. Бялосинской, И. Френкеля, А. Глазкова, В. Парфентьева, М. Лукомина, В. Мартынова, В. Кузнецова, В. Киселева, Ю. Левитанского, Ю. Коринец, Д. Голубкозз, Е. Маркина, В. Журавлева, О. Зверева, А. Заяц и С. Шукриной. Двадцать разных поэтов!

В 1960 году в Москве вышел сборник «Бурятские рассказы». В нем представлены почти все ведущие прозаики Бурятии. Но сборник не удался. И все потому, что наши читатели ударились в другую крайность. Десять из них переведены одной С. Шукриной. И потому здесь трудно отличить Ц. Галинова от Ц. Бадмаева или же Ц. Дамдинжанова от Н. Балдано.

При таком состоянии дел, однако, не приходится говорить о переводе, как об акте самой высокой дружбы между писателями... Возьмем, к примеру, Ц. Бадмаева, одного из своеобразнейших поэтов Бурятии. Его поэзия пересытана тонким юмором. Многие его вещи по-хорошему афористичны, глубоко западают в душу. В целом же поэзия Бадмаева отличается ярким, образным выражением национального своеобразия народа, его быта, обычая; гуманистическим отношением ко всему светлому и доброму. К лучшим достижениям бурятской поэзии следует отнести и такие его стихотворения, как «Спящая мать», «Мать-земля, сыновей береги», «Сэрэн Жороо», «Наш обычай», «У родника» и др. Кстати, все они переведены на русский язык. Причем каждое из них имеет несколько вариантов перевода. Нам понятно стремление Ц. Бадмаева, ищущего лучшие варианты. Но пока же все получается наоборот: первые переводы, как правило, лучше последних. Это чувствует, очевидно, и сам поэт, но почему-

¹ Строки эти переведены А. Кафановым и взяты из книги стихов Ш. Нимбуева «Песня о Байкале», М., 1959 г.

то эти последние варианты печатаются, включаются в его сборники. Особенно наглядно это видно на сборнике «Бурлит Селенга»¹. Поэтического лица Ц. Бадмаева здесь не узнать. Подбор произведений самый случайный. Рядом с детскими стихами соседствует и лирика, и сатира. Попытка показать широту творческого диапазона поэта, таким образом, кажется нам не удавшейся. В книге представлено много старых, известных стихотворений в новых, ухудшенных переводах. Тонкая лирическая миниатюра о спящей матери в свое время увидела свет на русском языке в отличном переводе А. Балабаева. Теперь же ее перевел О. Зверев. И в новом варианте исчезли все те неуловимые детали, так выпукло дорисовывающие образ спящей матери. Вообще же с переводами произведений Ц. Бадмаева происходят странные вещи. В одних изданиях «Сэрэн-Жороо» значит переводенным Вл. Мартыновым, в других же стоит фамилия И. Френкеля, хотя текст один и тот же. Стихотворение «Согсорит» переведено Вл. Мартыновым и В. Киселевым. Здесь опять-таки почти полное совпадение текста у обоих переводчиков. Одна лишь разница—у Мартынова спутник дважды обернулся вокруг земли, а у Киселева—трижды. К сожалению, такую практику перепереводов с бурятского мы наблюдаем не у одного Ц. Бадмаева. Совершенно другое дело, когда поэт улучшает оригинал и это, естественно, требует и улучшения перевода. В самом деле, почему он должен игнорироваться, если перевод его в целом был удачным.

В вышеприведенных примерах нигде не наблюдаем изменения текста оригинала. И, пожалуй, единственным удачным примером постоянного улучшения оригинала и впоследствии его перевода может служить «Река течет» Н. Дамдинова. Существует несколько редакций этого стихотворения на бурятском языке и соответственно его переводов. Самая новейшая редакция на родном языке дана в книге «Нарата нютагай дуун»², его перевод выполнен А. Щитовым в журнале «Байкал» (№ 4 за 1966 г.). Самые первые же переводы принадлежат И. Грудеву и Б. Окуджаве. О чем же это стихотворение? О вечности жизни? Разве не символизирует само название вечность? А может быть это лишь простая иллюстрация к мыслям философа о том, что нельзя войти в одну и ту же реку дважды? Да! И такие строки есть. Поэт пишет о том, что капля росы, упавшая в реку от поцелуя лирического героя с любимой, давно уплыла безвозвратно. Он сожалеет о мимолетности жизни, сравнивая ее с этой каплей. Короче, река течет и в нее нельзя войти дважды. Однако, любая иллюстративность — злейший враг искусства. Тогда почему же мы так волнуемся, сопереживаем с лирическим героем? Именно сопереживаем: нам живо передаются его сомнения, помыслы, надеж-

ды... На это хочется ответить словами Льва Толстого, который полагал, что искусство становится более или менее заразительно вследствие трех условий: вследствие большей или меньшей особенности того чувства, которое передается; вследствие большей или меньшей ясности передачи этого чувства и вследствие искренности художника, то есть большей или меньшей силы, с которой художник сам испытывает чувство, которое передает». Третье условие—искренность — он считал самым важным из трех. «Река течет» в первых вариантах, нам кажется, не достигала до такой высокой оценки из-за отсутствия искренности. Там было все—и боязнь покоя, и стремление плыть «только против течения», и мудрствования о вечности жизни. Вот завершающие стихотворение строки в переводах разных поэтов в хронологическом порядке...

...Людмила...

Имя у нее красивое.

Река течет. Слегка рябит вода...

И был далек тот день, когда,
счастливые,

Мы вдруг чужими стали навсегда.

(Перевод И. Грудева).

...Я тебя поднимаю на руки,

к губам прикасаюсь губами...

Мудрость вечна,

мудрствование — не в счет...

Ветер.

Ветер. Две звезды голубые
упали...

Река течет.

Река течет... Река течет...

(Перевод Б. Окуджавы).

...Лучше послушаем

плеск голубой волны...

Ты в ответ улыбаешься,

и все—все вопросы

Становятся разом разрешены.

(Перевод А. Щитова).

Как видим, поэт с каждым разом заметно улучшал текст. В первом варианте, а также и во втором главная мысль, идея — это вечность жизни. «И был далек тот день»...). Особенно резко подчеркивается это во втором варианте троекратным повторением.

Река течет...

Река течет... Река течет...

Однако, в обоих случаях чувствуется некоторая искусственность логического конца. Не совсем понятен образ девушки. Мудрствовать можно было бы и без нее. Но когда лирический герой признается:

Ты в ответ улыбаешься,

и все—все вопросы

Становятся разом разрешены.

Сразу все становится на место. Н. Дамдинов как бы дописывает давно напрашивавшийся конец. Теперь-то мысль о вечно-

¹ Цырен Бадмаев. Бурлит Селенга. М., «Советская Россия», 1966 г.

² «Нарата нютагай дуун», Улан-Удэ, 1966 г., стр. 42—46.

сти и мимолетности жизни стоит в ряду кратковременных сомнений, беспокойств, охвативших лирического героя, а не выпирает, как главная идея произведения... Теперь-то и образ девушки заиграл...

Главный вопрос перевода «как?» особенно удачно просматривается на переводах поэзии Н. Дамдинова. Ю. Левитанский, Р. Казакова и Е. Цыгановский попытались как можно ближе передать и ритм, и интонацию, не говоря уже о системе образов.

Посмотрите:

а) «Очень прошу прощенья!

Простите меня, цветы,
За то, что тяжелый шаг мой
вас заденет!»

б) «Как степью широкой,
по жизни пройти хочу я».

в) «Чтоб Дугар утешился, вы скажите так

старик:

Будут вечно лошади,
будут лошади на лугу.

Будет степь весенняя,
несушая поутру.

И аркан посылать
будет весело на ветру».

(Переводы Ю. Левитанского).

Это Дамдинов. Очень часто в переводах в хорошем смысле слова совпадают даже количество слогов и слов, тем самым создавая интонацию и ритм оригинала («Гудящие сосны», «Табунщик Дугар» и др.). В разобранном нами небольшом стихотворении «Река течет» Н. Дамдинов сто двадцать раз (!) употребил звук «р» в сочетании с другими. При громком чтении вы ясно слышите и чувствуете, как плавно течет река... Еще очень характерно, что переводчики стремятся придерживаться и поэтического стиля поэта. Для Н. Дамдинова характерно частое употребление дееспричастий:

«В десять лет был конником,
а семнадцати лет, влюбясь,
По сто верст отмахивал,
на свидание торопясь».

(перевод Ю. Левитанского. «Табунщик Дугар»).

«Мальчишкой Шилдэй-мэргэн
с медведем, царем зверей,
На узкой тропе сойдясь, схватился один
на один».

(«Возвращение Батыра» Перевод
Р. Казаковой).

Вообще же, дееспричастие весьма употребительно в бурятском языке, однако, в русской поэзии оно — редкий гость. И тем более важно, что эти «влюбясь» и «сойдясь» в поэтическом контексте весьма усиливают стилистическую окраску. В целом же переводчики тонко чувствуют мироощущение Н. Дамдинова, что придает их работам характер цельности и добротности. Чувствовать в целом мироощущение поэта очень важно, ибо простое суммирование средств

художественной выразительности — метафор, эпитетов, сравнений — ничего не дает, оно оказывается слишком поверхностным. Часто внешние качества произведения выпирают и создают обманчивое впечатление. Так, например, «Луна, светящаяся в окне» Б. Абидуева вполне воспринимается, как пейзажная лирика. Действительно, дается редкой наблюдательности ночной пейзаж, за которым скрывается лирический герой. Но если отказаться от стремления передать в переводе все своеобразие примененных поэтом художественных средств, таких, как например, «Һэмжэн үүлэн», «тарган шалхагар шарайтай» и другие, то получится самое настоящее штампованное «стихоплетство».

И все же путь главным образом от мироощущения поэта представляется наиболее верным путем. В самом деле, и здесь главным оказывается не ночной пейзаж, а то, как воспринимается он лирическим героем. Вот откуда, оказывается, идет все настроение, сопереживаемое нами.

Проблема художественного перевода не узкая проблема. Она вобрала в себя и воссоздание национального своеобразие, и специфику перевода отдельных жанров, и передачу индивидуального стиля автора и т. д. Приятно сознавать, что в последние годы наблюдается особенное оживление в переводческом деле и соответственно с ним попытка осмыслить, разобраться в его проблемах. Много ценного уже высказано в выступлениях С. Чагдурова, А. Белоусова, М. Степанова, В. Махатова, С. Забадаева и В. Петонова. Однако, чаще раздаются голоса о переводах поэзии. Это и понятно. Традиции у нее моложе, да и переводить поэзию сложнее. И если в прозе мы имеем таких опытных писателей-переводчиков, как М. Степанов, А. Бальбуров, Н. Рыбко, В. Сергеев, И. Калашников, то из местных поэтов-переводчиков, пожалуй, назвать некого, за исключением быстро растущего А. Шитова. Размер статьи да и рамки дискуссии не позволяют высказаться более подробно о работах вышеназванных прозаиков-переводчиков. Весьма оригинальными и колоритными представляются нам переводы повестей Ц. Галанова, выполненные А. Бальбуровым, И. Калашниковым и В. Сергеевым.

Несколько слов о двуязычных переводчиках. Думается, что в настоящее время ни один из бурятских поэтов не сможет на современном уровне перевести себя и своих собратьев по перу. Здесь «одним знанием никак не обойдешься»... К тому же у нас уже имеются весьма удачные примеры сотрудничества бурятских поэтов с поэтами-переводчиками из Москвы. В упомянутом нами предисловии к переводу «Гэсэра» С. Линкин признается в том, что он 25 лет тому назад мечтал перевести наш эпос, но взялся за перевод лишь после того, как ему «удалось побывать в Бурятии, встретиться с ее писателями и учеными, услышать звучные и пыльные строки бессмертной поэмы из уст сказителей, увидеть таежную зем-

которой совершал свои подвиги во
добра Гэсэр, заступник народа и
человеческого в человеке».

Видя, где скрыт залог удачи. После этого
он открывает свою тайну подстрочник.
Он и теперь способен выказывать всю свою
ценность. Его ценность увеличивается во
всех случаях. Переводчик имеет теперь под ру-
кою свои комментарии и объяснения...
Вот дело с прозой. Здесь больше удач,
Иное дело прозаиков, но белых пятен все же
нежелать. Приходится сожалеть, что остаются
много непереведенными мудрая проза
почти дая, глубоко публицистичные рас-
А. Шад. Дамдинжапова и другие.

Участники дискуссии справедливо ука-
зывают на то, что критика ни слова не ска-

зала о переводах с русского на бурятский
язык. Между тем переведено очень много.
Большая часть из них стала явлением род-
ной литературы. Бурятские писатели учи-
лись и учатся у мастеров русской литерату-
ры. Так, например, по сведениям публич-
ной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щед-
рина переводы только детской литературы
вдвое превышают издания оригинальных
произведений. Одним Б. Санжиным пере-
ведено более двадцати книг. Примерно та-
кая же картина и с переводами литерату-
ры для взрослых. Так что слово—за иссле-
дователями.

В. БИЛЬДУШКИНОВ,
аспирант Ленинградского университета.



Как рождалась республика

Образование Бурятской Автономной Советской Социалистической Республики — выдающееся событие в истории бурятского народа. Создание автономии Бурятии стало возможным только благодаря победе Великой Октябрьской социалистической революции, пятидесятилетие которой мы отмечаем в этом году.

Несмотря на очевидную актуальность, тема об образовании Бурятской республики до сих пор не была монографически исследована историками и юристами. Статьи и брошюры М. Н. Ербанова, Д. Г. Бажеева, Н. Д. Шулунова и других не раскрывают всей сложности процесса образования сначала автономных областей в составе РСФСР и ДРВ, а затем автономной республики, и не дают полного анализа этих событий. Наиболее обстоятельно вопрос изложен в «Истории Бурятской АССР», в третьей главе второго тома, написанной кандидатом исторических наук Б. Д. Цибиковым. Однако размеры этого обобщающего труда не позволили автору осветить тему с той полнотой, какой она заслуживает. Поэтому мы с удовлетворением отмечаем выход в свет новой работы об образовании Бурятской АССР¹.

А. Бартанова использовала в работе над книгой не только все ранее вышедшие труды, но и новые материалы из архивов Москвы, Иркутска и Улан-Удэ.

Исследование открывается анализом социально-экономического развития Бурятии в конце XIX и начале XX веков. Это дало автору возможность наглядно показать огромный путь, пройденный республикой за 40 лет. В главе даются краткие сведения об экономике и росте революционного движения в крае. Правильно подчеркивается мысль о том, что революционная борьба рабочих Прибайкалья явилась составной частью общероссийского революционного движения и проходила под идейным и организационным руководством большевистской партии.

Большое место в книге отведено созданию бурятских автономных областей в составе РСФСР и ДВР, то есть первым шагом государственного оформления бурятского народа.

Автор раскрывает марксистско-ленинское учение об автономии, совершенно правильно подчеркивает, что одной из важнейших форм государственного разрешения национального вопроса в нашей стране была советская автономия.

Характерной особенностью возникновения бурятской автономии явилось одновременное существование двух автономных областей бурятского народа — одной в составе РСФСР, а другой в ДРВ. История этих областей исследована очень мало. Несомненной заслугой автора является то, что он специально разработал этот вопрос.

Руководствуясь известным ленинским указанием о том, что «пролетариату нужна правда и о живых политических деятелях и о мертвых»², автор стремится показать партийных и советских работников, сыгравших большую роль в создании бурятской автономии.

Освобождение Дальнего Востока от интервентов и белогвардейцев и присоединение его к Советской России устранило причины, вызвавшие необходимость временного разделения Бурятии. В книге убедительно показаны причины объединения двух областей и образования республики.

Автор правдиво отобразил трудные условия, в каких боролись коммунисты Бурятии за образование АССР. Многосторонне освещен вопрос о национальном движении, отличавшемся сложностью и противоречивостью.

Многочисленные факты и материалы исследования убедительно опровергают измышления буржуазных фальсификаторов истории, которые пытаются доказать, что советское национально-государственное строительство не отражало воли народов.

¹ А. Бартанова. Образование Бурятской Автономной Советской Социалистической Республики. Улан-Удэ, 1965.

² В. И. Ленин. Сочинения, т. 20, стр. 8.

Книга не свободна от некоторых недостатков. Так, нельзя согласиться с трактовкой характера национального движения в начале XX века. «Необходимо иметь ввиду, — говорит автор, — что требования бурятского пойнонства и кулачества о восстановлении Степных дум во главе с тайшами и борьба бурятских крестьян за землю, настроения против крестьян-переселенцев, не могут рассматриваться как требования, отвечающие интересам бурятских трудящихся крестьян или как демократические». Нам думается, борьба бурятских крестьян за землю была направлена против колониальной политики царизма, а не против крестьян-переселенцев. Борьба бурятских и эвенкийских крестьян за свои «породные» земли являлась демократическим, революционным движением. В работе П. Т. Хаптаева «Национальное движение в Бурятии в период первой русской революции» совершенно справедливо сказано, что «национальное движение в Бурятии являлось объективно революционным движением». Н. П. Егунин в своей книге «Колониальная политика царизма и первый этап национального движения в Бурятии в эпоху империализма» также отмечает: «Движение бурят и эвенков за землю носило демократический характер, несмотря на то, что оно совершалось под эгидой верхушки бурятского общества».

В книге говорится, что с временным падением Советской власти в Сибири «оставшиеся в Иркутской губернии члены Бурятской секции М. Н. Ербанов, С. Х. Николаев, Г. Г. Данчинов и другие вели нелегальную партийную работу». В действительности же летом 1918 года, в период временного падения Советской власти в Сибири, Бурятской секции не было. М. М. Сахьянова, М. И. Амагаев и Е. Манзанов вместе с руководителями Центросибиря вынуждены были перебраться на Дальний Восток и перешли там на подпольную работу. Остальные члены Бурятской группы остались в Иркутской губернии и вели нелегальную работу. Следовательно, речь может идти о членах Бурятской группы при Иркутском губкоме РКП(б), а не о Бурятской секции.

В книге утверждается, что «Боханский подпольный комитет, в ответ на сообщение Каландаришвили, организовал сбор продуктов питания и обеспечил продвижение беглых политзаключенных по наиболее безопасному пути». Это взято, видимо, из воспоминаний Ф. М. Осодоевой. Но это

важное утверждение не подтверждается фактами. Ни один из участников Боханской подпольной группы, кроме Ф. М. Осодоевой, об этом факте не говорит. Боханская подпольная группа в это время, т. е. в первых числах сентября 1919 года, только начала оформляться, вряд ли она была в состоянии провести такую работу.

Далее автор пишет, что «в этот период основная организационная работа легла на плечи коммунистов П. С. Балтахинова, Ф. Р. Коняева, М. Г. Улаханова, П. И. Павлова, М. М. Пилунова». По нашему мнению, Балтахинов еще не был тогда членом РКП(б). После свержения колчаковщины и победы Советской власти в Иркутской губернии в конце января 1920 года при Бурсекции Иркутского губкома РКП(б) была проведена регистрация коммунистов. Все вышеуказанные товарищи зарегистрировались как члены РКП(б) — за исключением Балтахинова. Видимо, он к этому времени еще не совсем отказался от анархистских позиций. Но совместная работа с коммунистами по подготовке вооруженного восстания во время колчаковщины все более убеждала его в правоте партии Ленина. 3 марта 1920 года он выступил в РКП(б), что и подтверждает протокол Бурсекции.

Очень противоречиво освещается в книге вопрос об инициаторах образования Бурятской автономии. Так, автор утверждает, что «с укреплением Советской власти в Бурятии вновь встал вопрос об организации автономии бурятского народа. Движение за автономию возглавили Иркутский губком РКП(б) и Бурсекция». А на следующей странице говорится, что Бурсекция была против автономии!

Незаслуженно мало внимания уделяет автор вопросу о первой конституции Бурятской АССР.

Мы думаем, что автор продолжит работу над темой. Специальную главу следовало бы посвятить борьбе за установление Советской власти в Бурятии. Есть необходимость расширить рамки исследования, довести его до 1936 года — года окончательной победы социализма в нашей стране.

Книга в целом оставляет положительное впечатление и, безусловно, явится ценным вкладом в дело изучения исторического процесса — образования Бурятской АССР.

Е. ТАРМАХАНОВ.

кандидат исторических наук.

«На суровом склоне»

Большинство историко-революционных произведений советских писателей посвящено самой революции или же борьбе за сохранение ее завоеваний. И очень мало прозаиков обращается в своих произведениях ко времени зарождения ростков революции, ко времени борьбы ленинской партии за сплочение рабочего класса, за превращение его в решающую политическую силу. Именно об этих незабываемых и трудных годах — новый роман Ирины Гуро¹.

Это новое историко-революционное полотно привлекает внимание читателей забайкальцев в книге отображены события 1905—1906 годов в Чите. Многих старожиллов столицы Забайкалья, очевидцев создания первых Советов, до глубины души трогают страницы, посвященные революционным боям в родном городе; сквозь дымку времени, словно наяву, перед нами вновь предстает бессмертный подвиг читинских железнодорожников и мастеровых, крестьян и солдат.

Посвящено это историческое повествование герою революционной Украины и Забайкалья, черному ленинцу Антону Антоновичу Костюшко-Валюжаничу, известному в Чите под конспиративной фамилией Носиф Григорович.

Путь этого мужественного человека в революцию не был легким и ровным. Он многому научился у замечательных большевиков, таких, как Петровский, у своих ближайших друзей, учеников Ильича, — Бабушкина и Курнатовского. Они помогали Костюшко глубже понять смысл событий, найти верный путь в сложной борьбе, направляли порою его огневой революционный энтузиазм и отвагу.

Очень впечатляют страницы романа, посвященные диалектике революционного созревания бывшего дворянина, принявшего имя пролетария. «Что-то более сильное, чем жажда жизни и чем страх смерти, руководило им», — думает о нем в финале романа поручик Ильицкий, узнавший среди узников своего сослуживца по полку. Безвольному Ильицкому, тяготившемуся службой в карательном отряде, была непонятна первопричина стойкости, отваги и мужества революционера, ставшего одним из руководителей большевистской организации Забайкалья. Ильицкий, в душе которого зрели семена протеста против несправедливости, не знал, что за плечами Костюшко уже немалый опыт борьбы с самодержавием — участие в студенческих забастовках и марксистских кружках, организация вооруженного протеста в якутской каторге

против режима деспотизма губернатора Кутайсова, дерзновенный побег из якутской тюрьмы, организаторская и пропагандистская работа на Украине и в Забайкалье. «Если революцию можно сравнить с бурей», — говорит автор книги, — «если буря — это скалы, с грохотом срывающиеся с вершин, и буйный восток, несущийся по равнине, и пена грозной волны, то Костюшко был гребнем волны, девятым валом, пламенем, которое нельзя загасить, ветром, который нельзя задержать».

Ирина Гуро правильно оценила революционное выступление рабочих Читы, создание в этом городе первых народных Советов, как событие, в какой-то мере приблизившее час гибели царизма. Она показала, как отразились читинские события на росте классового самосознания рабочих, как в ходе борьбы рабочие политически выросли, почувствовали силу коллектива. Сподвижники Ленина — Курнатовский и Бабушкин — и основной герой романа Антон Костюшко помогают читинским пролетариям сплотиться в этот коллектив, приводят их к мысли, что они борются не только за лучшие условия жизни, но и за будущее России. Они помогают людям труда разобраться в происходящем, натолкнуть их на единственно правильное решение того или иного вопроса. И все это удается большевикам: ведь они живут одной жизнью с рабочими, не отделяют себя от них, хорошо знают их думы и чаяния. Любовь народа к «мастерам правды», представителям ленинской когорты, видна хотя бы из отношения рабочих к Костюшко, которому они доверяют все свои сокровенные мысли.

Образы представителей читинского пролетариата и солдат, вставших под знамена ленинской партии, выписаны автором убедительно, исторически достоверно. Эти портреты, разумеется, созданы не с одинаковой художественной выразительностью, но есть у них общие черты — воля к победе, решимость отстаять свои права, чистота и благородство души. И густобородый, грузный слесарь депо Фома Ендаков, и маленький подвижный бурят Цырен Намсараев, и хрупкий нервный приказчик Исая Вайнштейн, и лобастый упрямец Качаев, и самоотверженный семнадцатилетний гимназист Борис Кларк — и десятки других героев книги, разные и неповторимые по своим характерам, сроднившим общим стремлением — служить революции.

Основательно изучив исторические документы и архивные материалы первой

¹ Ирина Гуро. «На суровом склоне». Роман. Издательство «Советская Россия», 1965.

русской революции, малоосвещенные в советской литературе, автор довольно наглядно воссоздает ощущение насыщенности большими потрясениями эпохи. Не отвлеченные сподвохи доносят до нас со страниц романа—мы находимся в самой гуще грозных разрядов того времени. Гуд истории подспудно идет под «корою» изображаемых событий.

Ряд персонажей книги имеет исторических прототипов, а образы основных героев—это подлинные исторические лица под их собственными именами. Следуя за достоверными фактами, Ирина Гуро добросовестно и любовно вывела в романе не только сподвижников Ленина, но и дала несколько запоминающихся портретов «рядовых революций»—отца и сына Кларков, Э. Цупсмана, И. Вайнштейна, В. Столярова, основателя читинского и нерчинского музеев А. Кузнецова и других деятелей «Читинской республики».

Читатель, несомненно, с удовлетворением отметит: автор смело обращается к образу самого человеческого Человека, основателя нашей Коммунистической партии. О Ленине, своем учителе, задушевнейшем и обаятельнейшем человеке, в минуту откровения рассказывает читинским большевикам Иван Васильевич Бабушкин. Воспоминания эти—а Бабушкину приходилось быть с Ильичом вместе в Лондоне—лучшие страницы романа и, несомненно, интереснейшие штрихи к бесмертной Лениниане.

В изображении царских сатрапов, «диких баронов» Меллер-Закомельского и Рейненкампа и других приспешников «самодержавца», автор с самой строгой тщательностью следует за историческими фактами. Тем более убедительными кажутся созданные им образы врагов, вызывающие ненависть и презрение читателя.

В романе есть одна символическая деталь. Когда осужденных повели на казнь, Цупсман надел пальто, потом вдруг сбросил его и оправил свою шелковую красную косоворотку. «Умру в красном!»—сказал он серьезно. Так, налегке, он и

пошел, несмотря на зимнюю стужу. «Красная рубашка Цупсмана медленно плыла среди толпы, напоминая о знамении, под которым так отважно боролись эти четверо и теперь умирали. И еще о другом говорило это красное пятно, двигавшееся среди речной толпы: о мщении, о расплате...»

С этого выразительного и красноречивого финала, с этого эпилога-апофеоза можно начинать новую книгу. Именно эта перспективность действия и вносит жизнеутверждающее начало в произведение, дает предчувствие предстоящей всепоглощающей бури.

Роман написан рукой опытного прозаика. Но было бы неверным пройти мимо существенных недостатков книги, снижающих ее ценность. Быстрый темп развития событий, сжатость описания, краткость в изображении характера таит в себе чреватый для художественного произведения схематизм и легковесную беглость. Если можно согласиться с лапидарной характеристикой действующих лиц второго и третьего плана, то схематизм в изображении ведущих героев никак нельзя одобрить. Как мы уже отметили, введение в повествование сподвижников Ленина придает особое значение изображаемым событиям. К сожалению, в романе не видно глубинной работы над образами Курнатовского и особенно Бабушкина. Автору не удалось создать убедительные образы пламенных ленинцев, они предстают в романе скорее как некие эталоны революционной стойкости, мужества, мудрости. А художественное произведение, как известно, сильно прежде всего своей впечатляющей изобразительной силой. Образы других руководителей «Читинской республики»—Кузнецова и Когатыренко—намечены бегло, эскизными штрихами.

Хотелось бы, чтобы в новом издании роман стал более зрелым, более созвучным героике нашего славного прошлого.

Н. ФЕДОРОВ,
сотрудник многотиражной газеты
«Медик Забайкалья».

Быль о забайкальских лесорубах

Восточно-Сибирским книжным издательством выпущена книга Виктора Лавринайтиса «Лесная быль».

События, описанные в романе, датируются 1951 годом. Действие разворачивается в небольшом лесопункте. В поселке Никитинском жизнь шла, как и раньше: ранним

утром разъезжались лесорубы на работу, вечером возвращались. Где им работать и как—все было расписано начальником лесопункта Никитиным. Двадцать лет назад основал он лесопункт и с тех пор был бессменным его начальником. Природная смекалка, справедливое отношение к людям и

первые годы породили у лесорубов веру в своего начальника, как самого знающего и справедливого человека.

Люди верили, но шло время, в тайге вместо обычной пилы и топора появилась механическая пила «Дружба», пришли тракторы, усложнилась организация труда, а Никитин старался все держать в прежнем русле.

Он, пишет автор, не представлял и не признавал руководителя, который бы не знал всего, чем руководит. Чувствуя, что сам он не сможет осуществить техническое руководство работами в лесу, Никитин просит дать техрука и в то же время боится его приезда.

Дирекция леспромхоза направляет техруком Григория Громова. Его первая встреча с рабочими, помощь, оказанная им в ликвидации аварии, сразу же укрепили в них веру в его основательные познания в технике. Авторитет Громова особенно укрепляется, когда он организует техническую учебу рабочих, сам начинает готовить из рабочих трактористов и механиков.

С приездом Громова начальник лесопункта Никитин с одной стороны радуется, что теперь дела на участке пойдут хорошо, меньше будет простоев из-за неисправности техники. Но вместе с тем, он никак не может пересилить себя, относиться к Громову, как к своему товарищу, коммунисту. Он завидует его знаниям, но в то же время, видит, что Громов еще слабо знает организацию труда. Он, Никитин, мог бы помочь, но не хочет из-за ложного самолюбия.

Это нежелание помочь лично Громову в конце концов приводит к тому, что под угрозой ставится нормальная работа всего коллектива лесопункта.

Нелегко приходится в этой обстановке Громову.

И, может, зло восторжествовало бы, если бы в борьбу не вступили сами рабочие, не помогли Громо-

ву в этой сложной борьбе. Почему же бригадир Скворцов, рабочие Деревцов, Ковригин, Белослюдцев, Татьяна Ковригина, Степан и Гранина даже в дни простоя бригады поддерживают Громова? Главная причина — Громов сумел объяснить, доказать рабочим преимущества новой организации труда. Приезд Громова, противоположный Никитину стиль руководства, внедрение новой организации труда, при которой повышалась ответственность каждого рабочего за свою работу и за работу товарищей, всколыхнули рабочих. Каждый как бы заново заглянул в себя. И из глубины души засияло то, что скрывалось, что так нужно и не только себе, а прежде всего другим.

В этом отношении очень характерно развитие образа Павла Пшика.

Сначала мы видим Павла очень обиженным тем, что его не взяли в бригаду. Но у бригады были свои причины — Павла не раз встречали в нетрезвом виде. Несмотря на обиду, Павел тяжело переживает неудачи в работе бригады.

Забываясь о работе бригады, Павел Пшик предлагает новый способ валки деревьев, а после прихода в бригаду применяет его, предлагает совместить профессии и осуждает присылку в бригаду лишнего человека-пилоправа. Наконец, Павел Пшик раскрывает преступление Ермолаева.

Враг нового строя, осколок прошлого мира Ермолаев разоблачается, потому что простые советские люди, подобные Пшику, по духу — коллективисты, патриоты.

В этой обстановке становится естественной и забота Павла о своих приемных сыновьях, отказ от спиртного ради ставшей родной семьи Граниной. И в этом проявляются взгляды и мировоззрение рабочего человека на жизнь. Павел обретает счастье, когда его принимают в бригаду.

Образ Павла — большая удача писателя.

В процессе борьбы коллектив

бригады обретает силу, закаляется. Если сначала электрика Прохорова за уход из бригады осуждают не все, кое-кто подумывает, а не поступить ли так, как сделал Прохоров, то в конце бригада устраивает суд над Лопатыным. Он в свое время собирался покинуть бригаду. Здесь уже равнодушных нет. Осуждение и изгнание его из бригады — одно из ярких свидетельств становления коллектива.

Раньше эти же рабочие не задумывались, где, как и кому работать, — об этом думало начальство, Никитин.

А теперь с Никитина, как с руководителя, повышается спрос. Долго мучается он, борется со своей гордыней, пытается дома переубедить жену, настроиться на новую жизнь и в конце концов убеждает себя.

Рушится искусственно созданная им стена между руководителем и рабочими. От «нейтралитета» по отношению к бригаде он отходит, сначала невидимо помогает бригаде, потом разоблачает своего верного помощника Колтакова. В конце книги, когда инициатору новой организации труда техруку Громову угрожает судебная ответственность за несчастный случай, вину за совершившееся Никитин берет на себя.

Здесь Никитин снова словно вернулся в свою молодость. Старый партизан, в этом случае смело принимает удар на себя ради того, чтоб лучше было другим. Никитин раньше говорил Громову с гордостью, что он потомственный рабочий. В этом случае он действительно показал себя настоящим рабочим, искупал свою вину за годы отхода от своих товарищей. Теперь он может прямо взглянуть в глаза своему старому другу — бригадиру Скворцову. Так и на образе Никитина автор сумел передать силу рабочего коллектива, показать, что руководитель может быть настоящим руководителем только тогда, когда он чувствует поддержку масс.

На примере образов Никитина,

Павла Пшика и Граниной можно видеть, как в борьбе за внедрение нового, прогрессивного лучше становятся люди, меняется их духовный облик. Образы большинства рабочих даны в развитии, рост их обусловлен логикой событий романа.

Через показ жизни небольшого коллектива лесников автор сумел передать явления, происходившие в последние годы в жизни нашей страны. Роман в целом учит бороться против волевых методов руководства, утверждает силу коллектива, рождает веру и творческие способности человека труда. Во всем этом — несомненный заслуга писателя.

Однако писатель не смог до конца последовательно провести эту линию, в конце романа начинает противоречить себе. Особенно характерен образ Громова. Громов, как показано в книге, сумел участвовать в споре с Никитиным — бригада начинает работать хорошо, Колтаков бежит из лесопункта.

Общность взглядов на жизнь сближает его с Татьяной, между ними рождается взаимная любовь. А до приезда в лесопункт у Громова за плечами были институт, дороги войны, работа на большом московском заводе.

Читатель верит, что теперь Громов может выдержать любые новые испытания, хотя преодолевает их с меньшей уверенностью, чем Никитин.

Однако автор другого мнения. Когда на суде Ермолаев злорадно смеется, сообщая, что Ковригин, отец Татьяны, убил семью Громова, Громов оставляет Татьяну одну, разбитую двойным горем: смертью отца и уходом от нее Громова. После долгих уговоров Скворцова Громов едет к Татьяне в больницу только для того, чтобы попрощаться с ней навсегда.

Слишком легко он порывает со своим другом и товарищем, обрекая ее на смерть. В этот же период Громов не нашел ничего худшего, как напиться пьяным, на виду всех бродить по поселку.

В минуты, когда особенно нужна Татьяне моральная поддержка всей бригады, только бригадир Синорцов навещает ее. А перед этим автор показал рост чувства товарищества у каждого члена бригады.

Роман кончается тем, что Громов и Татьяна плачут, прощаясь друг с другом навсегда, а в подтексте звучит злорадный смех кулака, бандита Ермолаева.

Коммунист Громов, комсомолка Ксригина, парторг Скворцов оказались не в состоянии дать правильную оценку клевете классового врага, одна реплика Ермолаева

оказалась сильнее всех чувств героев этого романа.

Так в конце романа автор вступил в явное противоречие с самим собой, с логикой развития образов своих героев. Это, на наш взгляд, самое крупное упущение автора. Несколько рыхла композиция. Язык во многом оставляет желать лучшего.

В дальнейшей работе над книгой автор, видимо, серьезно задумывается над этим и идейно-художественными просчетами, найдет пути их устранения.

К. ПОЛОННЫХ.

«Героические годы борьбы и побед»

Под таким названием издательство «Наука» (Москва) выпустит в 1967 году — к 50-летию Великой Октябрьской революции и 45-летию освобождения Дальнего Востока от интервентов научно-популярную монографию, объемом 25 листов, посвященную гражданской войне на Дальнем Востоке и отчасти в Сибири.

Главным редактором книги является старейший коммунист Ф. Н. Петров, бывший в те годы членом Дальбюро ЦК РКП(б) и заместителем председателя Совета министров Дальневосточной республики. В авторский коллектив книги входят научные работники: Г. Е. Рейхберг, С. Н. Шишкин, А. П. Шурыгин, участники гражданской войны: С. А. Лазо, В. Я. Пляскин, М. М. Свиридова, К. П. Серов, А. Т. Якимов.

В книге рассказывается об установлении Советской власти на Дальнем Востоке и в Сибири, о борьбе против интервентов и белых на Нижнеудинском, Забайкальском, Гродековском и Уссурийском фронтах в 1918 году, о широком партизанском движении в 1919—1920 годах, об образо-

вании в апреле 1920 года Красного буфера — Дальневосточной республики и о боях Народно-революционной армии этой республики при поддержке партизан под Читой, Волочаевкой, Спасском, закончившихся разгромом белогвардейцев и изгнанием в 1922 году интервентов с территории Дальнего Востока.

Авторы книги широко использовали материалы центральных и местных архивов и приводят много новых документальных данных. В книге дается библиографический обзор советской и иностранной прессы с критикой некоторых неправильных положений и фактических ошибок.

Весьма ценным является наличие в книге обширного именного указателя, в котором даны краткие биографические данные на 500 с лишним активных участников гражданской войны на Дальнем Востоке и отчасти в Сибири.

Книга снабжена научно-справочным аппаратом и хорошо иллюстрирована — дано свыше 60 групповых и индивидуальных фотографий участников гражданской войны и подпольного партизанства.



Анатолий ЩИТОВ

ИМЕНИНЫ

Нетипичная история

Ивану Ивановичу стукнуло пятьдесят. Узнав об этом, секретарша Зиночка обежала все кабинеты, таинственно пошептала что-то каждому на ухо, и, не прошло и часа, как перед Иваном Ивановичем выросла целая делегация. Сияющая Зиночка на вытянутых руках держала большой пакет. За Зиночкой, такой же сияющий, потирал руки директор конторы товарищ Балецкий. За его спиной толпились все остальные.

— Ну, дорогой Иван Иванович, поздравляю тебя от имени всего нашего коллектива,— сказал Балецкий и все захлопали в ладоши.

— Примите наш общий подарок,— мягко улыбнулась Зиночка и протянула Ивану Ивановичу пакет. — Мы решили одеть вас с ног до головы!

Иван Иванович взволновался, оглядел всех влажными глазами, и даже Балецкий показался ему удивительно милым человеком. Ивана Ивановича попросили развернуть пакет. Он охотно это сделал и, под дружный хохот сослуживцев, извлек из пакета ермолку и тапочки.

— Остроумно,— плача от смеха, вытирал глаза Балецкий. — Вас одели с ног до головы!

Через неделю после торжества Иван Иванович, как обычно, сидел за столом, уткнувшись в бумаги. Тишину нарушила все та же Зиночка. Она ворвалась в кабинет, заглянула в бумаги Ивана Ивановича и шепотом попросила его на минуту за дверь. Иван Иванович вышел, и Зиночка, захлебываясь, затараторила:

— Вы сидите рядом с Петром Денисовичем и ничего не подозреваете!

Иван Иванович сделал большие глаза.

— Ведь у Петра Денисовича сегодня день рождения! — всплеснула руками Зиночка.

Иван Иванович умилился.

— Мы решили собрать по 50 копеек и сделать Петру Денисовичу подарок,— пояснила Зиночка,— вам мы собирали по 20 копеек, но Петр Денисович все-таки плановик, а, извините, не счетовод!

Иван Иванович охотно вытащил из кармана полтинник.

«А, можно и не обедать!» весело подумал он. И вскоре в кабинет к Петру Денисовичу ввалились сослуживцы, и снова Зиночка несла на руках интригующий всех пакет, в котором оказалась ослепительная сорочка.

Через два дня именинником оказался старший экономист Угольков.

— Мы будем отмечать день рождения каждого, как бригада комтруда,— носилась по кабинетам неугомонная Зиночка,— купим Уголькову что-нибудь подороже, он же все-таки старший экономист, а не какой-то, извините, плановик.

Иван Иванович, расставаясь с желанием купить давно облюбованную книгу «Советы собаководу», протянул Зиночке сэкономленный рубль.

Дальше дела Ивана Ивановича пошли еще хуже. В субботу ожидался день рождения завхоза Бабушкина. Бабушкин не стал церемониться и сказал Зиночке, что подарков ему не надо, пусть каждый возьмет по бутылке. И Зиночка кинулась в кабинет, нашептывая сослуживцам:

— Нужно собрать по тройке, ведь это все-таки завхоз, а не какой-то, извините, экономист.

Иван Иванович со вздохом расстался с тремя рублями, отложенными для покупки шляпы, и впервые пришел на работу в подаренной ему ермолке.

Но самое страшное было впереди. Через два дня бледная от волнения Зиночка торжественно вплыла в кабинет к Ивану Ивановичу и с благоговением положила перед ним подписной лист.

— Что э-эт-то?! — простонал Иван Иванович, чувствуя, как начинает таять его надежда купить туфли.

— День рождения у бухгалтера,— осуждающе проговорила Зиночка,— ведь это же бухгалтер, не какой-то, извините, завхоз. Меньше пяти рублей с человека собирать просто неудобно!

Назавтра Иван Иванович пришел на работу в подаренных ему тапочках. В день рождения заместителя директора Иван Иванович обанкротился. Взносы возросли до восьми рублей. «Это же заместитель директора»,— шипела Зиночка, бегая из кабинета в кабинет.

— Правильно! — вытряхивая на стол последнюю мелочь, отчаянно закричал Иван Иванович. Водку он не пил, но в этот вечер, когда все сели за праздничный стол и подняли стаканы в честь заместителя директора, первым опрокинул полный стакан, и, быстро захмелев, полез целоваться к директору.

— Товарищ Балецкий, товарищ Балецкий,— сталкивая на пол тарелки с закуской, бормотал он,— золотой вы человек. К черту работать, к черту обедать, покупать туфли и шляпы. Будем справлять дни рождения!

— Шутник,— хохотал Балецкий, вытирая мокрые от веселых слез глаза. И вместе с ним хохотали все сослуживцы.

Утром Иван Иванович пришел на работу мрачный.

— Голова болит,— признался он Петру Денисовичу.

— Привыкнешь,— успокоил тот,— я привык.

В коридоре послышались быстрые шаги Зиночки.

— Не может быть,— побледнел Иван Иванович и заметил, как лицо всегда выдержанного Петра Денисовича тоже как-то странно вытянулось.

Зиночка вошла в кабинет серьезная и решительная.

Ее поза, ее молодые рисованные глаза говорили, что на сей раз даже двадцатью рублями им не отделаться: надвигался день рождения самого товарища Балецкого.

— А, не поеду на курорт,— обреченно махнул рукой Иван Иванович и расписался в подписном листе.

Зиночка сбегала в магазин и вскоре под старательные аплодисменты сослуживцев поднесла Балецкому пакет, в котором обнаружили великолепный испанский костюм и массивные позолоченные часы с боем.

— Я зайду к Балецкому и скажу, что больше не могу,— гневно заявил Иван Иванович, когда эта церемония закончилась.

— Не зайдешь, не скажешь,— ответил Петр Денисович.

— А вот зайду, и скажу,— поднялся Иван Иванович.

И постучав в дверь, он вошел в кабинет директора. Балецкий сидел за столом, поигрывал часами с боем и говорил с кем-то выходящим в телефонную трубку. Зиночка стояла рядом.

— Массовая работа у нас на высоте. Знаете, мы отмечаем дни рождения каждого члена нашего коллектива. Очень, знаете ли, трогательно, как в родной семье. И все началось с пустяка. Отметили день рождения счетовода — и пошло. И во всем заслуга нашей Зиночки, секретаря. Вы уж примите к сведению. Большой организационный заряд! Да, да, Сан Палыч, понимаем, отмечать дни рождения очень удачная находка... Сплачивает коллектив, новое в отношениях. Да... Да...

Балецкий положил трубку.

— Мы никого не забыли? — спросил он Зиночку, потом улыбаясь, повернулся к Ивану Ивановичу.

— Очень вы нам ценную мысль подсказали, Иван Иванович, очень. Виновник торжества выходит вы. Сам отметил! — поднял он указательный палец. — Внимание коллектива! Один всем, все одному. Человек ничего не знает и — вдруг! «С днем рождения, дорогой товарищ, примите подарок». Оч-чень трогательно! — Балецкий осторожно снял пылинку со своего новенького костюма.

— Действительно, трогательно,— запинаясь ответил Иван Иванович, держа в руках подаренную ему когда-то ермолку и, осторожно ступая на носки подаренных когда-то тапочек, вышел из кабинета.

Балецкий глядел на него и хохотал, вытирая мокрые от веселых слез глаза.

Баня под шефством

(Юмореска)

В субботний безмятежности духа явился я в баню. Отстояв в предбаннике право на помывку, я было направился получить причитающуюся мне банную теплоту и негу, но... меня остановил наглый рыжий плакат, намалеванный от руки. «Над баней взяли шефство,— подумал я с тоской. — Теперь нам устроят баню!» На обычно гладкой голубой стене наряду с рыжим теснились пестрые плакаты: «Что ты знаешь о туалете новорожденного?» В свете фар медицинской машины бдительно и сурово мерцала фраза: «Не носи в

больницу колбасу и спиртное!». Сбоку висела огромная стенгазета с масляными пятнами, исполненная каким-то энтузиазмом, очевидно, за завтраком. Поперек ее огромными буквами —

Эпидермофития!

Признаться я не стал читать: какой-то змей сказочных размеров неистично распахнул над чашей пасть да еще язык высунул.

«Медицина,— смекнул я,— проникает во все поры нашего общества». Закрыв глаза, я зашагал, стараясь попасть в муж-

ское отделение. Мне это удалось, но в последний момент один мой незрячий глаз распахнулся и предательски успел прочесть плакат на входной двери: «Знаешь ли ты, как размножается муха? Как уничтожить летающую муху?»

Должен признаться, что доньше я просто душно любил баню. Сейчас же, ворвавшись в дверь, я так и замер. Бациллы, микробы, споры, палочки... туберкулезные, парши, лишая пузырчатого...

Спасибо старику Стефану Ликоку. Это он, кажется, сказал о микробах: «Главное, не бояться этой братии. Если вы увидели бациллу, идите прямо на нее, взгляните ей в глаза! Бейте ее со всей силой между шеей и прудной клеткой! От этого она быстро слабеет».

Постепенно я успокоился. И вот я уже готов во всем блеске адамова наряда просуществовать очередным банным этапом. Вдруг... сердце мое захолонуло, руки задрожали, таз, которым я нервно помахивал, упал к ногам, звеня и подпрыгивая. На меня гневно сузив глаза, смотрела красивая девушка. Более того, девушка обличающе указывала перстом в моем направлении. «А ты участвуешь в сборе метамлолома?» — обращалась она к голым мужчинам.

После бани — к заведующему.

— Я — рабкор. Совершал рейд в баню. Легкий кавалерийский наскок, знаете ли. Ну-с, прошел я через все круги вашей бани. Что можно сказать о банной пропаганде? Сделана она с выдумкой. Надолго запоминается. Но у меня есть несколько критических замечаний, скорее предложений. Вы позволите?

Побольше следует привлекать общества в баню. Вы привлекли Общество Красного Креста и базу утиля. Мало. А где пожарная команда? ДОСААФ?

Дальше. У нас есть значительные неиспользованные резервы — мыльный зал и парная. Невероятное упущение — там нет ни одного плаката. А ведь при желании там можно сделать много, много интересного... Ступает оробевый гражданин неверной ногой по скользкому полу, а прекрасный, исполненный на амалированной табличке плакатик Гостраха, участливо спрашивает: «Успели ли вы застраховать свою жизнь?» Полетел человек с полки, а плакат упрекает — «Летайте только самолетом!»

Как называется ваша стенгазета? «Все в баню»? Так вот, в стенгазете «Все в баню» необходимо создать вокруг этого дела широкий общественный резонанс...

То, что я говорил, заведующий заносил в блокнот. Основные моменты моей речи он обозначил римскими цифрами, а детали занес в подвопросы, обозначенные арабскими.

Когда я кончил, он вышел из-за стола и схватил мою руку.

— Спасибо. В вашем лице я нашел единомышленника. Когда мы задумали охватить баню плакатом, слышались скептические голоса. Теперь же при поддержке моющихся мы со всевозможной оперативностью задействуем обширные резервы бани, всемерно поднимем идеологический уровень банной печати!

Забегайте почаще в нашу баньку!

А. ЧАЙКОВСКИЙ.



ЮБИЛЕЙ ВЕТЕРАНОВ

Читатель, конечно, уже обратил внимание на 2 и 3 страницы обложки журнала, где воспроизведены гравюры заслуженного деятеля искусств Бурятии Евгении Иннокентьевны Невוליной. Вот — «Мелодия». Длинная лента гравюры от угла до угла заполнена рисунком листьев, на фоне белого кружева — плавная очерченная фигура скрипачки. Плавный ритм линий настраивает зрителя на лирический лад, сюжет изображения, фигура скрипачки дает этому ладу вполне определенное направление. Так получается, что зритель смотрит на неподвижную гравюру, а ему кажется, будто он слышит мягкие звуки скрипки.

На какие бы другие произведения Е. Невוליной мы ни посмотрели, везде находим нечто родственное гравюре «Мелодия» по тому, присущему только данной личности настроению, которое всегда неповторимо и потому особенно ценно.

В полном соответствии с особенностями мировосприятия шло развитие творчества Е. Невוליной от первых ее произведений — «Всадница» до последних, таких, как «Мелодия» и «Ее зовут Сэсэг». Не сразу художница нашла свою тему в изобразительном искусстве, но, найдя ее однажды, уже не изменяла ей никогда. Ее большие и малые общественные явления, являвшиеся причиной изменения курса советского искусства, воспринимались Е. Невוליной изнутри ее темы, подобно международным событиям, всегда воспринимаемым гражданином через общественную жизнь его страны.

Страна Евгении Иннокентьевны Невוליной, через которую она воспринимает общественное событие, — интимный мир бурятской женщины. Доярки, безвестные герои, возвышенные над безвестностью оным материнством, балерины, музы-

канты и т. д., и т. п. — несть числа влияниям и положениям женщины-бурятки — населяют произведения художницы. Через их психологию Е. Невוליная передает радости и печали народной жизни, что совсем немало для того, чтобы сделать творчество Е. Невוליной значительным.

Еще в 1933 году Е. Невוליная сделала обложку книги «Доля женщины», изобразив бурятку возле кипящего котла и ее обнаженного карапуза на пухлых ножках. Четверть века спустя тот же сюжет повторился в гравюре «Старый быт», но уже в новом качестве. Несмотря на сходство композиции, это совершенно разные произведения.

Нужно отметить, что Е. Невוליная не только график, но и живописец, хотя живопись ее менее известна. Сочетание живописи и графики иногда переплетаются в ее творчестве теснейшим образом. Не говоря уже о постоянном стремлении Е. Невוליной сделать свою графику цветной, что особенно сказалось в гравюрах «Всадница» и «Новый Улан-Удэ». Художник мягких лирических переживаний ищет всегда какие-то полутона, часто использует смешанную технику, чтобы выразить едва ощутимые движения души.

Иметь особенный неповторимый голос мечтает каждый художник, не каждый его имеет. Собственный голос — это особенное мироощущение, более или менее постоянный круг тем, разрабатываемых то ярче, то слабее на протяжении всей жизни, и свои приемы мастерства. Все перечисленное мы находим в творчестве художницы Евгении Иннокентьевны Невוליной и рады отмечать это каждый раз, когда речь заходит о бурятской графике.

Имя народного художника Бурятия Александра Александровича Окладникова широко известно в Сибири. Но время идет, художник работает, и сегодня с его именем мы связываем уже иное представление о творчестве, чем несколько лет назад. Все случайное в прошлом за давностью лет само собой отошло, рассеялось, наиболее значительное теперь кажется более выпуклым.

Давно ли был 1960-й год, когда художник написал картину «Колхозная молодежь», выполненную почти целиком в традициях 40-х—50-х годов! Молодежь стреляет сено, парень с девушкой влюбленно смотрят друг на друга. Любовь и труд — сплошной праздник; жизнь проста; никаких забот, никаких волнений. Сейчас мы уже видим в картине предощущение новых поисков, которые заставили А. Окладникова искать повышенную звонкость красок, совсем не обязательную для данного сюжета.

Через два года А. Окладников написал серию байкальских этюдов так, как он никогда раньше не писал. Если прежде Байкал казался художнику настолько великим, что кроме как на «предисловие к Байкалу» не на что было рассчитывать, «предисловия» же получались чересчур измелченными, чересчур лиричными, теперь на берегу великого озера сидел перед мольбертом художник, творивший собственное немалое дело, заимствуя у Байкала мужественную силу. Плотные краски ложились на холст: вот густая синева моря, вот обогретый солнцем тяжелый берег, вот крижистые скалы на том берегу. Небо на этих этюдах занимает второстепенную роль, потому что оно слишком легкое для человека, познавшего поэзию силы, основательного уверенного творчества. И зритель, встречая на выставках байкальские этюды 1963 года несмотря на отсутствие в этюдах человеческих фигур, узнавал в них себя. Это он, человек 60-х годов, выделяя, осмысливая главное.

То же самое происходило и в портретной живописи А. Окладникова. — Я думаю, сейчас уже не стоит тютюкать кисточкой, выписывая воротник и пуговицы, — сказал художник. — Сейчас нужно показать человеческую сущность, которая в особенностях его ума и сердца, в общественной значимости личных качеств.

«Горячие дни» — одно из самых значительных произведений А. Окладникова. Как в большое озеро маленькие ручейки и реки, влились в нее те самые новые мысли и чувства, которые постепенно накапливались в пейзажных этюдах и в портретах А. Окладникова. По сравнению с предыдущими, картина получилась очень весомой и цельной. Все в этой картине крупно: люди, лодки, рыба в лодке, зеленая байкальская волна. Налитая цветом живопись утяжеляет плоть предметов, создает гармоничное материальное единство.

Но вот что любопытно. Когда худож-

ник закончил картину и изображенные каждого предмета встало на свое место, образовался ритмический повтор, легко сводимый к геометрической закономерности. Дело здесь совсем не в том, что наше время вообще насквозь прошло математическими формулами. Читатель помнит, вероятно, бельгийский кинофильм о великом художнике Рубенсе. Авторы фильма пытались разобраться в законе построения картины и нашли, что устойчивость классических композиций как раз и зависит от таких ритмов форм, которые в конечном счете можно объединить простыми геометрическими фигурами: кругом, квадратом, треугольником. Художнику вовсе не нужно сначала рисовать круг, а потом по нему располагать фигуры. Все получается само собой, когда мысль автора требует ясности.

Ясность мысли художника вовсе не означает простоту или односложность. Как раз напротив. Картина «Горячие дни» не об аврале в конце рыболовного сезона. Основная ее художественная мысль будит в зрителе ощущение романтики, соединенной с трезвым взглядом на жизнь. Весомо, зримо, начиная от серебристых омулей на переднем плане, кончая дальним скалистым берегом, все рождает в нас активное чувство привязанности к земле, возделанной нашими руками.

Заметив такие особенности последней значительной картины А. Окладникова, зритель обнаруживает их в более ранних, например, в картине 1953 года «Вести из России», только там это все проявилось менее последовательно. И все-таки, если мы проследим движение в картине «Вести из России» от головы В. И. Ленина к лицу В. К. Крупской, от нее к Бабушкину и т. д., мы заметим, что и здесь та же замкнутость композиции, переводящая весь смысл сюжета в обмен идеями, а вовсе не на подробности встречи вождя революции и его соратника.

Последние работы А. Окладникова показывают его стремление очистить от случайных наслоений художественную мысль. Их пластическое начало заостряется, выразительность произведения увеличивается. Такой же принцип обнаруживается и в ранних произведениях А. Окладникова. Мы имеем в виду рисунок «Починка сети» 1931 года. Здесь может быть не все до конца продумано, рисунок берега залива следовало бы сделать поинтереснее, однако, рыбак и его сеть выполнены точными движениями кисти. Прошло уже тридцать пять лет с тех пор как художник выполнил этот рисунок, а он не только не постарел за это время, но наоборот, будто прямо предназначен зрителю 60-х годов.

Нельзя думать, что картины, рисунки, этюды, созданные по другому принципу, — заблуждение художника. Каков зритель — таков художник. Было время, когда повествовательность была наиболее распространена в нашем изобразительном искусстве, потому что широкие массы народа шли к художнику учиться понимать

общественный смысл явлений нашей жизни. Художник, естественно, не мог отказаться от роли пропагандиста. Теперь зритель легко распознает философскую мысль в самом существе искусства, и художник соответственно перестроился.

Между работами А. Окладникова начала тридцатых годов и его теперешними произведениями протянулась единая нить преемственности, обнаружившаяся недавно на его персональной выставке. Но не эта перекличка десятилетий, а спо-

собность художника на седьмом десятке творческой жизни по-молодому, остро воспринимать природу, откликаться на призыв современности кажется нам наиболее ценной чертой А. Окладникова.

Павел МУРАТОВ,
искусствовед.

г. Ленинград.



Главный редактор А. А. БАЛЪБУРОВ.

Редколлегия: В. В. БАРАЕВ (заместитель главного редактора), Д. БАТОЖАБАИ, Ц. ДУГАРНИМАЕВ, Ц. ЖАМБАЛОВ, А. ЖАМБАЛДОРЖИЕВ, Ц. А. ЖИМБИЕВ, И. КАЛАШНИКОВ, Б. М. МУНГОНОВ (зав. отделом прозы), К. Ф. СЕДЫХ, М. Н. СТЕПАНОВ, А. Г. СУББОТИН, Ц. Б. ЦЫДЕНДАМБАЕВ, Г. Г. ЧИМИТОВ (ответственный секретарь).

Техн. редактор И. Нечаев.

Корректор З. Александрова.

Формат бумаги 70×108, п. л. 10 (13,7). Н-00006. Подписано к печати 13/II-67 г.
Тираж 10.518 экз. Заказ № 1951.

Адрес редакции: Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, 20. Тел. 28-82, 26-91, 23-36.

Типография Управления по печати при Совете Министров БурАССР.



Всадница.



Ее зовут Сэсэг.